

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1950

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 3

РАССКАЗЫ

1896—1899



А. М. ГОРЬКИЙ
Нижний-Новгород, 1898—1899 гг.

КОНОВАЛОВ

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

... Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно

и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, чорт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими, толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отчества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплеываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать, — было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил; хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся! — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь!.. — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Нароботался, значит... — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка, вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, — не возьмут! Нигде не возьмут...

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьяется до гола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Лёса?

— Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босак, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачевая рубаша, невероятно грязная и рваная, холщевые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светлорусые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный, — говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак.

— Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, — не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное, бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай, — и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я. — Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дожидаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надо а мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо

понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке. Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши!

— Изволь. Она кто?..

— Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр».

— Гм... — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, — мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она, — совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди!» И все у меня было готово, деньги и все... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, — может, целовеком будет.

— Она с тобой хочет жить...

— Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет

да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходунгом ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет; и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела у тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили, — бывало, поедом с ней кататься, — во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной —

о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина, как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай, говорит, Саша». И — чудная — обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти, — недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня

из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду, — так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это

хорошо во мне понимают — видят, что не обижу, не на смеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, браг, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая грудa углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, — едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, — я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекиды-

вая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, — как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И, ежели петь начну, — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, — штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, при moistившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

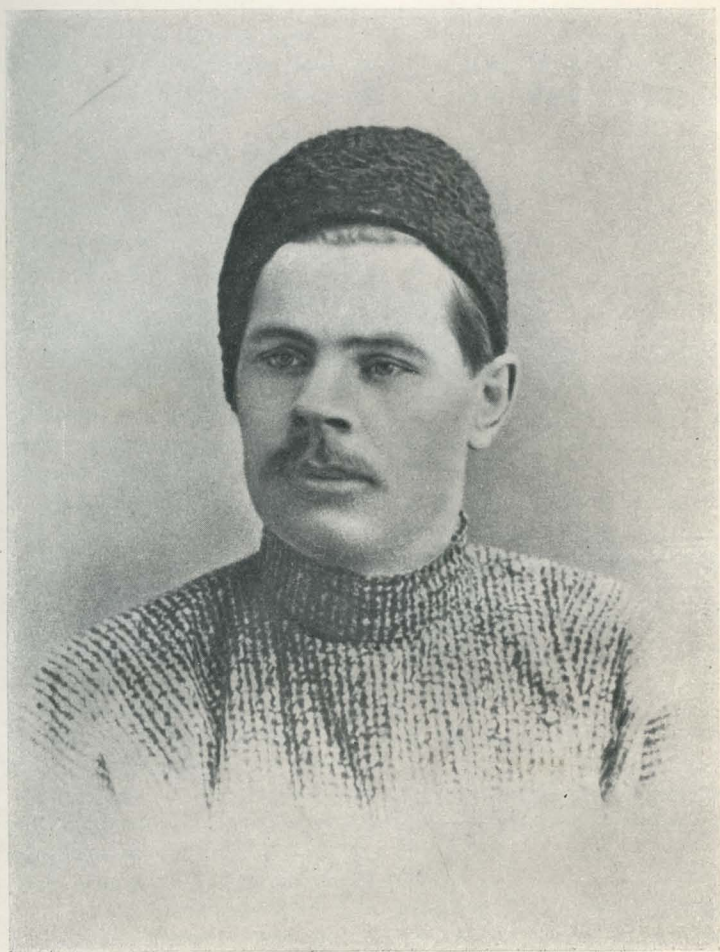
— Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а?.. — попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами — у меня до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Поднятые вверх брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец, я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шопотом спросил меня Коновалов.



А. М. ГОРЬКИЙ
Нижний-Новгород, 1898—1899 гг.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то зашурлил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шопотом заговорил он. — На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмутив брови, изредка кротно бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одервенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шопотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— То есть как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

— И — что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но — увы! — она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные — вот и все. Написал и... умер он?

— Умер, — сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?... А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки, — вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шопотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. — Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после, — решил Коновалов. — Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И вольтуют тоску в книги... Это уж не помогает, потому — сердце тронуту, из него тоски огнем не выжжешь... Остается — водкой ее заливать. Ну, и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде, — продолжал он развивать психологию сочинителей, — следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, — что такое? Босьяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, — понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я.

— Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что, ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, — мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих бедах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком — потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

— Погоди, — сказал я, — ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет, — ты грамотный... Оно, пожалуй, — ежели взять других, — так верно... А вот ежели я...

— То что?

— Ну, я — особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит — во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винули, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настоячивые доказательства личной непогрешимости, — они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настоячивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он

испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестящих его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босняка, — хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босняка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили все жарче.

— Да погоди, — кричал я, — как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячася и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудака-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинув-

шуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Полутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Почитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне — которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этикие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской

вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов пере-рождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, — он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, — теперь потемневшим и суженным, — исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай, — тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, оставившись против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул на пол...»

— Будет!.. К чорту! — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу. — Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей пред нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. — А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к синьям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «сехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменная, — ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида и

больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось — незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязью. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, — стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал

им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот, — выслушав такую историю, всегданосящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Лёса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

— Верно, — соглашается рассказчик. — А все-таки ты это к чему головой-то качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, — значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, — говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво

твердил свое: никто ни в чем не виноват пред ними, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне способными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлибкие и решительно неспособные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красотой природы...

Как всё, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и, когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините...

— Кого нужно? — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых, красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к госте.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! — торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра, но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чайнике, видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

— Ничего... — уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки?.. — настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. — Все-таки... все-таки... Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и, наконец, он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему... Вон она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желая, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуриха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» — и прочее такое, очень многое... А она: «Запой — наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь как-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный чорт!..» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? — спросил я.

— Почему? Вот чуждак! Чай, жалко! Ведь удряет человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решился. Какие резоны были! Мог бы и с приданным и... все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело?

Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он, — пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, чорт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймашь, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он. — Я вот как возьму, да... а что в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все

лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него. — Плохо метила. А уж бы...

— П'дѐ-ем! — рычал зверский бас. — П'дѐ-ем, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дѐ-ем! — лопотал бас.

— Пуси! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай... — следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидел Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал:

— П'дѣ-ем!..

— Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий чорт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеюсь я... насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

— Я не спрятался... — подходя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. — Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел; добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дѣ-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, чорт, поверила... — рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Все!.. — как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня!.. — с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. — В полицию попала... пьяная... с каким-то чортом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дѣ-ем!..» — все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он. — Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов. — Эхма! ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я — скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Затем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком, — медленно заговорил Коновалов. — А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смирение... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смиренная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призора за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.

— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? — встрепенулся он. — С Капкой? Шабаш... — Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, переворачивает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь... — смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. — Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

— Максим!..

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж.. Будет тебе...

— Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправо она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю... Вправе... — уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, посланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом... — попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть разный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

— Это чепуха!..

— Нет, верно!.. — убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

— Саша, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается, — объяснил он. — Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги,

знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг... совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?.. Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя... Слыхал я это... Тут не в жизни дело, а в человеке. Первое дело — человек.. понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле, — вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать...

— А может, оправится?!

— Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегдатаи — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушающих его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежда... Дня на три хватит всего. Все пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший, — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень неперменной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим... и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня. — Ну-ка, книжник и фарисей, — тятни! Я, брат, окончательно прыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда, — сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить?.. — Он засмеялся. — Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это, — может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне делать? Ведь я чувствую, все чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую — и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ, — ученый, чорт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысойка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего неизвестно... Темы!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-ходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза

полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал, — было до слез жажко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму, — все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. — Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах и тошно мне, тошно мне... то-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загрели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов. — Пей! Отводи душу — дуй во-всю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, — одним словом, из

всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творах цемент и, делая из него сажанные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темнокоричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо

падала чугунная баба на дерево сваи, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали: — Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!

И-эх! Никому-то нас не жалко!

О-ой, ду-убинушка,

У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, — большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно

давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить, — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремьями ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидających каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли...

... Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выде-

лялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы — сравнительно с работой на тачках и с киркой — более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он копался там сверху деревянной башни, то и дело крича оттуда: — Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ищё дерни. Сто-ой! П'шел!..

Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самойнисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик. — Заржали!..

— Митрич, — лопнешь!.. — предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рванными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой... — он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзати-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты

М. Горькій.

Очерки и разказы.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1. Чалкашъ. | ↑ | 6. Дядь Архипъ и Ленъка. |
| 2. Вѣсни о соколѣ. | ↑ | 7. Скуки ради. |
| 3. На плотяхъ. | ↑ | 8. Озорникъ. |
| 4. Тоска. | ↑ | 9. Макарь Чудра. |
| 5. Зазубрина. | ↑ | 10. Супруги Орловы. |

ИЗДАНІЕ

С. Дороватовскаго и А. Чарушникова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая скоропечатня И. А. Богельманъ, Невскій. 148.
1898.

Обложка первого сборника произведений
А. М. Горького

обрядился ловко... не узнать: по одеже — солдат, по роже — студент. Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец, мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдру: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну — бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муromский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» — «Надо быть, ты, коли признаешь». — «Должно, я, говорит; ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпорол. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная». Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилиу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с дитей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего этакого?

Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой чорт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три, да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщевые порты и в тяжелые опорки. Шапка русских кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительство». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пíлтавы», — задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно — ласковое такое... хорошие думы от него в душе у человека. А ну, Расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдали уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно украшенными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, — убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. — И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхолический звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

— Костер бы... — сказал он, покашливая.

— Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать

желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темносинем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы...

— Ого, — тряхнул головой хохол, — коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь... — Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да, — смутился тот, — зима — треклятое время. Для зимы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумашь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько вся-

кой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне... — спрашивал Коновалов, — почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее?.. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек, — удивился хохол. — Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно... — грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, — с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам, — так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А поляжемте спать, — предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов, как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...

БОЛЕСЬ

Один знакомый вот что рассказал мне:

«Когда я был в Москве студентом, мне довелось жить рядом с одной из «этих», — знаешь? Она была полька, звали ее Тереза. Высокая такая, сильная брюнетка, с черными, сросшимися бровями и с лицом большим, грубым, точно вырубленным топором, — она приводила меня в ужас животным блеском своих темных глаз, густым, басовитым голосом, извозчичьими ухватками, всей своей громадной, мускулистой фигурой рыночной торговли... Я жил на чердаке, и ее дверь была против моей. Я, бывало, никогда не отворял моей двери, если знал, что она дома. Но это, конечно, случалось редко. Иногда мне приходилось встречаться с ней на лестнице, на дворе, и она улыбалась мне улыбкой, которую я считал хищной и циничной. Не раз я видел ее пьяной, с осовелыми глазами, растрепанной, улыбающейся как-то особенно безобразно... В таких случаях она говорила мне:

— Бывайте здоровы, пане студент! — и глупо хохотала, увеличивая мое отвращение к себе. Я бы съехал с квартиры, чтоб избавиться от таких встреч и приветствий, но у меня была такая миленькая комнатка, с широким видом из окна, и так тихо было в этой улице... Я терпел.

И вдруг, однажды утром лежу я на койке, стараясь найти какие-либо основания для того, чтоб не идти на

лекции, — отворяется дверь, и эта отвратительная Тереза возмашает с порога басом:

— Бывайте здоровы, пане студент!

— Что вам угодно? — говорю. Вижу — лицо у нее смущенное, просительное... Необычное для нее лицо.

— Видите ли, пане, буду я вас просить об одном деле... уж вы сделайте мне его!

Я лежу, молчу и думаю:

«Подвох! Покушение на мою чистоту, ни больше ни меньше. Крепись, Егор!»

— Нужно бы мне, видите, письмо послать на родину, — говорит она, и так умоляюще, тихо, робко.

«Э, думаю, чорт с тобой, изволь!» Встал, сел к столу, взял бумагу и говорю:

— Проходите сюда, садитесь и диктуйте...

Она проходит, осторожно садится на стул и виновато смотрит на меня.

— Ну-с, кому письмо?

— По Варшавской дороге, в город Свеняны, Болеславу Кашпуту...

— Что писать?.. Говорите...

— Милый мой Болесь... сердце мое... Мой верный возлюбленный... Да сохранит тебя мать божия! Золотое мое сердце... почему ты так давно не писал своей тоскующей голубке Терезе...

Я чуть-чуть не расхохотался. «Тоскующая голубка» двенадцати вершков роста, с пудовым кулачищем и с такой черной рожей, как будто голубка всю жизнь трубы чистила и ни разу не умывалась! Сдержался кое-как, спрашиваю:

— Он — кто, этот Болесь?

— Болесь, пане студент, — как будто обиделась она на меня за то, что я исковеркал имя. — Он жених мой...

— Жених?!?

— А чего же пан так удивился? Разве ж у меня, у девушки, не может быть жениха?

У нее, у девушки?!

— О, почему же! Все бывает... А давно он ваш жених?..

— Шестой год...

«Ого-го!» — думаю я. Ну, написали мы письмо. Такос, я вам скажу, нежное и любовное, что я бы сам, пожалуй, поменялся местом с этим Болесем, если б корреспонденткой была не Тереза, а что-нибудь другое, поменьше ее.

— Вот, спасибо вам, пане, за услугу! — говорит мне Тереза, кланаясь. — Может, и я могу вам чем послужить?

— Нет, покорно благодарю!

— А может, у пана рубаха или штаны в дырках?

Чувствую, что этот мастодонт в юбке вогнал меня в краску, и довольно резко заявляю, что не нуждаюсь в ее услугах.

Ушла.

Прошло недели две... Вечер. Сижу под окном и свищу, думая, чем бы мне отвлечь себя от себя? Скучно, а погода скверная, идти никуда не хочется, и от скуки я занимался самоанализом, помню. Это тоже довольно-таки скучно, но больше ничего делать не хотелось. Отворяется дверь — слава богу! — кто-то пришел...

— А что, пан студент не займется никаким спешным делом?

Тереза! Гм...

— Нет... а что?

— Хотела бы попросить пана еще письмо написать...

— Извольте... К Болесю?..

— Нет, теперь уж от него...

— Что-о?

— О, глупая женщина! Не так я, пане, сказала, простите! Теперь уж, видите ли, нужно не мне, а одной подружке... то есть, не подружке, а... одному знакомому... Он сам не пишет... а у него есть невеста, как я же вот... Тереза... Так вот, может быть, пан напишет письмо к той Терезе?

Смотрю я на нее — рожа у нее смущенная, пальцы дрожат, путается чего-то — и... догадываюсь!

— Вот что, сударыня, — говорю, — никаких Болесей и Терез у вас нет, и все это вы врете. А около меня вам не обречь, и в знакомство вступать я с вами не хочу... Поняли?

Она вдруг как-то странно испугалась, растерялась, начала топтаться на одном месте и стала смешно шлепать губами, желая что-то сказать и ничего не говоря. Я жду,

что из всего этого воспоследует, и вижу, и чувствую, что, кажется, немного ошибся, заподозрив ее в желании совратить меня с путей благочестия. Тут как будто бы что-то другое.

— Пан студент, — начала она, и вдруг, махнув рукой, круто повернулась к двери и ушла. Я остался с очень скверным чувством на душе, слышу — у нее хлопнула дверь, громко так — рассердилась, видно, бабища... Подумал и решил — пойду к ней и, позвав ее сюда, напишу ей все, что там надо.

Вхожу в ее комнату — вижу, она сидит у стола, облокотилась на него и голову сжала руками.

— Послушайте, — говорю...

...Всегда вот, когда я рассказываю эту историю и дойду до этого места, ужасно нелепо чувствую себя... такая глупость! Да-а...

— Послушайте, — говорю...

Она вскакивает с места, идет на меня, сверкая глазами, и начинает, положив мне руки на плечи, шептать — вернее, гудеть своим басом...

— Ну, что ж? Ну? Так! Нет никакого Болеся, нет... И Терезы тоже нет! А вам что? Вам трудно поводить пером по бумаге, да? Эх, вы! А еще такой... беленький! Никого нет, ни Болеся, ни Терезы, только я одна есть! Ну, что ж! ну?

— Позвольте, — говорю я, ошеломленный этим приемом, — в чем дело? Болеся нет?

— Да, нет! Так что ж?

— А Терезы — тоже нет?

— И Терезы — нет! Я — Тереза!

Ничего не понимаю! Таращу на нее глаза, пытаюсь определить, кто из нас сошел с ума? А она ушла опять к столу, порылась там, идет ко мне и обиженно говорит:

— Если вам уж так трудно было написать Болеся, то вот оно, ваше писанье, возьмите! А мне и другие напишут...

Вижу — в руке у меня письмо к Болеся. Ф-фу!

— Слушайте, Тереза! Что все это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие, если я вот написал, а вы его не послали?

— Куда?

— А к этому... к Болесю?

— Да его же нет!

Решительно ничего не понимаю! Оставалось только плюнуть и уйти. Но она объяснилась.

— Что же? — обиженно заговорила она. — Нет его, так и нет! — И развела руками, как бы не понимая — почему же это его нет? — А мне хочется, чтоб он был... Разве ж я не человек, как все? Конечно, я... я знаю... Но ведь никому нет вреда от того, что я пишу ему...

— Позвольте — кому?

— Да Болесю ж!

— Да ведь его нет?

— Ах, Иезус-Мария! Ну что же, что нет, — ну? Нет, а будто бы есть!.. Я пишу к нему, ну, и выходит, как бы он есть... А Тереза — это я, и он мне отвечает, а я опять ему...

Я понял... Мне стало так больно, так скверно, так стыдно чего-то. Рядом со мной, в трех шагах от меня живет человек, у которого нет на земле никого, кто бы мог отнестись к нему любовно, сердечно, и этот человек выдумывает себе друга!

— Вот вы мне написали письмо к Болесю, а я его дала другому прочитать, и когда мне читают, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо от Болеся к Терезе... ко мне. Когда такое письмо мне напишут да читают, я уж совсем думаю, что Болесь есть. А от этого мне легче живется...

...Да-с... Чорт возьми!.. Ну, я с той поры аккуратно стал два раза в неделю писать письма к Болесю и ответ от Болеся — Терезе... Хорошо я писал эти ответы... Она, бывало, слушает их и ревет... басом таким редела. И за то, что я вызывал у нее письмами к ней от воображаемого Болеся слезы, она мне бесплатно чинила все дырки на носках, рубашках и прочем... Потом, месяца через три после этой истории, ее посадили за что-то в тюрьму. А теперь она, наверное, умерла».

...Мой знакомый сдунул пепел с папиросы, задумчиво посмотрел в небо и закончил:

«Н-да-с... Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого. А мы этого не понимаем, облеченные в наши ветхие добродетели и глядя друг на

друга сквозь дымку сомнения и убеждения в нашей всяческой непогрешимости.

Выходит довольно глупо и... очень жестоко. Дескать, падшие люди... А что такое падшие люди? Прежде всего — люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и те же нервы, как и у нас. Говорят нам об этом целые века изо дня в день. А мы слушаем и... черт знает как это все нелепо! В сущности, сами-то мы тоже падшие и, пожалуй, очень даже глубоко падшие... в пропасть всяческого сомнения и убеждения в превосходстве наших нервов и мозгов над мозгами и нервами тех людей, которые только менее хитры, чем мы, хуже умеют притворяться хорошими, чем мы притворяемся... А впрочем, будет об этом. Так все это старо... что даже совестно говорить...»

ВАНЬКА МАЗИН

Сдавленный с боков и удлинённый череп, с оттопыренными большими ушами, желтое, апатичное лицо, с рыжими кустиками волос на скулах и остром подбородке, меланхолично выпученные, неподвижные и бесцветные глаза, длинный нос, отвислая нижняя губа и большой, всегда полуоткрытый рот; шея, тоже длинная и вся в узловатых жилах, плечи опущены книзу, грудь ввалилась, живот выдался вперед, как у беременной женщины, левая рука заметно короче правой, а ноги изогнуты колесом; на голове этой неуклюжей фигуры висит рыжий картуз с черной заплатой посредине и с изломанным козырьком; картуз велик, и для того, чтоб он не падал на глаза, его вешают на левую сторону длинной головы, он держится на раковине уха и на клочьях густых желтоватых волос, склеенных пылью и грязью до плотности войлока; пестрядинная рубаха, вся в заплатках, болтается на этом уродливом теле как-то особенно неприглядно, порты слишком широки для сухих и тонких ног, онучи растрепаны, и лапти разбиты. Вот вам точный портрет Ваньки Мазина, плотника-вятича, созданного природой как бы специально ради олицетворения понятия о несурзном человеке да для потехи и развлечения ближних своих.

Ванька Мазин с большим успехом служил последней цели, — еще издали, видя его, товарищи по артели смешливо восклицали, кивая головами в его сторону:

— Чортова карета едет!

Я никогда не видал чортовой кареты, но при виде Мазина, передвигающегося по земле, мне всегда казалось, что из его тела вытянуты все жилы и от этой причины у него образовалась такая странная походка: ноги, прежде чем двинуться вперед, сначала откидывались вправо и влево, точно они желали осведомиться, нет ли где в стороне более ровного и легкого пути для их несущего хозяина; руки вяло болтались по бокам развинченного и сутулого туловища, голова неустанно тряслась в безуспешной борьбе с картузом, съезжавшим на нос, нос громко храпел и шмыгал, пещер с инструментами сбивался со спины на бок; но при всем этом меланхоличные глаза Мазина оставались неподвижными, устремленные куда-то глубоко в даль, точно они жили жизнью совершенно отдельной от жизни развинченного тела.

Он имел смешную привычку всегда мурлыкать себе под нос какую-то песню без слов и, должно быть, без конца; он и на ходу не бросал этой привычки, он шел, шел, фыркал носом и действительно представлял некоторое подобие старого, ржавого, скрипучего экипажа, терявшего от долгой работы все свои гайки и крепления.

Его называли Разгильдеем, Комариной тоской, — все это как нельзя лучше шло к нему и, очевидно, нимало не трогало его самолюбия, ибо он на все клички охотно отвечал своим апатичным и сиплым голосом:

— Что те?

По паспорту ему было сорок семь лет, но даже молодые парни в артели звали его Ванькой и очень редко — по фамилии. Уничжительная кличка тоже нимало не трогала его; он был глубоко равнодушен к своим товарищам, любил уединение и умел быть одиноким среди компании. Когда, в праздники, артель шла всем составом в трактир пить чай, он тоже шел, если его звали, но, сидя за чаем и за бутылкой водки, он все равно оставался таким же молчаливым и меланхоличным, каким был всегда. Но, несмотря на это, было бы несправедливо назвать его нелюдимым: нет, он скорее походил на человека, задумавшегося над чем-то неразрешимо мудрым и склонного к тихому умопомешательству. Его широко открытые глаза, смотревшие как-то точно сквозь стены и людей,

уже с первых дней его вступления в артель навели дедушку Осипа, артиста-плотника и Нестора артели, на такую мысль:

— Вятч-от, видно, того... нездоров душой-то... Глаз у него не играет, око мертвое... Н-да! Значит, того... или он замаян жизнью своей, или совесть у него не энтото... нечиста, стало быть... С пятном, значит... А от этого глаз-от у человека застилает, пятно-то с души на глаз и падает... У которого человека глаз бегаёт, — тоже нехорошо, — беспокойство, значит, есть на душе... от совести али от думы какой, а и у которого омертвел глаз, тоже плохо... Ежели человек состоит в своей полноте и внутри чист, — у него глаз прямой... смотрит себе прямо на все и светится, играет, значит... н-да... Стало быть, вы, ребята, того... за вятчем-то надзирайте... как бы чего не было: человек он нам неизвестный...

Ребята всей артелью стали следить за поведением человека с мертвыми глазами и на первых же порах усмотрели, что он — очень плохой работник. Ремесло он знал, но топор, пила и рубанок в его длинных руках действовали плохо, железо как бы пропитывалось апатией человека и, обрабатывая дерево, не звучало с такой гордой силой, как звучало оно в руках других работников. Иногда среди работы Мазин вдруг останавливался и, молча рассматривая инструмент, о чем-то думал над ним.

— Ты! Мухомор! Задремал?! — сурово окрикивал его десятник.

Мазин молча принимался за свое дело.

— Он у нас неторопливый человек, — презрительно посмеивались ребята.

— А куда торопиться? — серьезно спрашивал Ванька Мазин и ждал ответа, глядя на ребят. Они смеялись, дразнили его; он оставался неуязвим, скрытый от колкостей и грубых выходок за своим равнодушием.

Не любили его. Он один был вятский среди артели нижегородцев, он был плохим товарищем, ленивым, неинтересным, не артельным человеком. Но, смеясь над ним, его не трогали особенно грубо, ибо знали, что он, несмотря на свою изломанную кость, силен. Узнали это так.

Однажды на стройке человек шесть несли здоровое бревно; Мазин стоял под самым комлем.

— Не качай! — кричали ему передние. Но он не мог ийти нога в ногу с ними, — его кривые ноги не позволяли ему этого, и бревно «толкалось».

— Колченогий дьявол, ровней иди!

Он покряхтывал, — старался примениться к шагу товарищей, и бревно еще более толкало их.

— Росомаха чортова! — крикнул коренастый Яков Лаптев, один из силачей артели, и ударил Мазина длинной и тяжелой шепой ниже спины. Мазин крикнул и, не сказав ему ни слова, пошел дальше. А когда бревно отнесли куда было нужно, он воротился к месту, где работал Яков, остановился перед ним и спокойно спросил его:

— Ты пошто дерешься?

— У-уйди! — злобно крикнул Лаптев.

— Ты начальство, чтобы драться? — допрашивал Ванька.

— Не приставай, говорю! Убить тебя, паука косопого, и то мало!

— За што? — осведомился Ванька.

— Дай ему в рыло, Яков! Чего он лезет... — посоветовали Лаптеву. Он послушался, размахнулся и... опрокинулся на спину от удара по лбу, неторопливо нанесенного Ванькой.

Артель удивилась, — люди чтут силу, в каких бы формах она ни проявлялась. Лаптев считался силачом и не мог сразу уступить свою славу вятичу. Он встал с земли и, засучивая рукава, зловеще сказал Ваньке:

— Готовься... сейчас я тебе ребра испорчу...

— Ну... — неопределенно произнес Мазин.

— Раздайся, братцы, не тронь их, — скомандовал дедушка Осип. — Не тронь, пускай разом сшибутся... дело правильное... валай, ребята, но шобы по совести... без подвоха... Господи, благослови! Р-раз! О-о?!

«Раз» получил Ванька в левый бок, а Лаптев снова поднимался с земли и уже с удвоенной злобой смотрел на своего противника. Тот дождался его, вздыхая и почесывая ушибленный бок левой рукой. Лаптев горячился и нападал. Ванька спокойно действовал своей длинной

правой рукой, аккуратно сшибая противника с ног ударом по лбу сверху вниз. Со стороны казалось, точно он гвозди вбивает в голову Якова. Семь раз ложился Лаптев на землю и в последний раз, уже не вставая, начал ругаться:

— Облом чортов! Что ты по башке-то бьешь! Мало тебе, кособокому лешему, места на мне? Кикимора так кикимора и есть, — даже драться и то не умеешь по-человечески...

И вся артель признала, что хоть и силен Ванька, но драться не умеет. А Ванька обратился к сраженному противнику с речью. Он, внушительно подняв вверх правую руку со сжатым кулаком, сказал Лаптеву:

— Понял, как оно драться-то? Во! Да ище я жалел тебя, а то бы и не так... Другорядь не наскочишь... а голову-то студеной водой помочи, она и пройдет... Не больно болеть-то будет... Намочи-ка. — И, замурлыкав, по обыкновению своему, какую-то бесконечную мелодию, он пошел прочь от места действия.

— Ну и чорт! — восклицала артель, изумленная событием. Лаптев был такой коренастый, широкогрудый, здоровый и веселый, а этот обломок!

— Видали? — говорил дедушка Осип. — Вятский-то правильно объяснился... Он — с сердцем человек... он, того, обижен богом, но Якову сказал правильно. Не на-скакивай, не задевай зря-то... Все человеки... зачем друг на друга зря лезть? Это вятский хорошо поступил: побил человека за дело, и говорит ему, — поди, говорит, помочи голову-то. Это — тоже со смыслом сказано! Вот он и вятский... И помяните мое слово — еще он себя не так нам объяснит...

— А хорошо бы его из артели-то турнуть... — заявили ребята.

— Не артельный человек... Это верно, — задумчиво сказал дедушка Осип. — И отчего это он такой?.. Турнуть... это того... надо подождать... может, он что еще объявит... приладится к нам...

— Да что в нем толку-то? — протестовали ребята.

— Ленив, это так... Плохой совсем работник... это уж как есть... Но ведь, братцы мои, опять же и ему надо пить и есть и подать платить! Как же? Крестьянин ведь тоже...

как же это турнуть? Мы турнем, другие турнут... где же он пить-есть достанет?

Больше дедушке не возражали, и Ванька Мазин остался в артели. Сначала ждали, что он приладится, потом сами приладились к нему и, хотя считали его хуже всех как по работе, так и по характеру, всегда трунили над ним, — и часто очень зло, — но вопрос о том, чтоб турнуть его, более уже не поднимался. Привыкли и к его ленивой, но всегда основательной и чистой работе, за которую он получал два рубля в неделю на харчах подрядчика.

Он был паршивой овцой в маленьком человеческом стаде: положение вполне определенное, ибо в каждом стаде людей необходим человек, недостатки которого оттеняли бы достоинства стада, — достоинства без этого условия мало заметные, плохо выдающиеся.

Однажды, на постройке четырехэтажного дома богачу купцу Смурову, плотники работали над установкой лесов, сетью окружавших три уже выложенные этажа дома. Требовалось приспособить леса для кладки четвертого этажа.

Около обеденного часа на стройку явился сам подрядчик Захар Иванович Колобов, тучный человек, с красным лицом и большой, рыжей, тщательно расчесанной бородой. Все сразу охватившим взглядом острых серых хозяйских глаз он сосчитал бывших на работе плотников, усмотрел Мазина, неторопливо тащившего вверх по лесам какую-то доску, и вознегодовал.

— Эй, ты, мокрица! Ползи быстрее! У, чорт кослапый! Дармоседы окаянные...

Плотники поняли, что хозяин не в духе, и удвоили рвение, но это, конечно, ни к чему не повело, — подрядчик ругался не потому, что ругаться следовало, а потому, что ему этого хотелось.

— Али я вам, олухам, не говорил, чтобы лесу нового на настилку не брать? чтобы жерди новые на настилку не пилить? Трать старый лес!..

— Жидки леса-то, Захар Иванович, — скромно и почтительно заметил Яков Лаптев.

— Что ты понимаешь, тупое рыло? — орал Колобов.

С полчаса он нагонял страх на своих подданных, наконец они стали собираться обедать, а он, осторожно ступая по доскам, пошел на леса.

— Экой облай-человек, — ворчал дедушка Осип.

— Толстый деймон, — втихомолку ругался Лаптев.

Другие ребята вторили им, а Мазин молчал, неторопливо собирая свои инструменты.

— Идемте, что ли? — сказал дедушка артели, столпившейся вокруг него. — Чего ждать? Чтобы он слез оттуда да опять всех обляял? — И дед кивнул головой на леса.

Пробуя рукою стойки и ногами — прочность настилки, Колобов стоял на третьем этаже лесов. Когда он упирался в дерево, слышно было, как скрипят его сапоги. Плотники искоса посмотрели на него и дружно двинулись обедать.

Тогда в воздухе раздался тонкий скрип, — скрип гвоздя, вырываемого из дерева, и треск раскалываемой доски. Дедушка Осип обернулся назад и, странно подпрыгнув на месте, крикнул:

— Бра-атцы!

И вместе с его криком в воздухе раздался скрип и треск ломавшегося дерева, грохот падавших досок и отчаянный вой:

— Спас-сай-ай!

Плотники замерли на месте. Леса падали, — стойки медленно, не торопясь, отклонялись от стены, точно она оттолкнула их; на землю сыпались доски, щепы, кирпичи, поднялось облако пыли, и из него раздавались безумные крики Колобова:

— Батюшки! Ба...ай!

Дерево трещало и падало, плотники бессмысленно смотрели на свою разрушающуюся работу и, боясь подойти ближе к стройке, мялись на месте, слушая укоры дедушки Осипа.

— Говорил я... братцы: крепи гвоздями — вот! Не послушали... погубили душу! Ведь разбился, чай! Ах ты, мать пресвятая! Чего стоите? Стоите чего, демоны? Идите... тащите его... А! Ах ты, господи! Идите, говорю, псы! А?

— Чего уж очень-то? — угрюмо сказал Лаптев. — Не кто виноват... Сам он говорил: лес бери старый...

— Гвоздей-то не было... не давал он! — крикнул кто-то.

— Али мы виноваты? — ворчливо заявил другой.

— Так погибать ему за это? а? Погибать?

Дедушка Осип суетился среди артели, весь красный от возбуждения, и дрожащими руками толкал и дергал ребят.

А леса, одна стойка за другой, пошатывались и, скрипя, отходили от стены дома. И с них всё летели на землю кирпичи, доски; упал и покатился по земле какой-то ушат, сыпалась известка, окружая катастрофу облаком белой пыли. Криков Колобова не было уже слышно.

— Ин пойду я, — задумчиво глядя в облако пыли, сказал Мазин и пошел...

— Не ходи! Убьет! — крикнули ему.

— Не тронь! Иди, Ваня! иди, друг... для господи иди!

Но он шел и без поощрений дедушки Осипа. Шел, как всегда, неторопливо и покачивался с боку на бок на своих кривых ногах.

Уже собралась густая и шумная толпа народа, и среди нее хлопотливо бездействовали двое полицейских. Облако извести рассеялось и обнаружило безобразный остов разрушенных лесов, — всюду торчали доски, жерди, иные еще покачивались, точно не решаясь упасть на землю.

Одна доска, высовываясь из окна дома, качалась сильнее других, ибо на конце ее лежал Колобов. Он охватил доску руками и ногами, прильнул к ней головой и животом и так висел в воздухе. Другой конец доски был защемлен в груди навалившегося на него дерева и упирался в колоду окна. Доска была защемлена крепко, но она могла переломиться, или человек, прицепившийся к ней, мог лишиться сил, выпустить ее из рук и упасть на землю, на острые обломки дерева, с высоты почти трех этажей. Но пока он лежал на ней смирно, молча, точно сросшись с деревом.

Когда публика увидела эту картину, она на минуту смолкла и затем разразилась с удвоенной силой шумом, в котором выразила все свои чувства от ужаса и до любопытства. Потом стали советовать друг другу:

— Брезент надо растянуть на руках, и пусть он в брезент прыгнет...

- А ежели он без памяти?
- Войти в дом и тащить доску назад в окно.
- А она переломится...
- Да просто подпереть ее!
- Ну-ка, подопри! Достань чем...
- Гляди! Глядите!

В окне стоял Мазин с веревкой в руках и, должно быть, что-то говорил, ибо губы его двигались. Публика умолкла.

— Захар Иваныч! Слышь? Я, мол, брошу тебе веревку, а ты ее петлей-то захлестни за конец доски! Понял, ай нет? Держи!

Веревка развернулась в воздухе и упала на тело Колобова. Он медленно, тихонько пошевелинулся, — доска закачалась. Раздался стон.

— А ты не робей, Иваныч! Твори молитву про себя и действуй! Господь не попустит, чтоб без покаяния... — кричал снизу дедушка Осип. Публика тоже ободряла Колобова, и он, после долгих усилий, надел на конец доски петлю веревки...

— Ну, теперь лежи спокойно, — сказал Мазин и исчез из окна. Вербка натянулась вслед за ним, и доска начала потихоньку подниматься.

— Ай Ваня! — ликовал дедушка Осип, сообразивши план Мазина. — Черти! Идите, помогите парню-то! Ай да Ваня! Братцы, идите!

Несколько человек бросилось в дом, и вскоре доска уже была поднята так, что к окну образовался наклон. Тогда в окне вновь явился Мазин.

— Теперь, Захар Иванович, съезжай назад на брюхе-то! Валяй полегоньку, выдержит... она здоровая, доска-то... Пятясь раком... ну...

Хотя опасность еще не миновала, — ибо доска могла переломиться, — но среди публики уже раздался смех. Колобов, весь покрытый пылью, с разинутым ртом на сером лице и с безумными глазами, полз на животе по доске, и эта картина действительно была лишена трагизма.

Осторожно перебирая руками, он то съеживался в большой шар, то растягивал свое тело. Ноги у него срывались с доски и отчаянно болтались в воздухе, доска

прогибалась, — тогда он замирал на месте, прижимался к ней и громко, жалобно мычал. Все это смешило публику, и чем ближе подползал подрядчик к окну, тем громче смеялись над ним.

— То-то, чай, заноз у него в брюхе! — весело воскликнул какой-то рыжий маляр.

— Небось, с аппетитом поешь теперы!

— Он всегда аппетит с собой имеет. Нашего брата и посла обедать поедом ест! — сострил Лаптев, чем-то обрадованный.

Но вот Колобов дополз до окна и исчез в нем. Потом он явился перед публикой, ведомый под руки двумя какими-то людьми, оборванный, потный и грязный. Он едва переставлял ноги. Его посадили на извозчика и увезли. Публика стала расходиться, несколько человек окружило Мазина и расспрашивало его, как это он догадался снять хозяина. Он стоял с веревкой в руке и объяснял:

— Так уж... Доска тут главная вещь... Пора обедать идти мне...

— А ведь могло убить тебя, как ты пошел?..

— Нет, не убило вот... Наши ребята ушли, видно...

— Вот он! Ванюха! А мы тебя ищем! Где, мол, он? А он — вот он! — кипел дедушка Осип, являясь пред Мазиным. — Обедать айда... Как господь-то помог тебе, а? Это, брат Ваня, господь! Его сила... Потому доска — какая она? Значит, не захотел он, батюшка, чтобы человек без покаяния расшибся... Конечно, и ты, и веревка... Это тоже того... но ты не гордись...

Мазин шел рядом с мудрым дедушкой и шмыгал носом, равнодушно слушая его.

— Не тронуло тебя?

— Нет... По ноге задело раз...

— Больно?

— Ничего, больно... Чай, пройдет...

— Водкой притереть надо...

Мазин помолчал и сказал:

— Водку-то лучше выпить... — Потом добавил со вздохом: — Ежели бы была она...

— Будет! — радостно пообещал дедушка Осип.

Пообедав и выпив по стаканчику, артель стала ожидать распоряжений подрядчика относительно лесов.

— Чай, сойдет скоро, — поглядывая в потолок, хмуро сказал Лаптев.

— Сойдет, известно... ругаться будет, скажет, что — псы, убили было меня! — заявил молодой парень Афоня и покорно засмеялся.

— А как? — спросил дедушка Осип. — И надо ему ругаться, потому есть в этом деле наша вина. Хоть лес был и трепаный, однако у нас есть и глаза и руки... Вот у него и причина к ругани...

Поспорили с дедом и согласились, что хотя на леса шел материал старый, стойки были составные, гвоздей не хватало, однако и с их стороны был недосмотр, а коли так, — значит, Колобов вправе ругаться.

— Совсем пустой разговор это, — скептически заметил Лаптев. — Нужна ему причина! Да он и без причины довольно даже ловко лается...

На этом порешили. И ошиблись.

Захар Иванович явился к артели солидный и важный, и, еще когда он переступал через порог, плотники увидели, что ругаться он не хочет.

— Где Иван? — спросил он.

Иванов в артели было трое; двое из них поднялись со скамьи, на которой сидели, и вопросительно взглянули на подрядчика.

— Тот где? — нахмурился Колобов.

— Вятской? Он на нарах... дремает немного. Иван, а Иван!.. Ну-ка, хозяин зовет...

Мазин замычал, зевнул, слез с нар и пошел к подрядчику. Колобов вобрал в себя так много воздуха, что у него всколыхнулся живот и надулись щеки.

— Ну, Иван, — неторопливо начал он, — буду я к тебе речь держать... Как оказался ты из всех этих идолов самым сметливым парнем... и что я без тебя погиб бы, может, — потому что ведь это кто? Что за люди? Дерево... обломы, без соображения... Ну, и выходит, что я тебе — обязан и что ты мне спас жизнь... Понял? Ну вот... и хочу я тебя поблагодарить от всей души... Так-то...

Колобов обвел артель укоризненным взором и увидел на лицах плотников общее всем им выражение любопытства и ожидания...

— Что, черти, выпучили зенки-то? Думаете, ежели я дам Ивану награду, пропить ее с ним? Ну-ка, напейся который, — целковый штраф! Поняли? А ты, Иван, им не давай ничего... Они соображают уж... ишь, оскалились все на твои-то деньги! Эх, вы... видите — не умен человек, и опиваете его? Ты, Иван, пошли деньги на подать или что, а им — шиш!

— Какие деньги? — спросил Иван.

— А вот сейчас... На вот... спасибо тебе!

Захар Иванович сунул в руку Мазина трешницу и смотрел на него с видом великодушия и ожидания. А Мазин пристально смотрел на бумажку в своей руке.

— Это, стало быть, мне? — спросил он, задумчиво растягивая слоги.

— Чудак! Конечно...

— Мм... стало быть, за то, что я лазил с веревкой... и вообще...

— За это самое, тугой человек! — усмехнулся Колобов. Его забавляла апатия и глупость Мазина.

— Да разве я это за трешницу? — спросил Иван Мазин. Он стоял, понуро опустив голову на грудь, все еще рассматривая бумажку и не поднимая глаз на подрядчика.

— Что же — мало, что ли? — сухо усмехнулся Колобов и сунул руку в карман брюк. Иван исподлобья взглянул на него и потом, медленно подняв голову, вздохнул. Лицо у него подернулось, и он сделал ту же гримасу, которую делал в тех случаях, когда мясо во шах было чрезвычайно тухло или капуста слишком уж сильно пахла гнилью.

— Так ты думаешь — я за трешницу? Возьми-ко ее... на! Глупый ты человек, Захар Иванов... Ишь ты, ведь трешницу дал! Неужто ты не понимаешь, что я из жалости к душе твоей полез за тобой, а не за трешницей? Я старался, чтобы ты без покаяния жизнь твою не кончил, а ты — на-ко! Ка-ак дам я тебе в ухо за эту твою награду! Ступай от греха... ступай! Противен ты мне...

Говорил он сначала, как всегда, — медленно и задумчиво, а в конце речи повысил тон и как-то зарычал. Ошеломленные плотники во все глаза смотрели на него, дедушка Осип улыбался чему-то, а Колобов даже побледнел от неожиданности.

— Что-о? Ты! Мне в ухо? Гонишь меня? Ты? — заговорил он, задыхаясь от изумления. — А ты, ты, старый чорт! Смеешься?

— Уйди, мол, Захар Иванов! Смотряй — не шути! — рыкнул Мазин. — Иди... давай мне расчет!

— Так! — громко сказал дедушка Осип.

Колобов снова растерялся. Вся артель смотрела на него — смотрела уже холодно и враждебно, и он чувствовал, что его обаяние, как хозяина, вдруг исчезло куда-то. Но уйти он не решался, — что-то не пускало его. И, стоя пред своими работниками, он криво усмеялся, повторяя:

— Та-ак! Ловко! А ну-ка, еще! Ну? Скажи слово!

— Я скажу! — произнес Иван. — Я только не умею... но в рыло я бы тебе закатил! Уйди, мол! не марай мне глаз!

— Так! — воскликнул дедушка Осип.

— Н-ну, черти, хрощ-шо! Я вам... дам! Я вам покажу!

Но он чувствовал, что ни дать, ни показать ему нечего. И вдруг, повернувшись, исчез.

— Так, Ваня! правильно! — неистово восклицал дедушка Осип, завертевшись вокруг Мазина. — Хорошо! И очень просто! А? Трешница? Вр-решь! Не везде ей одержать верх возможно, трешницей-то! А ты думал — возможно? Ваня — хорошо это! Доказал ты ему!

И вся артель понимала, что уродливый Ванька Мазин доказал что-то хозяину, и хорошо доказал. Все смотрели на него, как на диковину, — с любопытством и с некоторой дозой боязни. Может быть, в нем осталось еще что-нибудь и на их долю? Но он уже снова воплотился в знакомую им придурковатую форму лентяя Ваньки Мазина и стоял пред ними, как всегда, равнодушный, как всегда, вялый и тупой.

Вечером Мазин и дедушка Осип, рассчитанные подрядчиком, сидели в трактире и пили чай. Мазин молча жевал белый хлеб, а дедушка Осип объяснял ему его поступок.

— Стало быть, он душу тебе задел этой своей бумажкой. Ты полез туда и мог получить увечье, а то и смерть. Зачем полез? Из жалости к человеку... Он тоже ведь человек, душа одна у всех... Ну вдруг он — трешницу тебе... Как же это можно? Что трешницей покроешь? У тебя

в этом деле вся твоя душа, а у него — всего одна трещиница? Али это не обида? а?

Ванька Мазин с усилием проглотил хлеб, набитый за обеими щеками, и, взявши в руки стакан с чаем, медленно выговорил:

— Напрасно я его не двинул легонько... За волосы бы оттащить его хоть, што ли... Да жалко уж больно стало... Дурак он, вижу 'я... Ну, и — пускай его!

Он махнул рукой и стал громко схлебывать чай с блюдечка, причем каждый глоток заключал вкусным чмоканьем.

ЗАЗУБРИНА

...Круглое окно моей камеры выходило на тюремный двор. Оно было очень высоко от пола, но, приставив к стене стол и взлезая на него, я мог видеть все, что делалось на дворе. Над окном, под навесом крыши, голуби устроили себе гнездо, и, когда я, бывало, смотрел из окна вниз на двор, они ворковали над моей головой.

У меня было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с населением тюрьмы, и я знал, что самый веселый человек среди ее угрюмого населения назывался — Зазубрина.

Это коренастый и толстый малый, с красным лицом и высоким лбом, из-под которого всегда оживленно сверкали большие светлые глаза.

Шапку свою он носил на затылке, уши торчали на его бритой голове как-то смешно; тесемки ворота рубахи он никогда не завязывал, куртку не застегивал, и каждое движение его мышц давало понять в нем душу, не способную к унынию и озлоблению.

Всегда хохотавший, подвижной и шумный, он был кумиром тюрьмы; его постоянно окружала толпа серых товарищей, он смешил и развлекал ее разными курьезными выходками, скрашивая своим искренным весельем тусклую, скучную жизнь тюрьмы.

Однажды он явился из камеры на прогулку с тремя крысами, хитро запряженными в бечевки. Зазубрина бежал за ними по двору, крича, что он едет на тройке;

крысы, обезумев от его криков, метались во все стороны, а арестанты-зрители хохотали, как дети, глядя на толстого человека и его тройку.

Он, очевидно, считал себя существующим исключительно для увеселения людей и, чтоб достичь этого, не брезговал ничем. Иногда его изобретательность принимала жестокие формы; так, например, однажды он приклеил чем-то к стене волосы мальчика-арестанта, дремавшего, сидя на земле у этой стены, и потом, когда волосы присохли, внезапно разбудил его. Мальчик быстро вскочил на ноги и, схватившись тонкими и худыми руками за голову, с плачем упал на землю. Арестанты хохотали, Зазубрина был доволен. После, — я видел это из окна, — он приласкал мальчика, оставившего на стене порядочный клоч своих волос...

Кроме Зазубрины, в тюрьме был еще один фаворит — рыжий и толстый котенок, маленькое, избалованное всеми, игривое животное. Выходя на прогулку, арестанты каждый раз отыскивали его где-то и подолгу возились с ним, передавая его с рук на руки, бегая по двору за ним и позволяя ему царапать их руки и рожи, оживленные этой игрой с баловнем.

Когда на сцену являлся котенок, он отвлекал внимание от Зазубрины, последний не мог быть доволен этим предпочтением. Зазубрина был в душе артист и, как артист, непомерно талантливо самолюбив. Когда его публика увлекалась котенком, он оставался один, садился на дворе где-нибудь в уголке и оттуда следил за товарищами, забывавшими его в эти минуты. А я из своего окна следил за ним и чувствовал все то, чем полна была душа его в эти моменты. Мне казалось неизбежным, что Зазубрина убьет котенка при первом же удобном случае, и мне было жалко веселого арестанта. Стремление человека быть центром общего внимания людей — пагубно для него, ибо ничто не умерщвляет душу так быстро, как жажда нравиться людям.

Когда сидишь в тюрьме — даже жизнь грибков плесени на ее стенах кажется интересной; понятно поэтому то внимание, с которым я следил из окна за маленькой драмой внизу, за ревностью человека к котенку, и

понятно то нетерпение, с каким я ждал развязки. Она наступила.

Однажды в яркий солнечный день, когда арестанты высыпали из камер во двор, Зазубрина увидал в углу двора ведро зеленой краски, оставленное малярами, красившими крышу тюрьмы. Он подошел к нему, подумал и, окунув палец в краску, выкрасил себе усы в зеленый цвет. Эти зеленые усы на его красной роже возбудили общий хохот. Какой-то подросток захотел воспользоваться идеей Зазубрины и тоже стал было раскрашивать себе верхнюю губу, но Зазубрина, обмакнув руку в ведро, ловко смазал ему всю физиономию. Подросток фыркал и мотал головой, Зазубрина приплясывал вокруг него, а публика хохотала, поощряя своего забавника одобрительными возгласами.

Именно в этот момент на дворе явился рыжий котенок. Он шел по двору, не торопясь, грациозно поднимая лапки, поводил поднятым кверху хвостом и нимало, очевидно, не боялся попасть под ноги толпы, бесновавшейся вокруг Зазубрины и окрашенного им подростка, усиленно растиравшего по лицу ладонями липкую смесь масла и медянки.

— Братцы! — воскликнул кто-то. — Мишка пришел!

— А! плутишка-Мишка!

— Рыжий! Кисонька!

Котенка схватили, и он переходил с рук на руки, всеми ласкаемый.

— Ишь, наелся! Брюхо-то какое толстое!

— Ведь как он растет быстро!

— Царапается, чертенок!

— Пусти его! Пушай сам прыгает...

— Ну, я подставлю спину... Прыгай, Мишка!

Около Зазубрины было пусто. Он стоял один, стирая пальцами краску с усов, и поглядывал на котенка, прыгавшего по плечам и спинам арестантов. Это всех очень забавляло, смех звучал непрерывно.

— Братцы! давайте выкрасим кота! — раздался голос Зазубрины. Он так звучал, точно Зазубрина, предлагая эту забаву, вместе с тем и просил согласиться на нее.

Толпа арестантов зашумела.

— Д'ять, он с того подохнет! — заявил кто-то.

— С краски-то? Ска-азал!

— Валяй, Зазубрина! Крась живо!

Широкоплечий малый, с огненно-рыжей бородой, воскликнул одушевленно:

— И придумал же, сатана, этакую штуку!

Зазубрина уже держал котенка в руках и шел с ним к ведру с краской.

По-осмотрите, братцы, во-от...

— пел Зазубрина:

Красится рыжий кот
В зеленую краску:
Д'воспляшемте пляску!

Грянул взрыв хохота, и, поджигая бока, арестанты раздались, — мне видно было, как Зазубрина, держа котенка за хвост, окунул его в ведро и, приплясывая, пел:

Постой, не мяучь,
Отца крестного не мучь!

Хохот разгорался. Кто-то тонким голосом визжал:

— О-ой-й! Ой, Июда косопузая!

— А, ба-атюшки! — стонал другой.

Захлебывались смехом, задыхались от него; он кривил тела этих людей, сгибал их, сотрясал и грохотал в воздухе — могучий, беззаботный, все возрастая и доходя почти до истерики. Из окон женского корпуса смотрели на двор улыбавшиеся лица в белых платочках. Надзиратель, прижавшись спиной к стене, выпятил свой толстый живот и, поддерживая его руками, пускал из себя залпами густой, басовитый, душивший его хохот.

Смех разбросал людей во все стороны около ведра. Выкидывая ногами удивительные штуки, ходил вприпрыжку Зазубрина, подпевая себе:

Ай жись-то весела!
Д'кошка серая жила,
А сын ее, рыжий кот,
Нынче зéлено живет!

— Бу-удит, чорт те подери! — стонал, воскликнул огненно-рыжий бородач.

Но Зазубрина был в ударе. Вокруг него гремел беззвучный смех серых людей, и Зазубрина знал, что это он

именно заставляет всех так смеяться. В каждом его жесте, в каждой гримасе его подвижного шутовского лица ясно проглядывало это сознание, и все его тело подергивалось от наслаждения торжеством. Он держал котенка за голову и, смахивая с его шерсти избыток краски, в экстазе артиста, сознающего свою победу над толпой, не уставая, танцевал, припевая:

Родненькие братцы,
Поглядите в святцы;
Коту имя надо дать,
Д'уж и как нам его звать?

Все смеялось вокруг обуянной безумным весельем толпы арестантов, — смеялось солнце на стеклах окон с железными решетками, улыбалось синее небо над двором тюрьмы, и даже ее старые, грязные стены как будто улыбались улыбкой существ, которые должны подавлять в себе веселье, как бы оно ни бушевало в них. Все вокруг переродилось, сбросило с себя скучный серый тон, наводивший уныние, ожило, пропитанное этим очищающим смехом, который, как солнце, даже и грязь заставляет быть более приличной.

Положив зеленого котенка на тразу, островки которой, пробиваясь между камнями, пестрили тюремный двор, Зазубрина, возбужденный, задохавшийся и потный, все исполнял свой танец.

Но смех уже гас. Его было чрезмерно много, и он утомил людей. Кое-кто еще истерически взвизгивал, некоторые продолжали хохотать, но уже с паузами... Наконец явились моменты, когда все молчали, кроме напевавшего плясовую Зазубрины и котенка, который тихо и жалобно мяукал, ползая по траве. Он почти не отличался от нее цветом и, — должно быть, краска ослепила его, связала его движения, — большоголовый, склизкий, он бессмысленно ползал на дрожащих лапках, останавливался, точно приклеиваясь к траве, и все мяукал...

Погляди, народ крешеный!
Ишет места кот зеленый,
Бывший рыжий Мишка-кот,
Себе места не найдет!

— комментировал Зазубрина движения котенка.

— Ишь ты, собака, ловко как! — сказал рыжий дитина. Публика смотрела на своего артиста пресыщенными глазами.

— Мяукайть! — заявил подросток-арестант, кивая головой на котенка, и посмотрел на товарищей. Они, наблюдая за котенком, молчали.

— Что же, он на всю жизнь зеленым останется? — спросил подросток.

— А сколько ему жизни? — заговорил седой и высокий арестант, садясь на корточки около Мишки. — Вот он подсохнет на солнце, шерсть-то склеится у него, он и сдохнет...

А котенок раздирающе мяукал, вызывая реакцию в настроении арестантов.

— Сдохнет? — спросил подросток. — А ежели бы вымыть его?

Никто не отвечал ему. Маленький зеленый комочек возился у ног этих грубых людей и был жалок в своей беспомощности.

— Ф-фу! упарился я! — воскликнул Зазубрина, бросаясь на землю. На него не обратили внимания.

Подросток подвинулся к котенку и взял его в руки, но тотчас же положил на траву, заявив:

— Горячий весь...

Потом он осмотрел товарищей и жалобно проговорил:

— Вот те и Мишка! И не будет у нас Мишки-то! Пошто убили животную? Тоже...

— Ну, чай, поправится, — сказал рыжий.

Зеленое безобразное существо все ползало по траве, двадцать пар глаз следили за ним, и уже ни на одном лице не было и тени улыбки. Все были угрюмы, молчали, и все стали так же жалки, как этот котенок, точно он сообщил им свое страдание и они почувствовали его боль.

— Оправится! — усмехнулся подросток, возвышая голос. — Тоже... Был Мишка... любили его все... За што мучаете? Убить бы, что ли...

— А кто всё? — злобно крикнул рыжий арестант. — Вон он, дьявол, затейник!

— Ну, — сказал Зазубрина примиряюще, — чай, все вместе решились!

И он съжился, точно от холода.

— Все вместе! — передразнил его подросток. — Тоже! Ты один виноват... да!

— А ты, теленок, не мычи, — миролюбиво посоветовал Зазубрина.

Седой старик взял котенка на руки и, тщательно осмотрев его, посоветовал:

— Ежели его в керосине искупать, смоеся краска!

— А по-моему, взять его за хвост и через стенку кинуть, — сказал Зазубрина и, усмехаясь, добавил: — Самое простое дело!

— Что-о? — взревел рыжий. — А ежели я тебя самого этак-то? Хочешь?

— Дьявол! — вскричал подросток и, выхватив котенка из рук старика, бросился куда-то. Старик и еще несколько человек пошли за ним.

Тогда Зазубрина остался один в кругу людей, смотревших на него злыми и угрюмыми глазами. Они как бы ждали от него чего-то.

— Ведь я же не один, братцы! — жалобно сказал Зазубрина.

— Молчи! — крикнул рыжий, оглядывая двор, — не один! А кто еще?

— Да ведь все! — звонко вырвалось у потешника.

— У, собака!

Рыжий ткнул его кулаком в зубы. Артист отшатнулся назад, но там его встретил подзатыльник.

— Братцы!.. — взмолился он тоскливо.

Но его братцы видели, что двое надзирателей далеко от них, и, обступив своего фаворита тесной толпой, несколькими ударами сбили его с ног. Издали их тесную группу можно было принять за компанию, которая оживленно беседовала. Окруженный и скрытый ими, Зазубрина лежал у их ног. Раздавались изредка глухие звуки: били ногами по ребрам Зазубрины, били не торопясь, без озлобления, выжидая, когда, извиваясь ужом, человек откроет удару ноги какое-нибудь особенно удобное место.

Минуты три продолжалось это. Вдруг раздался голос надзирателя:

— Эй, вы, черти! Знай край, да не падай!

Арестанты прекратили истязание не вдруг. Один по одному расходились они от Зазубрины, и каждый, уходя, прощался с ним пинком ноги.

Когда же они разошлись, он остался лежать на земле. Лежал он грудью вниз, плечи у него дрожали — должно быть, плакал — он все кашлял и отхаркивался. Потом он осторожно, точно боясь рассыпаться, начал подниматься с земли, уперся левой рукой в нее, потом подогнул одну ногу и, завыв, как больная собака, сел на земле.

— Притворяйся! — крикнул грозно рыжий. Зазубрина метнулся на земле и быстро встал на ноги.

Потом, шатаясь, он направился к одной из стен тюрьмы. Одна рука у него была прижата к груди, другую он простирал вперед. Вот он уперся ею в стену и, став, наклонил свою голову к земле. Он кашлял...

Я видел, как на землю падали темные капли; отлично видно было, как они мелькали на сером фоне тюремной стены.

И, чтобы не запачкать своей кровью казенного здания, Зазубрина всячески старался лить ее на землю так, чтоб ни одна капля ее не попала на стену.

Над ним смеялись...

Котенок исчез с той поры. И Зазубрина уже ни с кем не делил внимания обитателей тюрьмы.

КРЫМСКИЕ ЭСКИЗЫ

I

УМИ

...По утрам, просыпаясь, я отворяю окно моей комнаты и слушаю — с горы, сквозь пышную зелень сада, ко мне несется задумчивая песня. Как бы рано ни проснулся я, она уже звучит в утреннем воздухе, напоенном сладким запахом цветущих персиков и инжира.

Свежий ветер веет с могучей вершины Ай-Петри, густая листва деревьев над моим окном тихо колышется, и шелест ее придает звукам песни много красоты, ласкающей душу. Сама по себе мелодия не красива и однообразна — она вся построена на диссонансах; там, где ожидаешь, что она замрет, — она возвышается до тоскливо-страстного крика, и так же неожиданно этот дикий крик переходит в нежную жалобу. Поет ее дрожащий, старческий голос, поет целые дни с утра и до вечера, и в какой бы час дня ни прислушался — всегда с горы, как ручей, льется эта бесконечная песня.

Жители деревни говорили мне, что вот уже седьмой год они слушают это задумчивое пение. Я спросил их:

— Кто же это поет? — и мне рассказали, что это сумасшедшая старуха, Уми, у которой шесть лет тому назад муж и двое детей поехали в море ловить рыбу и все еще не вернулись.

С той поры Уми сидит на пороге своей сакли и смотрит в море и поет, дожидаясь своих родных. Однажды я пошел посмотреть на нее. По извилистой тропинке, мимо выросших в гору саклей, через сады и виноградники я поднялся высоко на гору и там увидел полуразрушенную, скрытую в камнях и яркой зелени саклю старухи Уми. Платан, фи́га и персики росли среди громадных камней, скатившихся с вершин Яйлы, журчал ручей, образуя на пути своем ряд маленьких водопадов, на крыше сакли росла трава, по стенам еевилось какое-то ползучее растение, и дверь ее смотрела в море.

На камне у двери сидела Уми — высокая, стройная, седая, с лицом, исчерченным мелкими морщинами и коричневым от загара. Камни, нагроможденные друг на друга, сакля, полуразрушенная временем, серая вершина Ай-Петри в жарком синем небе и море, холодно блестящее на солнце, там внизу, — все это создавало вокруг старухи обстановку суровую и проникнутую важным спокойствием. Под ногами Уми, по горе, рассыпалась деревня, и сквозь зелень садов ее разноцветные крыши напоминали о рассыпанном ящике красок. Снизу доносился звон лошадиных сбруй, шорох моря о берег и иногда — голоса людей, столпившихся на базаре около кофейен. Здесь наверху было тихо, только ручей журчал, да песня Уми аккомпанировала ему, бесконечная, задумчивая песня, начатая шесть лет тому назад.

Уми пела и улыбалась навстречу мне. Ее лицо от улыбки еще более сморщилось. Глаза у нее были молодые, ясные, в них горел сосредоточенный огонь ожидания, и, окинув меня ласковым взглядом, они снова остановились на пустынной равнине моря.

Я подошел и сел рядом с ней, слушая ее песню. Песня была такая странная — в ней звучала уверенность и сменилась тоской, — в ней слышались ноты нетерпения и усталости, она обрывалась, замирала и снова возрождалась, полная радостной надежды...

Но что бы ни выражала собой эта песня — лицо старухи Уми выражало лишь одно чувство — ожидание, в котором не было сомнения, уверенное ожидание, спокойное и радостное.

Я спросил ее:

— Как зовут твоего мужа?..

Она ответила, ясно улыбаясь:

— Абдраим... Сын первый — Ахтем, и еще Юнус... Скоро приедут. Они там едут. Скоро увижу лодку. И ты увидишь!

Она так сказала это «и ты увидишь», точно была уверена, что и для меня увидеть их будет великим счастьем, великое наслаждение принесет мне с собой лодка ее мужа, когда она покажется на горизонте, где небо отделялось от моря тонкой темносиней чертой и куда она указывала мне своим коричневым пальцем мумии, высохшей на солнце юга, беспощадно жарком.

Потом она снова запела свою песнь ожидания и надежды. Я слушал, смотрел на нее и думал: «Хорошо так надеяться! Хорошо жить с сердцем, полным ожидания великой радости в будущем!»

А Уми все пела, тихонько раскачиваясь корпусом и не отрывая глаз от пустынного моря, ослепительно блестящего на солнце.

Ее сознание, все поглощенное одной идеей, не воспринимало ничего больше, и я, сидевший с нею рядом, — не существовал для нее. И, полный уважения к ее сосредоточенности, чувствуя, что я готов завидовать ее жизни, полной одной только надежды, — я молчал, не мешая ей забывать обо мне. Море в этот день было спокойно, оно, как зеркало, отражало блеск неба и мне не обещало ничего. Я долго просидел рядом с Уми и ушел не замеченный ею, унося с собой много грусти. Вслед мне неслась песня и звонкий плеск ручья, над морем реяли чайки, целое стадо дельфинов резвилось недалеко от берега — даль моря была пустынна.

Никогда и ничего не дождется старая Уми, но будет жить и умрет с надеждой в сердце...

II

ДЕВОЧКА

Среди больных, гулявших в полдень по дорожкам парка, вдыхая целебный воздух моря, я увидел однажды девочку, поразившую меня огромными глазами, полными

какой-то странной грусти, — грусти, как бы молча спрашивавшей о чем-то.

Трудно было определить ее лета — темные вопрошающие глаза ее смотрели старчески серьезно, взгляд ее был взглядом человека, много страдавшего и думавшего. Но ее худое, костлявое тельце и маленькое личико не позволяли дать ей более десяти лет.

Розовая блузка висела на ее угловатых плечах, как на вешалке, и веселый цвет материи еще резче оттенял желтую кожу иссушенных болезнью щек и шеи. Девочка была немножко горбата и ходила переваливаясь с ноги на ногу — очевидно, у нее ноги были кривы. Но невыразимая и грустная прелесть глаз больного ребенка, привлекая и сосредоточивая на себе внимание, как бы сглаживала уродство тела, исковерканного болезнью, и девочка была красива одухотворенной красотой мученицы.

Было ясно видно, что бремя болезни, исковеркавшей ее хрупкие кости, она несла со дня своего рождения и что скоро уже смерть снимет с нее это бремя. Она кашляла зловещим, сухим кашлем, и, когда проходила близко от меня, я слышал — может быть, это казалось мне — ее учащенное дыхание. Среди роскошной растительности парка, в блеске южного солнца, она возбуждала странное и болезненное чувство — было жалко ее и как-то неловко пред ней — точно я сам косвенно был виноват в том, что она так несчастна. Бывало, она медленно идет по дорожке парка и смотрит пред собой своими дивными глазами — вокруг нее все цветет и жадно дышит оживляющим воздухом весны, поют птицы, кипарисы кадят небу своим ароматом, журчат обильные водой ручьи, всюду прорезывая зеленые лужайки парка, море и небо любуются друг на друга, добродушно ворчат волны — точно сказки говорят; девочка как бы не видит богатых красок и не слышит музыки возрождения природы, она идет к старому кедру и там, в тени его могучих ветвей, садится на лавочку. Ее провожает всегда одно и то же лицо — высокий человек, щегольски одетый, с неподвижным лицом и с большим перстнем на указательном пальце правой руки, в которой он всегда держит толстую палку.

Когда девочка садится на скамью, он спрашивает ее:
— Устала?

Он говорит громко, и девочка, вздрагивая от его вопроса, кивком головы отвечает ему. Сидит она обыкновенно долго — час и более, но я никогда не видал, чтобы она разговаривала со своим провожатым. Глаза ее смотрят вперед и безмолвно спрашивают — кого? о чем? Против нее пруд: среди пруда из воды торчит некрасивый пирамидальный камень, струя воды бьет высоко кверху из его вершины и с звонким шумом падает в пруд. Там, где эта струя, переламываясь, дробится на капли и они каскадом падают вниз, — лучи солнца окрашивают их во все цвета радуги, это очень красиво и похоже на град из разноцветных драгоценных камней. Но девочка никогда не смотрела на эту игру солнца — взгляд ее направлялся всегда куда-то дальше того, что было пред ним, точно она видела что-то сквозь предметы.

Это созерцание среди жизни, кипевшей вокруг больной, производило какое-то мистическое впечатление, близкое к ужасу.

«За что она страдает? Ради чего и кому нужно было, чтобы она родилась для такого существования?»

Такие вопросы родились при виде ее, и становилось холодно от этой жестокости, никому не нужной, и тем более жестокой.

...Однажды, когда ее проводник — гувернер или отец? — ушел, оставив ее на лавочке под кедром, — я сел рядом с ней. Она посмотрела на меня и улыбнулась — печальной улыбкой, от которой у меня сжалось сердце. Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал о чем, — и молчал, смущенный ее взглядом, чувствуя к ней что-то большее, чем уважение.

Вокруг нас раздавался веселый и мощный шум жизни, над нами птицы, у наших ног муравьи — все торопилось жить, летало, пело, суеилось. Я смотрел на ребенка и думал: «Хорошо, если она не сознает глубокой оскорбительности контраста между нею и кедром, под которым она сидит, и муравьем, на которого она, не замечая его, бросила лепесток цветка!»

Она заговорила со мною первая.

— Вы тоже хвораете? — улыбаясь, сказала она слабым голосом.

— Немножко, — отвечал я.

— Вам хорошо здесь?

— Да... А вам?

— Я не люблю, когда много солнца... и шум...

— Разве вам не нравится этот шум? Он же такой красивый... Послушайте — соловьи и жаворонки, волны моря и ручьи, шелест листьев...

— Много очень... и громко. Если бы тише...

— Да, пожалуй, тише было бы лучше...

Она с убеждением кивнула головой и сказала еще:

— В Петербурге — вот где противно! А в деревне у нас тихо, тихо! Особенно ночью. Я очень любила ночью лежать и слушать. Слушаешь долго... долго, и ничего не слышно... точно и нет ничего на земле... и даже земли нет... Потом что-нибудь вдруг услышишь и вздрогнешь... Так очень хорошо...

Она закашлялась.

— Вам вредно говорить...

— Да, — просто сказала она, помолчала и тихонько, почти шопотом, сказала: — Мне все вредно...

Я встал и ушел от нее, боясь выдать пред ней скорбное волнение, охватившее меня.

С той поры, встречаясь, мы стали раскланиваться — она всегда кивала мне головкой и улыбалась, и с каждым днем в ее улыбке все менее было жизни.

Однажды, когда я пришел в парк и искал ее, я увидел безучастного господина, который шел мне навстречу, держа девочку на руках.

Когда он поравнялся со мной, я, охваченный какой-то боязнью, тихо спросил его:

— Уснула?

Он озабоченно взглянул на меня и глухо ответил:

— Умерла...

ЯРМАРКА В ГОЛТВЕ

Местечко Голтва стоит на высокой площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море. С трех сторон обрезанная капризным течением Псла, эта ровная площадь открывает широкие горизонты на север, запад и восток, и в южной части ее столпились в живописную группу белые хатки Голтвы, утопающие в зелени тополей, слив и черешен. Из-за хат вздымаются в небо пять глав деревянной церкви, простенькой и тоже белой. Золотые кресты отражают снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца свои формы, — похожи на факелы, горящие ярким пламенем.

На восток раскинулась равнина обработанных полей — вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые и темные; среди них там и тут стоят пышные, зеленые левады, белые хатки прячутся в садах, дороги выются меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах — как игрушечные. На западе площадь крутым обрывом опускается к быстро текущему Пслу; его вода блестит на солнце серебром, на берегах стоят вербы и осокори; за Пслом опять поля до горизонта и опять на них куски яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна хуторов. Хутора, в рамках из тополей и верб, — всюду, куда ни взглянешь... Густо засеяна людьми благодатная земля Украины!

Над громадным пространством, тесно заставленным возами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном и пыльном. Всюду толкуются, спорят и «грегочут» «чоло-

віки», горохом рассыпаются бойкие речи «жінок». Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько слов, сколько, в то же время, наговорят трое евреев, а трое евреев скажут в ту же минуту не более одного цыгана. Если сравнивать, то хохла следует применить к пушке, еврея — к скорострельному ружью, а цыган — это митральеза. Черные лица, черные волосы и белые хищные зубы цыган так и мелькают в толпе; их характерная, гортанная речь трещит в ушах, — за ней не успеваешь следить. Их проворные движения и жесты красивы, но заставляют опасаться, быстрые темные глаза с синеватыми белками сверкают хитростью и нахальством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки. Четверо из них осаждают какого-то «чоловіка», уже сбитого с толку и растерявшегося под градом убедительных речей, осыпающих его немудрую голову. Он стоит среди них, усердно чешет затылок и тяжело соображает. У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее хозяина — цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно следящая за ходом сделки.

— Подождите!.. — говорит хохол.

— Не хочу! — восклицает цыган. — Что мне ждять: хіба ж я с того, что подожду, грдіши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед богом: моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы, куда хочешь — хоть в Петербург! Вот на — какая моя лошады! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, шупает ее всюду и руками и глазами и все говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

— Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

— В убыток? Ну, и буду меняться в убыток! Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! Моли-тесь господу!..

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

— Ну, господи, благослови! — восклицает цыган. — Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце... Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и все!.. Кончено!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

— Два дам!

— Э! Четыре с половиной!

— Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостовераясь — цела ли?

— Четыре ровно!

— Два! — упорно стоит на своем хохол.

— Ну, — утомленно говорит цыган, — идите ж теперь к вашей жінке и расскажите ей, какой вы дурень...

— Два! — говорит хохол.

— Вот что, — молитесь богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

— Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток: не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с половиной?

— Ні, — качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую.

— Три с четвертью?

— Ні...

— Чтоб ваша жінка сказала вам сто раз «ни», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбованца? И то не даете? Так берите ж за вашу цену... Э, пропали мои гроши и конь хороший!

Лошадей передают из полы в полу, и хохол уходит, ведя на поводу выменянную крупную рыжую кобылу, равнодушно переступающую разбитыми ногами. Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза на толпу людей.

Скоро хохол возвращается назад. Он идет торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним; лицо у него сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем странном языке.

— Це діло не законне, — покачивая головой, говорит хохол, подходя к ним.

— Какое дело? — осведомляется один из цыган.

— А це... Як же вы мені...

— А что мы тобі?..

— Подождите!.. Як же...

— А як же?

— Да подождите же!

— А чего ждать? Когда кобыла родит? Да ты ж, дядько, еще и не венчался с ней!

В толпе хохот. Бедняга хохол апеллирует к ней.

— Добрые люди — ратуйте! Воны мені беззубу коняку на місто моїй зубатой наміняли!

Толпа не любит неловких так же, как и слабых. Она становится на сторону цыган...

— А де ж у тебе очи були? — спрашивает хохла сивый старик.

— Не вмій з цыганами діла! — поучительно заявляет другой.

Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у коня, но на верхние не обратил внимания, а из них три оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба. Куда он годится такой? Он есть не может, — вон у него какой вздутый живот. Человека два-три из толпы начинают защищать хохла. Возникает гвалт, и громче всех кричит, не уставая, цыган...

— Э, добрый чоловік! чого ж ты затіяв таку заворуху? Хиба ты не знаєш, як треба конів купувати? Конів купувати — як жінку вибирати, все одно, таке ж важне діло... Слухай, я тобі скажу відну казку... Як були на світі три братика, двое розумні, а третій дурень — ось як ты, або ж я...

Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его; хохлы лениво ругаются в ответ; толпа становится все гуще и теснее...

— Що ж мені застається, добрі люди? — горестно вопрошает обиженный.

— Ходи до урядника! — кричат ему.

— А и пойду! — решает он.

— Стой, чоловіче! — останавливает его цыган. — Разорить меня хочешь? Разоряй! Давай мне три карбованца — я твою лошадь назад віддам! Желаешь? Давай два! Желаешь? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно «тягать к ділу» урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

— Ну, от що, — уныло говорит он цыгану, — нехай бог тебя судит... Отдай мені моего коня, а два карбованці, що ты в придачу узяв, — твои... Триста трясців тобі у бокі — грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

— Догадливі люди! — похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

— Деготь московский, атличный, фабричный, аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий! Шесть копеек кварта, пятнадцать четверть! — возглашает черниговец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам торговец — все это черно и жирно от дегтя и все движается одной сплошной массой, распространяя вокруг себя характерный аромат.

— А, мабудь, и по пять за кварту продадите? — спрашивается у дегтярника «чоловік» в необычайно широких штанах и в соломенной шляпе на голове.

— Тпру-у! По пять не могу, хозяину на шесть копеек присягал...

— А, мабудь, можно по пять?

— Никак...

— Эге... Зовсім не можнс?

— Слушай, дядько, продам тебе по пять, не говори только никому... Не скажешь?

— Ни, не скажу...

— Ну, давай баклажку.

— На що?

— А на деготь!

— Та мені того вашого дегтя не треба, бо я вже купив... И теж по шість копійек и теж у вас... Я спросив

вас за тім, що, мабуть, ви тепер дешевше віддаєте цей деготь.

Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и едет между возов, возглашая о своем товаре... «Чоловік» провожает его взглядом и говорит другому, раскинувшемуся на возу:

— Коли б я не куповав кварта дегтя утром, була б в мене копійка лишня у кишені...

— Эге ж... Жарко!

— Як у пеклі...

— Хиба ж твой батько писав тобі з пекла, як там жарко? — спрашивают с воза.

Томящий зной все усиливается. Запах дегтя, навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Всюду у возов стоят и лежат волы, жуют, не уставая, сено и смотрят в землю большими, добрыми глазами. Кажется, что они думают: у них такие осмысленные морды и в глазах светится спокойная, привычная печаль. Мычат коровы и телята, блеют овцы, раздается звон кос, пробуемых покупателями. «Чоловіки», приехавшие продавать скот или руно, лежат под возами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей. «Чоловіки» покупающие расхаживают между возами, высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбросанные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и, подходя к волам, покупатель считает нужным вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Волы медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах.

— Скільки за цю пару просите? — спрашивает покупатель пространство...

Из-под воза раздается неторопливый ответ:

— Девяносто рублів...

— И то гроши! — говорит покупатель и отходит или спрашивает:

— А чого ж бы вам, дядько, цілу сотнягу не просить?

— Та вже мені більш того, скільки треба, — не треба грошив. А коли ви вже такий добрий, то давайте и усю сотню — я візьму...

— Спасибо вам... А скільки ж бы ділом узяли?

— Та вже так, щоб не довго балакати, візьму я з вас... дев'яносто рублів...

Начинається торг. «Чоловіки» не торопяться, — это совсем не в их характере, — и продавец вылезает из-под воза не ранее того, как убедится, что покупатель серьезный. Понемногу горячатся, и вот уже бьют друг друга по рукам, молятся по десяти раз и более, расходятся, снова сходятся. Все делается медленно, но основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой ругани великоруссов, от которой дух в груди спирает и глаза на лоб лезут, не слышно, — ее заменяет мягкий юмор, щедро украшающий речи. Не слышно и великорусского «тыканья». Сивый дід, у которого безусый хлопец торгує пару молоденьких бычков, так, например, отчитывает покупателя:

— Здається мені, що ви, хлопче, раненько маткину цицьку на люльку змінляли, бо розума у річах ваших не бачу я...

— Та як же, діду! Вони и некрасиві — ось роги якіе...

— А хіба ж ви рогами пахати будете? Так купуйте ж собі козлів: у них рога красивейші...

Сыны Израиля вертаються між возов, як вьюны. Они обо всем спрашивают, всё щупают и всё покупают. «Чоловіки» говорят им «ты» и смотрят за ними во все глаза. Паны встречаются с «чоловіками» с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как «ненужна козявка у пчелином роі».

У одного из возов корова, привязанная к нему, вдруг зашаталась и в корчах повалилась на землю. «Жінка», продававшая ее, соскочила с воза и закрутилась вокруг больного животного, как в вихре. Испуг, граничащий с ужасом, выразился на лице бедной женщины, сразу лишившейся надежды продать свою скотину.

— Ой, господи! Ой, добрі люде! Ратуйте — що воно таке? Що воно? Ой, мати пречистая!

Сразу выросла толпа и принялась горячо обсуждать несчастье. Делали предположения, отчего именно заболела

корова и как всего лучше лечить ее? Явился какой-то древний старик, весь, точно плесенью, покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя шопотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча ждала результатов моления, изредка крестясь. А корова билась на земле в судорогах, пыталась встать и снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с головы шапку, стал ею растирать хребет животного, трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи и столько же вокруг хвоста. И это не помогло. Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку животного, потом угостили его скипидаром, наконец явился коновал, угрюмый мужик, с разнообразными инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пробил ей каким-то ржавым гвоздем вену на шее. Тонкими струйками хлынула густая, черная кровь. Какой-то моралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову и ее хозяина, убитого горем, и сказал:

— От це вам, дядько, божие наказание... Здаеця мені, що хотіли вы утаити, яка вона ваша корова.. И открыв господь людям вашу думку... От як!

Хохол посмотрел на него и грустно покачал головой.

— Бог мою думку знае... — вздохнул он.

А рядом с этой сценой разыгрывается другая. «Жінка», размахивая руками, как поломанная мельница крыльями, бранит своего «чоловіка». Он сидит на земле, упиравшись в нее руками, и блаженно улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке, ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в грудь и лицо.

— Голодранец ты! Хіба ж морді твоїй не стыдно? Э-э, шибеник! Візьму кнут, та як учну стегать...

— Оле-ена! Утыхо-о-омырся-а! — тянет «чоловік», подмигивая жінке. — Слухай... Я и тобі пивкварти купив.

— О-о! — стонет жінка. — Бесстыжи очи!

Наклоняясь к мужу, она с великим трудом приподнимает его с земли и старается засунуть это расслабленное хмелем тело под воз. «Чоловік» стучается головой о колесо и предупреждает жену:

— У кармані штанів скляниця... то як би и... и вона не побилась... э?

Через минуту они оба дружелюбно распивают «пив-кварти», и добрая, хотя строгая, супруга уже обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он мог свалиться в любую сторону без риска удариться своей головой о колесо.

Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и кричит:
— Роменский табак! Панский табак! Крепчайший табак! Чорт курил — дымом жінку уморил.

— От це добрый табачино, коли з его жінки мрут! — замечает какой-то Солопий Черевик.

В центре ярмарки два длинных ряда палаток образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под одним из полотняных навесов приютился еврей с рулеткой. Его окружает плотная толпа преимущественно молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые, то возбужденные голоса:

— Красна! Черна! Чет!

В стороне бледный и встревоженный парубок уговаривает другого:

— Онисиме! Дай же мені карбованец! Бо я, мабудь, и ворочу мои гроши... О, не грать бы мені в ту бісову штуку... Вертяться, вертяться — та и вывернет твои карманці...

Остробородый ярославец торгует гребешками, ножичками, книжками, мылом...

— Паж-жалуйте-с! Заграничные товары! Столичные книги! Благовонные мыла! Небесные духи! Молодой юноша! — позвольте вам предложить книжечку для приятного чтения-с? Не угодно ли подробно рассмотреть, очень занимательная история — смерть господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого. При сем же веселая комедия — «Плоды просвещения». Очень тонко осмеяны господа столичные и русские мужики. Продаю за двадцать копеек-с! Графское сочинение — за двугривенный, дешевле никто не продаст! А вот еще не пожелаете ли — «Князь Серебряный»? Про царя Ивана Грозного... по слушаю того, как эта книжечка уже читана, — за тридцать

пять копеек отдам! Стихи поэта Пушкина-с — по пятачку и по три копейки книжка... Прекрасные стихи самого веселого содержания... «Андрей Бесстрашный, русская повесть»... цена три копейки. «Япанча, татарский наездник, взятие города Казани». О разведении кур — не желаете ли просветиться? Пять копеек цена... Машинка для усов — извольте-с! «Житие иже во святых отца нашего»... Красавица! Купите зеркальце? Душистое мыло есть... Чего-с? За Ивана Ильича гривенник? Напечатано на книжке — двадцать. За гривенник могу продать вот-с «Еврейские рассказы»... Тетка! Ты так гребень ломаешь... Почтенный! — купите бритву? «Загробная жизнь, или о том, что ждет душу нашу по смерти»... Весьма полезно знать — цена полтина! Не желаете? «Болезни домашних животных» — полюбопытствуйте! «Веретагианская кухня»... А то вот часики продаю: серебро — как золото, ход самый правильный, цена дешевая... Почтеннейший — мыльца для дочки не желаете ли приобрести?.. Последнее слово, милый: за Ивана Ильича — восемнадцать копеек...

Ни одной секунды не молчит этот сухой и поджарый ярославец, продающий сразу двум десяткам покупателей. Его звонкий голос издали влечет к нему народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают его бойкую, рассыпчатую речь. Здоровенный усатый хохол долго тарачил на ярославца большие, выпуклые глаза и вдруг расхохотался.

— Чого вы, пане, регочете? — спросил его сосед.

— Та ось він, цей москаль, нехай ему, бісову суну, гадюка у глотку влізе... Він зовсім як та молотилка роботає. Доброму чоловіку у місяць стільки не казати, як він у час каже...

А у возов с глиняной посудой из Опошни, — посудой, замечательной по рисункам, но грубоватой по исполнению, — торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в руках подходит, берет макитру — подобие великорусской корчаги — и, рассмотрев ее, спрашивает:

— Скільки грошей?

— За що? — осведомляется продавец, возлежащий под возом на брюхе.

— А за макитру...

— Тридцать пять копійек...

— О, лишечко! та то дуже дорого!

— Хиба ж?

— А звісно! Вон она не равна, та корява...

— А що ж вы, пани, с цієї макитры стрелять хочете, чи що? Зачім ей буты равной? Не ружье вона, а макитра.

— Та воно вірно... Ще и не гладка вона, та и тускла яка-то...

— Так же то зеркало гладко та блестяще, зеркало, а не макитра...

— Вона и дребезжит...

— О? То значитсья — в ней дірка е.

— То-то е дірка...

— Так вже світ устроен, пани, что у ним усе діряво... Вон и у вас, пани, хусточка з діркою.

Пани краснеет и оправляет платок на груди...

— А вы, пани, подивитесь, може и знайдете крепку макитру.

Пани смотрит макитры, а продавец, неподвижно лежа под возом, смотрит на нее...

— Будьте милостивы, скажить мені — от така хороша? — показывает пани выбранную посудину.

— Це? Зо всих наилучча...

Начинают торговаться. Это длится долго, часто прерываясь паузами, во время которых женщина выдумывает все новые и новые недостатки макитры, а торговец наслаждается покоем в тени воза. Бойчее торгуют «жінки». Они продают какое-то розовое питье, вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат на земле, и, так как ее здесь очень любят, она покупается хорошо. Звонкие голоса женщин так и режут уши.

— Рыба черноморска, керченска, вкусна та солена!

— А вот ще наилучча рыба!

Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Гонят скотину на Псел, раздается мычание, суровые

окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дідовы могилы», собирается «танцювати» в виду их. Тополя на погосте тихо качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

А тепері я веліка,
Треб-ба мені чоловіка...

— распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болгаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несутся drobный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные звуки сопилки.

Тени от возов становятся все длиннее. Жара спадает. С лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает; люди, изморенные хлопотами и зноем дня, укладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волы, пережевывая сено; фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

— Гѳспода, сим восхва-а-лим и возблагодарим творца на-а-шего, — поет слепой, аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные шепчут что-то — видно, как шевелятся их губы, иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несутся удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов: «Гей-гей!» — гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи, верхом на конях, во время похода, старыми свободолюбивыми «лыцарями», проливавшими свою бурную и горячую кровь «за віру христьянську та вольності козачи»...

— Пойте славу бога нашег-о-о... яко он творец мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем упокое-ние... — поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним — в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

ОЗОРНИК

По большой, светлой комнате редакции «N-ской газеты» нервно бегал взволнованный, гневный редактор и, тиская в руках свежий номер, отрывисто кричал и ругался. Редактор был маленький, с острым худым лицом, украшенным бородкой и золотыми очками. Топая ножками в серых брюках, он кружился подле длинного стола среди комнаты, заваленного скомканными газетами, корректурными гранками и клочьями рукописей. У стола, облокотясь на него одной рукой, а другой потирая лоб, стоял издатель — высокий, полный блондин средних лет — и, с тонкой усмешкой на белом сытом лице, следил за редактором светлыми глазами. Метранпаж, угловатый человек с желтым лицом и впалой грудью, в коричневом сюртуке, очень грязном и не по росту длинном, робко жался к стене. Он поднимал брови кверху и таращил глаза в потолок, как бы что-то вспоминая или обдумывая, а через минуту разочарованно потягивал носом и уныло опускал голову на грудь. В дверях торчала фигура редакционного рассыльного; то и дело отталкивая его, входили и снова исчезали какие-то люди с озабоченными и недовольными лицами. Голос редактора — злой, раздраженный и звонкий — иногда поднимался до взвизгиваний и заставлял издателя морщиться, а метранпажа — испуганно вздрагивать.

— Нет... это такая подлость! Я уголовное преследование возбужу против этого мерзавца... Корректор пришел?

Чорт возьми, — я спрашиваю — пришел корректор? Собрать сюда всех наборщиков! Сказали? Нет, вы только сообразите, что теперь будет! Все газеты подхватят... Ср-рам! На всю Россию... Я не спущу этому мерзавцу!

И, подняв руки с газетой к голове, редактор замер на месте, как бы желая обернуть газетой голову и тем защитить ее от ожидаемого срама

— Вы прежде найдите его, — сухо усмехаясь, посоветовал издатель.

— Н-найду-с! Н-найду! — сверкнул глазами редактор, снова пускаясь в бег, и, прижав газету к груди, начал ожесточенно теревить ее. — Найду и упеку... Да что же этот корректор?.. Ага... Вот... Ну-с, прошу пожаловать, милостивые государи! Гм!.. Смиранные командиры свинцовых армий... Проходите-с...

Один за другим в залу входили наборщики. Они уже знали, в чем дело, и каждый из них приготовился к роли обвиняемого; они единодушно изображали на своих чумазых лицах, пропитанных свинцовой пылью, полную неподвижность и какое-то деревянное спокойствие. Редактор остановился перед ними, закинув руки с газетой за спину. Он был ниже их ростом, и ему пришлось поднять голову кверху, чтобы взглянуть им в лица. Он сделал это движение слишком быстро, и очки вдруг вскочили ему на лоб; думая, что они падают, он взмахнул в воздухе рукой, ловя их, но в этот момент они снова упали на переносье.

— Чорт вас, — скрипнул он зубами.

На чумазых рожах наборщиков засияли счастливые улыбки. Кто-то подавленно засмеялся.

— Я вас призвал сюда не затем, чтобы вы зубы ваши показывали мне! — озлобленно крикнул редактор, бледнея. — Кажется, достаточно оскандалили газету... Если среди вас есть честный человек, который понимает — что такое газета, пресса... он скажет, кто это устроил... В передовой статье... — Редактор стал нервно развертывать газету.

— Да в чем дело-то? — раздался голос, в котором не слышно было ничего, кроме простого любопытства.

— А! Вы не знаете? Ну вот извольте... вот... «Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы

предметом горячего обсуждения... то есть говорения глупой ерунды и чепухи!..» Вот! вы довольны? Не угодно ли будет тому, кто добавил эти «говорения»... — и главное — говорения! как это грамотно и остроумно! — ну-с, кто же из вас автор этой «глупой ерунды и чепухи»?..

— Статья-то чья? Ваша? Ну, вы и автор всего, что в ней нагорожено, — раздался тот же спокойный голос, который и раньше спрашивал редактора.

Это было дерзостью, и все невольно предположили, что виновник события найден. В зале произошло движение; издатель подошел ближе к группе, редактор поднялся на цыпочки, желая взглянуть через головы наборщиков в лицо говорившему. Наборщики раздвинулись. Пред редактором стоял коренастый малый, в синей блузе, с рябым лицом и вьющимися кверху вихрами на левом виске. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы штанов, и, равнодушно уставив на редактора серые, злые глаза, чуть-чуть улыбался из курчавой русой бороды. Все смотрели на него — издатель сурово нахмурив брови, редактор с изумлением и гневом, метранпаж — сдержанно улыбаясь. Лица наборщиков изображали и плохо скрытое удовольствие, и испуг, и любопытство...

— Это... вы и есть? — спросил, наконец, редактор, указывая пальцем на рябого наборщика, и многообещающе сжал губы.

— Я... — ответил тот, усмехнувшись как-то особенно просто и обидно.

— А-а!.. весьма приятно! Так это вы? Зачем же вы вставили, позвольте узнать...

— Да я разве сказал, что вставил? — И наборщик посмотрел на своих товарищей.

— Это он, наверное, Митрий Павлович, — обратился к редактору метранпаж.

— Ну я, так я, — не без некоторого добродушия согласился наборщик, махнув рукой.

Опять все замолчали. Никто не ожидал такого скорого и спокойного признания. Гнев редактора сменился на минуту изумлением. Пространство вокруг рябого стало шире, метранпаж быстро отошел к столу, наборщики расступились...

— Ты ведь это нарочно, с намерением? — спросил издатель, оглядывая рябого круглыми глазами.

— Извольте отвечать! — крикнул редактор, взмахивая смятой газетой.

— Не кричите... не боюсь! Многие на меня кричали, да без толку всё!.. — И в глазах наборщика сверкнул ухарский, наглый огонек. — Точно... — продолжал он, переступив с ноги на ногу и обращаясь уже к издателю, — я это с намерением подставил слова...

— Слышите? — обратился редактор к публике.

— Да что же ты такое в самом деле, чортова ты кукла! — взбесился вдруг издатель. — Понимаешь ли ты, сколько ты вреда мне сделал?

— Вам-то ничего... еще, чай, розничную продажу увеличил. А вот господину редактору — действительно... не особенно по губе этакая штучка.

Редактор точно окаменел от негодования; он стоял перед этим спокойным и злым человеком и молча сверкал глазами, не находя слов для выражения волновавших его чувств.

— А ведь тебе за это, брат, худо будет! — злорадно протянул издатель и вдруг, смягчившись, ударил себя рукой по колену.

В сущности, он был доволен и происшествием и дерзким ответом рабочего: редактор относился к нему всегда несколько высокомерно, не стараясь скрывать сознания своего умственного превосходства, и вот теперь он, этот самолюбивый и самоуверенный человек, повержен во прах и — кем?

— За эту твою дерзость мы тебе, душа, воздадим!.. — добавил он.

— Да уж, наверно, не спустите, — согласился наборщик.

Этот тон и эти слова опять произвели впечатление. Наборщики переглянулись друг с другом, метранпаж поднял брови и как-то съежился, редактор отступил к столу и, опершись на него руками, более растерянный и обиженный, чем гневный, пристально смотрел на своего врага.

— Зовут тебя как? — спросил издатель, вынув из кармана записную книжку.

— Николка Гвоздев! — быстро объявил метранпаж.

— А ты, Иуда, молчи, когда тебя не спрашивают, — сурово взглянув на метранпажа, сказал наборщик. — У меня свой язык есть, я сам за себя отвечаю... Зовут меня Николай Семенович Гвоздев... Жительство...

— Найдём! — пообещал издатель. — А теперь убирайся к чорту! Все идите!..

Громко топая, наборщики пошли вон. Гвоздев шел сзади всех.

— Постой... позволь... — сказал редактор тихо, но ясно, и протянул руку вслед Гвоздеву.

Гвоздев обернулся к нему, ленивым движением прислонился к косяку двери и, покручивая бородку, уставился в лицо редактора дерзкими глазами.

— Я тебя вот о чем спрошу, — начал редактор. Он хотел быть спокойным, но это не удавалось ему: голос его срывался, переходил в крик. — Ты сознался... что, делая этот скандал... имел в виду меня. Да? Значит, это что же? — месть мне? Я тебя спрашиваю — за что? Ты понимаешь это? Можешь ты мне ответить?

Гвоздев передернул плечами, скривил губы и, опустив голову, помолчал с минуту. Издатель нетерпеливо притоптывал ногой, метранпаж вытянул вперед шею, а редактор кусал губы и нервно хрустел пальцами. Все ждали.

— Я, пожалуй, скажу... Только, как я необразованный человек, то, пожалуй, непонятно будет... Ну, уж извините тогда!.. Вот, стало быть, в чем дело. Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... Не умею я сказать вам все это подробно — грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что речи ведете каждый день... Ну, вот я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочего толкуете... а я все читаю... И противно мне читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова бесстыжие, Митрий Павлыч!.. потому что вы пишете — не грабь, а в типографии-то у вас что? Кирьяков на прошлой неделе работал три с половиной дня, выработал три восемь гривен и захворал. Жена приходит в контору за деньгами, а управляющий ей говорит, что не ей дать, а с нее нужно рубль двадцать получить — штраф. Вот те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И как управляющий лается и мальчишек дует за всякую

малость?.. Вам этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Пишете, что людям плохо жить на свете, — и потому вы, я вам скажу, все это пишете, что ничего больше делать не умеете. Вот и все... И потому под носом у себя вы никаких зверств не видите, а про турецкие зверства очень хорошо рассказываете. Разве это не пустяки — статьи-то ваши? Давно уж мне хотелось, стыда вашего ради, истинные слова в ваши статьи вклеить. И не так бы еще надо.

Гвоздев гордо выпятил грудь, высоко поднял голову и, не скрывая своего торжества, в упор смотрел на редактора. А редактор плотно прижался к столу, вцепившись в него руками, откинулся назад и то бледнел, то краснел и все улыбался презрительно, смущенно и болезненно. Широко открытые глаза его часто моргали.

— Социалист? — с боязнью и интересом спросил издатель, вполголоса обращаясь к редактору. Тот улыбнулся, но ничего не ответил, склонив голову.

Метранпаж ушел к окну, где стояла кадка с филодендроном, бросавшая на пол комнаты теневой узор, стал за кадку и смотрел оттуда на всех маленькими черными и подвижными, как у мыши, глазами. В них было какое-то нетерпеливое ожидание и порой вспыхивал радостный огонек. Издатель смотрел на редактора. Тот почувствовал это, поднял голову и с беспокойным блеском в глазах, с нервной дрожью в лице крикнул вслед уходящему Гвоздеву:

— Позвольте... постойте! Вы оскорбили меня. Но вы не вправе... я надеюсь, вы это чувствуете? Я благодарен вам за... в-вашу... прямоту, с которой вы высказались, но, повторяю...

Он хотел говорить с иронией, но вместо иронии в словах его звучало что-то бледное и фальшивое, и он сделал паузу, желая настроить себя к отпору, достойному и его и этого судьи, о праве которого судить его, редактора, он никогда еще не думал.

— Известно! — качнул головой Гвоздев. — Тот только и прав, кто много сказать может.

И, стоя в дверях, он оглянулся вокруг себя с таким выражением на лице, которое ясно показывало его нетерпеливое желание уйти отсюда.

— Нет, позвольте! — повышая тон и поднимая руку кверху, заявил редактор. — Вы выдвинули против меня обвинение, а раньше этого самовольно наказали меня за мою якобы вину пред вами... Я имею право защищаться, и я прошу вас слушать...

— Да вам какое до меня дело? Вы перед издателем защищайтесь, коли нужно. А со мной-то о чем говорить? Обидел я вас, так к мировому тащите. А то — защищаться! — Он круто поворотился и, заложив руки за спину, пошел.

На ногах у него были тяжелые сапоги с большими каблуками, он громко стучал ими, и шаги его гулко раздавались в большой, сараеобразной комнатке редакции.

— Вот так история с географией! — воскликнул издатель, когда Гвоздев захлопнул за собою дверь.

— Василий Иванович, я тут ни при чем, в этом деле... — заговорил метранпаж, виновато разводя руками, и осторожными коротенькими шагами подошел к издателю. — Я верстаю набор и никак не могу знать, что мне дежурный сунет. Я-с целую ночь на ногах... нахожусь здесь, а дома у меня жена хворает, дети без присмотра... трое... Я, можно сказать, кровью истекаю за тридцать рублей в месяц-то... А Федору Павловичу, когда они нанимали Гвоздева, я говорил: «Федор Павлович, говорю, я Николку с мальчишек знаю и должен вам сказать, что Николка озорник и вор, без совести человек. Его уже у мирового судили, говорю, сидел в тюрьме даже...»

— За что сидел? — задумчиво спросил редактор, не глядя на рассказчика.

— За голубей-с... то есть не за голубей, а за взломы замков. В семи голубятнях сломал замки в одну ночь-с... и все охоты выпустил на волю — всю птицу разогнал-с! И у меня тоже пара смурых, один турман с игрой да скобарь так и пропали. Очень ценные птицы.

— Украл? — любопытно осведомился издатель.

— Нет, этим не балуется. Судился и за воровство, да оправдали. Так он — озорник... Распустил птицу и рад, надсмехается над нами, охотниками... Били уж его не однажды. Раз после битья в больнице даже лежал... А вышел — у кумы моей в печи чертей развел.

— Чертей? — изумился издатель.

— Чушь какая! — пожал плечами редактор, наморщив лоб, и, снова кусая губы, задумался.

— Это совершенная истина, только сказал не так, — сконфузился метранпаж. — Он, видите, печник, Николка-то. Он на все руки: по литографской части смекает, гравер, водопроводчиком был тоже... Так вот кума — у нее свой дом, она из духовного звания — и наняла его печь переложить. Ну, он переложил, все как следует; но только, подлый человек, в стену-то печи вмазал бутылку со ртутью и с иголками... и еще чего-то кладется там. От этого происходит звук — особый этакий, знаете, как бы стон и вздох, и тогда говорят — черти в доме завелись. Печь-то вытопят, ртуть в бутылке нагреется и пойдет там бродить. А иголки по стеклу скребут, точно зубом кто скрипит. Кроме иголок, еще разные железины в ртуть кладут, и от них тоже разные звуки — иголка по-своему, гвоздь по-своему, и выходит этакая чертовская музыка... Кума даже продать хотела дом, да никто не покупает, — кому понравится с чертями-с? Три молебна с водосвятием служила — не помогает. Ревет женщина, дочь у нее невеста, кур голов до ста, две коровы, хорошее хозяйство... и вдруг черти! Билась, билась, смотреть жалко. Николка же ее и спас, можно сказать. Давай, говорит, пятьдесят целковых — выгоню чертей! Она ему сначала четвертную дала, а потом — как он вытащил бутылку да дознались, в чем дело, — ну и прощай! В суд хотела подать, но ей отсоветовали... И еще за ним многие художества водятся.

— За одно из этих милых «художеств» с завтрашнего дня я буду расплачиваться. Я?! — нервно воскликнул редактор и, сорвавшись с места, снова начал метаться по комнате. — О, боже мой! Как глупо, пошло все это...

— Ну-у, очень уж вы! — успокоительно сказал издатель. — Сделайте поправку, объясните, почему это вышло... Малый-то больно интересный, прах его возьми. Чертей в печку насажал, ха-ха! Нет, ей-богу! Проучить мы его проучим, но мерзавец с умом и возбуждает к себе что-то этакое... знаете!.. — Издатель щелкнул над головой пальцами и кинул взгляд в потолок.

— Вас это занимает, да? — резко крикнул редактор.

— Ну, так что? Разве не смешно? С умом, бестия! — отплатил издатель редактору за окрик. — По какой статье вы с ним считаться-то намерены?

Редактор быстро подбежал вплоть к издателю.

— Считаться я с ним не буду-с! Не могу-с, Василий Иванович, потому что этот фабрикант чертей прав! У вас в типографии чорт знает что творится, вы слышали? А я играю дурака, по вашей милости. Он тысячу раз прав!

— И в том добавлении, которое внес в вашу статью? — едко спросил издатель и иронически поджал губы.

— Ну так что ж? И в этом, да! Вы поймите, мы ведь либеральная газета...

— Печатаем две тысячи экземпляров, считая бесплатные и обменные, — сухо вставил издатель. — А наш конурент в девяти тысячах расходится!

— Н-ну-с!

— Больше ничего.

Редактор безнадежно махнул рукой и снова с потускневшими глазами стал ходить взад и вперед по зале.

— Прелестное положение! — бормотал он, пожимая плечами. — Какая-то универсальная травля! Все собаки на одну, а эта в наморднике. И этот несчастный рабочий! О, боже мой!

— Да плюньге, батенька, не волнуйтесь! — посоветовал вдруг Василий Иванович, добродушно усмехаясь, как бы утомившись волнениями и пререканиями. — Пришло и пройдет, и честь свою вновь восстановите. Дело гораздо больше смешное, чем драматическое.

Он миролюбиво протянул редактору свою пухлую руку и пошел было из залы в контору.

Вдруг дверь в контору растворилась и на пороге явился Гвоздев. Он был в картузе и не без некоторой любезности улыбался.

— Я пришел сказать вам, господин редактор, что ежели вы хотите со мной судиться, то скажите — потому я отсюда уеду, а по этапу возвращаться неохота.

— Убирайся вон! — чуть не рыдая от бешенства, взвыл редактор и бросился в глубину комнаты.

— Значит, квит, — сказал Гвоздев, поправил на голове картуз и, спокойно обернувшись на пороге, исчез.

— О-о, бестия! — с восхищением выдохнул из себя Василий Иванович вслед Гвоздеву и, блаженно улыбаясь, не спеша стал надевать пальто.

Дня через два после описанного Гвоздев, в синей блузе, подпоясанной ремнем, в брюках навыпуск, в ярко начищенных ботинках, в белом картузе, надетом набекрень и на затылок, и с суковатой палкою в руке, степенно гулял по «Горе».

«Гора» представляла собою пологий спуск к реке. В давние времена на спуске этом стояла густая роща. Теперь почти вся она была вырублена, и лишь кое-где могучие, корявые дубы и вязы, поломанные грозами, вздымали к небу свои старые дуплистые стволы, широко раскинув узловатые сучья. У корней их вилась молодая поросль, кустарники льнули к стволам, и всюду среди зелени гуляющая публика протоптала извилистые тропы, сползавшие вниз к реке, облитой сиянием солнца. Горизонтально пересекая «Гору», шла широкая аллея — заброшенный почтовый тракт — и по ней-то, главным образом, гуляла публика, расхаживая в два ряда, один навстречу другому.

Гвоздеву всегда очень нравилось бродить взад и вперед по этой аллее вместе с публикой и чувствовать себя таким же, как и все, так же свободно вдыхать воздух, напитанный запахом листвы, так же свободно и лениво двигаться, быть частью чего-то большого и чувствовать себя равным со всеми.

В этот день он был чуть-чуть навеселе, его решительное рябое лицо смотрело добродушно и общительно. С левого виска его вились кверху русые вихры. Красиво оттеняя ухо, они лежали на околыше фуражки, придавая Гвоздеву ухарский вид молодчины мастерового, который доволен собой, хоть сейчас готов спеть, поплясать, подраться и во всякую минуту не прочь выпить. Этими характерными вихрами сама природа точно желала рекомендовать всем Николая Гвоздева как малого с огоньком и знающего себе цену. Одобрительно поглядывая вокруг себя прищуренными серыми глазами, Гвоздев миролюбиво толкал публику, без претензии сносил ее толчки,

наступая дамам на шлейфы, вежливо извинялся, глотал вместе со всеми густую пыль и чувствовал себя прекрасно.

Сквозь листву деревьев видно было, как за рекой в лугах садилось солнце. Небо было там пурпурное, теплое и ласковое, манившее туда, где оно касалось краем темной зелени лугов. Под ноги гуляющим ложились узорные тени, и толпа людей наступала на них, не замечая их красоты. Франтовато засунув в левый угол губ папиросу и лениво выпуская из правого струйки дыма, Гвоздев присматривался к публике, ощущая в себе настоящее желание потолковать с кем-нибудь за парой пива в ресторане, внизу «Горы». Знакомых никого не встречалось, а свести новое знакомство не было подходящего случая; публика, несмотря на праздник и ясный весенний день, была почему-то хмурая и не отвечала на его общительное настроение, хотя он уже не раз заглядывал в лица людей, шедших рядом с ним, с добродушной улыбкой и с выражением полной готовности вступить в беседу. Вдруг перед его глазами, в массе затылков, мелькнул хорошо знакомый гладко остриженный и плоский, точно стесанный, затылок редактора. Гвоздев улыбнулся, вспомнив, как он отделал этого человека, и с удовольствием стал смотреть на серую низенькую шляпу Истомина. Иногда шляпа редактора скрывалась за другими шляпами, это беспокоило Гвоздева; он приподнимался на носки, высматривая ее, находил и снова улыбался.

Так, следя за редактором, он шел и вспоминал о том времени, когда он, Гвоздев, был Николкой слесаревым, а редактор — Митькой дяконичиным. У них был еще товарищ Мишка, прозванный ими Сахарницей. Был еще Васька Жуков, сын чиновника из крайнего в улице дома. Хороший дом был — старый, поросший мхом, облепленный пристройками. У Васькина отца была прекрасная голубиная охота. На дворе дома ловко было играть в прятки, Васькин отец скупой был и берег на дворе всякий хлам — какие-то изломанные кареты, бочки, ящики. Теперь Васька врачом в уезде, а на месте старого дома стоят железнодорожные пакгаузы. Все они обитали тогда на окраине города, в Задней Мокрой улице, жили дружно между собой и в постоянной вражде с мальчишками дру-

гих улиц. Одуштошали сады, огороды, играли в бабки, в шар-мазло и другие игры, учились в приходском училище... С той поры прошло лет двадцать...

Было время и — прошло, были мальчишки — такие же озорные и чумазые, как и Николка слесарев, — и стали теперь важными людьми. А Николка слесарев застрял в Задней Мокрой. Они, кончив приходское училище, в гимназию попали, — он не попал... А что, если заговорить с редактором? Поздороваться и начать разговор? Начать с того, что извиниться за скандал, и потом поговорить — так, вообще, про жизнь...

Шляпа редактора все мелькала перед глазами Гвоздева, как бы подманивая его к себе, и Гвоздев решился. Как раз в это время редактор шел один в свободном пространстве, образовавшемся среди публики. Он шагал тонкими ногами в светлых брюках, голова то и дело поворачивалась из стороны в сторону, близорукие глаза щурились, рассматривая публику. Гвоздев поравнялся с ним и сбоку любезно заглядывал ему в лицо, ожидая удобного момента, чтобы поздороваться, и в то же время ощущая острое желание знать, как отнесется к нему редактор.

— Здравствуйте, Митрий Павлович!

Редактор обернулся к нему, одной рукой приподнял шляпу, другой поправил очки на носу, разглядел Гвоздева и нахмурился.

Это не обескуражило Николая Гвоздева, — напротив, он приятнейшим манером нагнулся к редактору и, обдав его запахом водки, спросил:

— Прогуливаетесь?

Редактор на секунду остановился; губы и ноздри его брезгливо дрогнули, и он сухо кинул Гвоздеву:

— Что вам угодно?

— Мне? Ничего! Так я это... хорошо сегодня! И очень желательно мне поговорить с вами насчет происшествия.

— Я не желаю с вами ни о чем говорить! — заявил редактор, ускоряя шаг.

Гвоздев сделал то же.

— Не желаете? Понимаю... Вы в вашем праве, я это очень хорошо понимаю... Как я вас сконфузил, то, конечно, вы должны иметь против меня зуб...

— Вы, просто... вы пьяны... — снова остановился редактор. — И, если вы не оставите меня в покое, я полицию приглашу.

Гвоздев ласково засмеялся:

— Ну, зачем же?

Редактор искоса посмотрел на него тоскливым взглядом человека, попавшего в неприятное положение и не знающего, как из него выйти. Публика уже смотрела на них с любопытством. Истомин бессильно оглядывался вокруг.

Гвоздев заметил это.

— Давайте свернем, — сказал он и, не дожидаясь согласия, ловко оттер Истомина плечом в сторону с широкой аллеи на узкую тропу, спускавшуюся между кустарников вниз по горе.

Редактор не выразил протеста против этого маневра, — может быть, потому, что не успел, а может — потому, что вне публики, один на один, надеялся скорее и проще избавиться от своего собеседника. Он тихонько, осторожно упираясь палкой в землю, шел вниз по тропинке, а Гвоздев следовал за ним и дышал ему на шляпу.

— Вот тут близко есть одно дерево упавшее, мы и сядем.. Вы, Митрий Павлович, не сердитесь на меня за этот мой поступок. Извините! Я ведь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбирает, что и вином не залъешь... Ну, в такую вот пору и созорничаешь над кем-нибудь: прохожему в рыло дашь или что другое... Я не каюсь — что сделано, то сделано, но, может, я даже очень хорошо понимаю, что сделал-то не совсем в меру... Перехватил.

Тронуло ли редактора это искреннее объяснение и личность Гвоздева возбудила в нем любопытство, или он понял, что ему не отделаться от этого человека, но он спросил Гвоздева:

— О чем же вы хотите говорить?

— А так... обо всем! Скорбит душа у меня, потому что обиду я чувствую себе... Вот тут сядемте.

— Мне некогда...

— Знаю я... газета! Уест она вам половину жизни, все здоровье на нее просадите. Я ведь понимаю! Он, изда-

тель-то, что? У него в газете деньги, а у вас — кровь! Глаза-то вы уж прописали себе... Садитесь!

Пред ними вдоль тропы лежал большой пенёк — полу-сгнивший остаток когда-то могучего дуба. Ветви орешника наклонились над деревом, образуя зелёный навес; сквозь ветви просвечивало небо, в красках заката; пряный запах свежей листвы наполнял воздух. Гвоздев сел и, обращаясь к редактору, который все ещё стоял, нерешительно оглядываясь, заговорил:

— Выпил я сегодня немного... Скучно мне жить, Митрий Павлович! От своих товарищей рабочих отстал я как-то, совсем у меня другое направление мысли. Увидел я сегодня вас и вспомнил, что ведь и вы товарищем мне были...

Он засмеялся, потому что редактор смотрел на него с такой быстрой сменой выражений на лице, которая делала его действительно смешным.

— Товарищем? Когда?

— А давно уж, Митрий Павлович... Тогда мы ещё в Задней Мокрой существовали... помните? Через двор друг от друга. А против нас Мишка Сахарница — по нынешним временам Михаил Ефимович Хрулев, следовательно судебный — изволили иметь место жительства при своем строгом батюшке... Помните Ефимыча? Часто он нас с вами за вихры тряс... Да вы садьте!

Редактор утвердительно кивнул головой и сел рядом с Гвоздевым. Он смотрел на него напряженным взглядом человека, вспоминающего нечто прочно забытое, и тер себе лоб.

А Гвоздев увлекался воспоминаниями.

— Житьё было у нас тогда! И почему только человек на всю жизнь ребенком не остается? Растет... зачем? Потом вырастает в землю. Несет всю свою жизнь несчастья разные... озлится, озвереет... чепуха! Живет, живет и — в конце всей жизни одни пустыки... А тогда мы, бывало, жили без всякой темной мысли, весело, — птички — и всё тут! Порхали через заборы по чужие плоды трудов... Помните, я вам однажды в огороде у Петровны на воровском деле в нос огурцом закатил? Вы крик подняли, а я — драла... Вы с мамашей к моему отцу приходили

с жалобой, и отец меня выпорол, как следует быть... А Мишка, Михаил Ефимович...

Редактор слушал и, помимо воли, улыбался. Ему хотелось бы сохранить серьезность и достоинство пред этим человеком. Но в рассказах о ясных днях детства было что-то трогательное, и в тоне Гвоздева пока еще не особенно резко звучали ноты, угрожавшие самолюбию Дмитрия Павловича. Да и кругом было хорошо. Где-то вверху шаркали по песку дорожки ноги гуляющей публики, чуть доносились голоса, иногда звучал смех; но вздыхал ветер — и все эти слабые звуки тонули в меланхоличном шорохе листвы. А когда шорох замирал, были моменты полной тишины, точно все кругом чутко прислушивалось к словам Гвоздева, сбивчиво рассказывавшего повесть о юности...

— Помните Варьку, маляра Колокольцова дочь? Теперь она замужем за типографщиком Шапошниковым. Такая барыня — мимо идти страшно... Тогда она девчурочка хвора была... Помните, пропала она однажды, и все мы — мальчишки со всей улицы — по полю да по оврагам искали ее! В лагерях нашли и вели ее полем домой... Шуму было — страсть! Колокольцов пряниками угостил, а Варьку, увидавши мать свою, сказала: «А я была у барыни офицеровой, и она меня в дочки к себе зовет!» Хе-хе!.. В дочки!.. Славная девчурка была...

С реки доносились какие-то звуки, словно тихо охала чья-то могучая, тоскующая грудь. Пароход шел, в воздухе плыл шум воды, разбиваемой его колесами. Небо было розовое, а вокруг Гвоздева с редактором сгушался сумрак. Медленно наступала весенняя ночь. Тишина становилась полной, глубокой, и, как бы подчиняясь ей, Гвоздев понизил голос... Редактор молча слушал его, вызывая в своей памяти смутные картины давно минувшего. Все это было...

— Так вот, Митрий Павлович, значит, оно и выходит, что птица я одного с вами гнезда... А полеты у нас разные... И, как вспомню я, что ведь вся разница между мной и моими товарищами бывшими — только в том, что не сидел я в гимназии за книгами, — горько мне и тошно бывает... Разве в этом человек? В душе он, в чувствах к ближнему своему, как сказано... Ну вот — вы

мой ближний, а какую я цену имею для вас? Никакой — верно?

Редактор, увлеченный своими мыслями, не расслышал, должно быть, вопроса своего собеседника.

— Верно! — сказал он тоном искренним и рассеянным.

Но Гвоздев захохотал, и он спохватился:

— Позвольте? Что, собственно, верно?

— Верно, что я для вас — пустое место... Есть я или нет меня, вам все равно — наплевать. Зачем вам душа моя? Живу я один на свете и всем людям, меня знающим, очень надоед. Потому — у меня характер злой и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако у меня чувства тоже есть и ум есть... Я чувствую обиду в моем положении. Чем я хуже вас? Только моим занятием...

— Д-да... это печально! — сказал редактор, наморщив лоб, сделал паузу и продолжал каким-то успокоивающим тоном: — Но, видите ли, тут нужно применить другую точку зрения...

— Митрий Павлович! Зачем точка зрения? Не с точки зрения человек человеку внимание должен оказывать, а по движению сердца. Что такое точка зрения? Я говорю про несправедливость жизни. Разве можно меня с какой-нибудь точки забраковать? А я забракован в жизни — нет мне в ней хода... Почему-с? Потому, что не учен? Так ведь ежели бы вы, ученые, не с точек зрения рассуждали, а как-нибудь иначе, — должны вы меня не забыть и извлечь вверх к вам снизу, где я гнию в невежестве и озлоблении моих чувств? Или — с точки зрения — не должны?

Гвоздев прищурил глаз и, торжествуя, посмотрел в лицо своего собеседника. Он чувствовал себя в ударе и выпускал из себя всю свою философию, придуманную в долгие годы своей трудовой, безалаберной и бесплодной жизни. Редактор был смущен натиском собеседника и старался определить — что это за человек и что ему возразить на его речь? А Гвоздев, в упоении самим собой, продолжал:

— Вы люди умные, сто ответов мне дадите, и все будет — нет, не должны! А я говорю — должны! Почему? Потому что я и вы — люди из одной улицы и одного происхождения... Вы не настоящие господа жизни, не

дворяне... С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: «пшел к чорту!» — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы — свой брат, и я могу требовать с вас указания пути моей жизни. Я мещанин, и Хрулев тоже, и вы — дьяконов сын...

— Но, позвольте... — просительно сказал редактор, — разве я отрицаю ваше право?

Но Гвоздеву совсем неинтересно было знать, что отрицает и что признает редактор; ему нужно было высказаться, и он чувствовал себя в этот момент способным сказать все, что когда-либо волновало его.

— Нет, вы позвольте! — уже каким-то таинственным шопотом говорил он, близко склоняясь к редактору и блестя возбужденными глазами. — Как вы думаете, легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я встарику носы расквашивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватерклозет устанавливал, сорок копеек на чай получить? Ведь он человек одного со мною ранга... и было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчас, как тогда были...

Редактор задумчиво смотрел на него сбоку и молча соображал — что же сказать этому парню? Нужно сказать что-нибудь хорошее, правдивое и искреннее. Но у Дмитрия Павловича Истомина ничего нужного в данный момент не нашлось ни в голове, ни в сердце. Давно уже всякие идейные и выпренные разговоры по «вопросам» вызывали в нем чувство скуки и утомления. Он вышел сегодня отдохнуть, нарочно избегал встреч с знакомыми — и вот этот человек со своими речами. Конечно, в его речах, как и во всем, что говорят люди, есть некоторая доля правды. Они — любопытны и могли бы послужить очень интересной темой для фельетона...

— Все, что вы сказали, — не ново, знаете, — начал он. — О несправедливости отношений человека к человеку давно идет речь... Но, пожалуй, эти ваши речи являются новостью — в том смысле, что раньше их говорили люди иного сорта... Вы несколько односторонне и неверно формулируете ваши думы... но...

— Опять ваша точка зрения! — усмехнулся Гвоздев. — Эхма, господа, господа! Умом-то вы награждены, а сердце-то, видно, померло... Вы мне скажите что-нибудь такое, чтобы сразу по недугу мне пришлось... вот!

Он, опустив голову, ждал ответа.

Истомин снова посмотрел на него, наморщив лоб, ощущая сильное желание уйти. Ему казалось, что Гвоздев пьянеет и оттого так раскис после своих возбужденных речей. Он смотрел на белую фуражку, съехавшую на затылок, на рябую щеку и задорный вихор Гвоздева, смерил взглядом всю его сильную жилистую фигуру и подумал про него, что это очень типичный рабочий, и если б...

— Так что же? — спросил Гвоздев.

— Да что же я могу вам сказать? Откровенно говоря, я не совсем ясно представляю себе, что именно хотели бы вы...

— То-то вот и есть!.. Ничего вы мне не можете ответить, — усмехнулся Гвоздев.

Редактор облегченно вздохнул, справедливо предполагая, что разговор окончен и Гвоздев уже не будет больше к нему приставать с вопросами... И вдруг он подумал:

«А что, как он побьет меня? Он — такой злой».

Ему вспомнилось выражение лица Гвоздева там, в редакции, во время этой глупой сцены. И он подозрительно покосился на него.

Было уже темно. Тишина прерывалась звуками песни, долетавшей издалека с реки. Пели хором, теноровые голоса слышались совсем ясно. Большие жуки, металлически звеня, носились в воздухе. Сквозь листву деревьев видны были звезды... Иногда та или другая ветка над головами отчего-то вздрагивала и слышалось тихое трепетание листьев.

— А ведь роса будет, — сказал редактор осторожно. Гвоздев вздрогнул и повернулся к нему.

— Что вы сказали?

— Роса будет, говорю, вредно это...

— А-а!

Помолчали. На реке раздался крик:

— Эй-й! На-а барже-е!..

— Я думаю идти. До свидания!..

— А не распить ли нам пару пива? — предложил вдруг Гвоздев и, усмехаясь, добавил: — Окажите честь!

— Нет, извините, я в это время не могу. И потом пора мне, знаете...

Гвоздев встал с дерева и угрюмо посмотрел на редактора.

Тот протягивал ему руку, тоже встав.

— Не желаете, значит, пить пиво со мной?! Ну и чорт с вами! — отрубил Гвоздев, нахлобучивая свою фуражку резким жестом. — Аристократия! На грош пара! Я и один напьюсь...

Редактор храбро повернулся спиной к своему собеседнику и пошел вверх по тропинке, странно втянув голову в плечи, точно боялся задеть ею за что-нибудь. Гвоздев крупными шагами пошел вниз по горе.

С реки доносился надрывавшийся голос:

— На барже-е! Черти-и! Да-а-вай лодку-у-у!

И среди деревьев разносилось тихое эхо:

— О-у-у-у!..

СУПРУГИ ОРЛОВЫ

...Почти каждую субботу перед всенощной из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточенные женские крики:

— Стой! Стой, пропойца, дьявол! — низким контральто кричала женщина.

— Пусти! — отвечал ей тенор мужчины.

— Не пущу я тебя, изверга!

— Вр-решь! пустишь!

— Убей, не пущу!

— Ты? Вр-решь, еретица!

— Батюшки! Убил, — ба-атюшки!

— Пу-устишь!

При первых же криках Сенька Чижик, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков на дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазенками, черными, как у мыши, во все горло орал:

— Сапожники Орловы стражаются! Ух ты!

Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую, озорную голову с бойкой рожицей, выпачканной охрой и мумией, жадными глазами смотрел вниз, в темную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне ее, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.

— Убьешь ведь, — задыхаясь, предупреждала женщина.

— Н-ничего! — уверенно и с сосредоточенной злобой успокаивал ее мужчина.

Раздавались тяжелые, глухие удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгивания, напряженное кряхтенье человека, ворожающего большую тяжесть.

— И-эх ты! Ка-ак он ее колодкой-то саданул! — иллюстрировал Чижик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика — портные, судебный рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений — то и дело спрашивали Сеньку, в нетерпении дергая его за ноги и за штанишки, пропитанные красками:

— Ну?

— Сидит на ней верхом и мордой ее в пол тычет, — докладывал Сенька, сладострастно поеживаясь от переживаемых им впечатлений...

Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя; и хотя она уже давно знала приемы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но все-таки изумлялась:

— Ах, дьявол! Разбил?

— Весь нос в кровь — так и тикёт! — захлебываясь, сообщал Сенька.

— Ах ты, господи, боже мой! — восклицали женщины. — Ах, изверг-мучитель!

Мужчины рассуждали более объективно.

— Беспременно он ее должен до смерти забить, — говорили они.

А гармонист тоном провидца заявлял:

— Помяните мое слово — ножом распотрошит! Устанет возиться вот таким манером, да сразу и кончит всю музыку!

— Кончил! — вскакивая с земли, вполголоса сообщал Сенька и мигом отлетал от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании сра-

жения, он терял в ее глазах всякий интерес и, вместе с этим, был не безопасен.

Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубаше, с растрепанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбужденном лице, он исподлобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шел к старым розвальням, лежавшим кверху полозьями у стены дровяного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой все население дома Петунникова. Затем он садился на полозья розвален, отирал рукавом рубашки пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными полосами красок, — маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены.

Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие темные усы, резко оттеняя полные, красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие, черные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой, смуглой грудью.

Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обеих этажей дома на двор льются песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь.

Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой и, наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные — народ полуодетый, худосочный и кривоногий, — начинают подтрунивать над костромичами-малярами за их горохом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками.

Орлов сидит в своем углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он — зверь лютый.

Он сидит, охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и крупных желтых зубов. В нем растет что-то бесформенное и темное, красные, мутные пятна плавают перед его глазами, тоска и жажда водки сосет его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет, ему будет легче, но пока еще светло, и ему стыдно идти в кабак в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова.

Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она там стонет, чувствует, что она мученица и что она права перед ним, — он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват, — это еще более усиливает его ненависть к ней, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное темное чувство и оно сильнее сознания. В нем все смутно и тяжело, и он безвольно отдается тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобраться в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его.

Вот идет гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шелковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Подмышкой у него гармоника в зеленом мешке, черненькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень, и все лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удалство, за игру, за веселый характер и завидует его легкой, беззаботной жизни.

С по-бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцарапанной щекой!

Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал ее раз пятьдесят, да гармонист и не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.

— Что, брат! опять Плевна была? — спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапожником. — Эх ты, Гриня, спела дыня! Шел бы ты туда, куда всем нам дорога... Ключнули бы мы с тобой.

— Я скоро, — не поднимая головы, говорит Орлов.

— Жду и страдаю по тебе...

Вскоре уходит и Орлов.

Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая, полная женщина. Голова у нее плотно закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идет через двор и садится на то место, где сидел ее муж. Ее появление никого не удивляет — к этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница — полусгнившая и крутая; однажды Гришка упал с нее и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки.

С той поры Матрена и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко — усатый унтер-офицер в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позевывая, спрашивает:

— Снова подрались?

— А тебе что? — недружелюбно и задорно говорит Матрена.

— А ничего! — объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат.

Матрена тяжело дышит, и в груди у нее что-то хрипит.

— И чего вы все воюете? Чего б вам делить? — начинает рассуждать хохол.

— Наше дело... — кратко говорит Матрена Орлова.

— Ваше, это так, — соглашается Левченко, кивая головой.

— Так чего же ты лезешь ко мне? — резонно заявляет Орлова.

— Фу ты, какая! Слова ей не скажи! Как посмотрю я на вас — пара вы с Гришкой! Батогами бы вас лупить

надо каждый день — раз поутру и раз вечером — вот что! Были бы тогда оба не такие ежи...

И, рассерженный, он уходит прочь от нее, чем она очень довольна: по двору давно уже ходит говор, что хохол недаром к ней ластится, она зла на него, на него и на всех людей, которые суются не в свое дело. А хохол идет в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.

Вот откуда-то к нему под ноги подвертывается Чижики.

— Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! — вполголоса сообщает он Левченку, подмигивая туда, где сидит Матрена.

— Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! — усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижики и внимательно слушает его, зная, что Чижики известны все тайны двора.

— Около нее не обрыбишься, — не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижики. — Максимка-маляр пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал — здорово! Прямо по харе, как по барабану!

Полуребенок, полувзрослый, несмотря на свои двенадцать лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его жизни, на лбу у него уже есть тонкая морщинка, признак, что Сенька Чижики думает.

...На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звезд, квадратный кусок синего неба, и, окруженный высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигурка, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа...

Орловы были женаты четвертый год. Был у них ребенок, но, прожив около полутора года, умер; они оба недолго горевали о нем, успокоившись в надежде иметь другого.

Подвал, где они помещались, — большая, продолговатая, темная комната со сводчатым потолком. Прямо у двери — большая русская печь, челом к окнам; между нею и стеной — узенький проход в квадрат, освещенный

двумя окнами, выходившими во двор. Свет падал из них в подвал косыми, мутными полосами, в комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась где-то там наверху, а сюда залетали от нее только глухие, неопределенные звуки, падавшие вместе с пылью в яму к Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по стене — деревянная двухспальная кровать за ситцевым пологом, желтым, с розовыми цветами; у другой стены — стол, на нем пили чай и обедали, а между кроватью и стеной, в двух полосах света, супруги работали.

По стенам лениво путешествовали тараканы, объедая хлебный мякиш, которым были приклеены к штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки смотрели темными пятнами с грязносерого фона стен.

День Орловых начинался так: часов в шесть утра Матрена просыпалась, умывалась и ставила самовар, не раз искалеченный в пылу драк и весь покрытый заплатами из олова. Пока кипел самовар, она убирала комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая. Садились пить чай с белым хлебом, которого съедали вдвоем фунт.

Григорий работал хорошо, и работа у него была всегда, за чаем он распределял ее. Он делал чистую работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дратву, подклеивала поднаряд, делала набойки на стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был довольно интересный вопрос; летом из экономии печь топили только по праздникам, и то не всегда, питались же преимущественно крошками из кваса, с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе. Кончив чай, садились работать: Григорий на квашонку, обитую кожей и с трещиной на боку, жена рядом с ним — на низенькую скамейку.

Сначала работали молча — о чем им было говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе, и молчат по получасу и больше. Стучит молоток, шипит дратва, продергиваемая сквозь кожу. Григорий иногда зевнет и непременно заключит зевок протяжным ревом или воем. Матрена вздыхает. Иногда Орлов запевал песню. Голос

у него резкий, с металлическим тембром, но петь он умеет. Слова песни то собирались в жалобный и быстрый речитатив и, как бы боясь не договорить того, что хотели сказать, стремительно рвались из Гришкиной груди, то, вдруг растягиваясь в грустные вздохи — с воплем «эх!», — тоскливые и громкие, летели из окна на двор. Матрена подтягивала мужу мягким контральто. Лица у обоих становились задумчивы и печальны, темные глаза Гришки подергивались влагой. Жена его, погруженная в звуки, как-то тупела, сидя точно в полусне и покачиваясь из стороны в сторону, а иногда она точно захлебывалась песней, разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести ее в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в чужих словах пустоту и скуку своей темной жизни, хотели, быть может, оформить этими словами те полусознательные мысли и ощущения, которые зарождались в их душах.

Порой Гришка импровизировал:

Э-ох, ты, жи-изнь... эх, да уж ты, жизнь моя треклятая...
Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,
Проклятущая тоска-а-а!..

Матрене эти импровизации не нравились, и она обыкновенно в таких случаях спрашивала его:

— Чего ты завыл, как пес перед покойником?

Он почему-то тотчас же сердился на нее:

— Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кикимора болотная!

— Выл, выл, да залаял...

— Молчать твое дело! Я кто — подмастерье, что ли, твой, что ты мне рацей-то начитывать суешься, а?..

Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на шее и глаза блещут гневом, — молчала, молчала долго, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев которого гас так же быстро, как и вспыхивал.

Она отвертывалась от его взглядов, искавших примирения с ней, ожидавших ее улыбки, и вся была полна трепетного чувства боязни, что он вновь рассердится на нее за эту игру с ним. Но в то же время сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для нее было приятно, — ведь это значило жить, думать, волноваться...

Оба они — молодые и здоровые люди — любили друг друга и гордились друг другом. Гришка был такой сильный, горячий, красивый, а Матрена — белая, полная, с огоньком в серых глазах, — «ядрёная баба», — говорили о ней на дворе. Они любили друг друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений и интересов, которые могли бы дать им возможность отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы естественную потребность человека — волноваться, думать, — вообще жить. Если б у Орловых была жизненная цель, — хоть бы накопление денег грош за грошом, — тогда, несомненно, им жилось бы легче.

Но у них не было и этого.

Постоянно один у другого на глазах, они привыкли друг к другу, знали все слова и жесты один другого. День шел за днем и не вносил в их жизнь почти ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же нищим духом, как сами, иногда к ним приходили гости, пили, пели, нередко — дрались. А потом снова один за другим тянулись бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным раздражением друг против друга.

Иногда Гришка говорил:

— Вот так жизнь, ведьма ее бабушка! И зачем только она мне далась? Работища да скучища, скучища да работища... — И, помолчав, с поднятыми к потолку глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: — Родила меня мать по воле божией, — супротив этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?... Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила? И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?

Матрена молчала, чувствуя в словах мужа что-то страшное; иногда она просила его не говорить таких слов, потому что они против бога, который уж знает, как устроить человеку жизнь. А иногда, будучи не в духе, она скептически заявляла мужу:

— А ты бы вот не пил винища-то — и жилось бы тебе

веселее, и не лезли бы в голову-то этикие мысли. Другие живут — не жалуются, а копят денежки да свои мастерские на них заводят и живут потом, как господа.

— И выходишь ты за такие деревянные твои слова — чортова кукла! Раскинь мозгами-то, разве я могу не пить, коли в этом моя радость? Другие! Много ты их, других-то, этиких удачливых знаешь? А я разве до женитьбы такой был? Это, ежели по совести говорить, так ты меня сосешь и жизнь мне теснишь... У, жаба!

Матрена обижалась, но чувствовала, что муж ее прав. В пьяном виде он и веселый и ласковый, — другие были плодом ее фантазии, — и до женитьбы он был весельчак, занятный и добрый...

«Почему это? Неужто и впрямь я ему тяжела?» — думала она.

Сердце ее сжималось от горькой думы, ей становилось жаль себя и его: она подходила к нему и, ласково, любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась к его груди.

— Ну, теперь будет лизаться, корова... — угрюмо говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть ее от себя; но она уже знала, что он этого не сделает, и еще ближе, еще крепче жалась к нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол работу и, посадив жену к себе на колени, целовал ее много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушает кто-то:

— Э-эх, Мотря! Живем мы с тобой ай-ай как плохо! Как зверье, грыземся... А почему? Такая звезда моя, под звездой родится человек, и звезда — судьба его!

Но это объяснение не удовлетворяло его и, прижав жену к груди, он задумывался.

Они подолгу сидели так в мутном свете и спертом воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда в такие хорошие моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесенные от него, и она с тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда он, смущенный ее ласковыми упреками, еще горячее ласкал ее, а она все более разливалась в жалобах. Это, наконец, снова раздражало его.

— Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз больше, когда я тебя бью. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестре дай волю, так вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ему жизнь осточертела?

В другое время он смягчался под потоком ее тихих слез и страстных жалоб и уныло, задумчиво объяснял:

— Что я с моим характером поделаю? Обижаю я тебя, — это верно. Знаю, что ты у меня одна душа... ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы объелся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце этакое зло — разорвал бы я тебя, да и себя заодно. И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающийся и ласковый тон успокаивал ее.

— Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем, — говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали друг друга.

— Вот ежели бы дите у нас родилось — было бы лучше нам, — вздыхая, заявляла она. — Была бы у нас и забава и забота.

— Так чего же ты? Рожай...

— Да... ведь при таких твоих побоях — не могу я принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... Хоть бы ногами-то не бил...

— Ну, — угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорий, — разве можно в этом разе соображать, чем, по чему бить надо? Да и я не палач какой... не для удовольствия бью, а от тоски...

— И отчего она завелась в тебе, тоска эта? — грустно спрашивала Матрена.

— Судьба такая, Мотря! — философствовал Гришка. — Судьба и характер души... Гляди, — хуже я других, хохла, к примеру? Однако хохол живет и не тоскует. Один он, ни жены, никого... Я бы подох без тебя... А он ничего! Он курит трубку и улыбается, — доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не могу... я родился с беспокойством в сердце. Характер у меня такой... как пружина: нажмешь на него — дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет.

Это мне обидно. Хохлу — тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый чорт, ничего не хочет, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего! Н-да... Я сижу вот в яме, работаю, а ничего нет у меня. Опять же и ты... Жена ты мне, а — что в тебе занятного? Баба, как баба, со всем бабьим набором... Знаю я все в тебе; как ты чихнешь завтра — и то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне чихала... Какая же поэтому у меня может быть жизнь и какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир, потому что там весело.

— А ты зачем женился? — спрашивала Матрена.

— Зачем? — Гришка усмехался. — Чорт меня знает зачем... не надо бы, ежели по совести сказать... В босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да свободно — иди куда хочешь! Шагай по всей земле!..

— Так иди, а меня отпусти на волю, — заявляла Матрена, готовая разреветься.

— Это куда? — внушительно спрашивал Гришка.

— А мое дело.

— Ку-уда? — И глаза у него зловеще разгорались.

— Не ори, — не боюсь...

— Али присмотрела себе кого? Говори!

— Пуст!

— Куда пустить? — ревел Гришка.

Он уже держал ее за волосы, сбив платок с ее головы. Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо многозначительными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стоня, лежала на постели рядом с ним, он искоса смотрел на нее и тяжело вздыхал. Ему было скверно, совесть мучила его, он понимал, что его ревность не имеет оснований и что он напрасно избил ее.

— Ну, будет уж, — сконфуженно говорил он. — Али я виноват? И ты тоже хороша... Вместо того, чтоб меня уговорить, — подзадориваешь. Зачем это тебе надобно?

Она молчала, но — она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была

ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.

— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости уж! — Он гладил ее волосы, целовал ее и скрипел зубами от горечи, наполнявшей все его существо.

Окна их были открыты, но небо закрывала капитальная стена соседнего дома, и в комнате их, как и всегда, было темно, душно и тесно.

— Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! — шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того, что с болью чувствовал. — От ямы это, Мотря. Что мы? Вроде как бы прежде смерти в землю похоронены...

— Переедем на другую квартиру, — сквозь сладкие слезы предлагала Матрена, понимая его слова буквально.

— Э-эх! Не то, тетенька! Хотя на чердак заберись, все в яме будешь... не квартира — яма... жизнь — яма!

Матрена задумывалась и опять говорила:

— Бог даст, может, и поправимся...

— Да, поправимся... Часто ты это говоришь. А дело-то у нас, Мотря, не на поправку идет... Скандалы-то все чаще, — понимаешь?

Это было верно. Промежутки между их ссорами все сокращались, и вот, наконец, каждую субботу еще с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей жене.

— Сегодня вечером пошабашу и в трактир к Лысому... Напьюсь... — объявлял он.

Матрена, странно щуя глаза, молчала.

— Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее будешь, — предупреждал он.

В течение дня он с озлоблением, возраставшим по мере приближения вечера все более, несколько раз напоминал ей о своем намерении напиться, чувствовал, что ей больно это слышать, и, видя, как она, сосредоточенно молчаливая, с твердым блеском в глазах, готовая бороться, ходит по комнате, еще более свирепел.

Вечером вестник их несчастья, Сенька Чижик, объявлял о «стражении».

Избив жену, Гришка исчезал иногда на всю ночь, иногда не являлся и в воскресенье. Она, вся в синяках, встречала его суровая, молчаливая, но полная скрытой

жалости к нему, оборванному, часто тоже избитому, в грязи, с налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нее уже было припасено полбутылки водки. Он тоже знал это.

— Дай рюмочку, — хрипло просил он,пил две-три и садился работать...

День проходил у него в угрызениях совести; часто он не выносил их остроты, бросал работу и ругался страшными ругательствами, бегая по комнате или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипеть, тогда они мирились.

Раньше это примирение имело в себе много острого и сладкого, но от времени все это постепенно выдыхалось, и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать все пять дней вплоть до субботы.

— Сопьешься ты, — вздыхая, говорила Мотря.

— Сопьюсь, — подтверждал Гришка и сплевывал в сторону с видом человека, которому решительно все равно, спиться или не спиться. — А ты от меня удерешь, — дополнял он картину будущего, пытливо глядя ей в глаза.

Она с некоторых пор стала опускать их, чего раньше не делала, а Гришка, видя это, зловеще хмурил брови и тихонько скрипел зубами. Но, тайком от мужа, она пока еще ходила к гадалкам и знахаркам, принося от них наговорные корешки и угли. А когда все это не помогало, она отслужила молебен святому великомученику Вонифатию, помогающему от запоя, и во все время молебна, стоя на коленях, горячо плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.

И все чаще и чаще она чувствовала к мужу дикую и холодную ненависть, возбуждавшую в ней черные думы, и все менее жалела она этого человека, три года тому назад так обогатившего ее жизнь веселым смехом, ласками, любовными речами.

Так изо дня в день жили эти, в сущности, недурные люди, жили, ожидая чего-то такого, что окончательно вдребезги разобьет их мучительно нелепую жизнь...

Однажды, в понедельник, утром, когда Орловы пили чай, на пороге их невеселого жилища явилась внушительная фигура полицейского. Орлов вскочил и, пытаясь вос-

становить в своей похмельной голове события последних дней, молчаливо уставился на гостя мутными глазами, полный самых скверных ожиданий. Жена его смотрела пугливо и укоризненно.

— Сюда, сюда, — приглашал кого-то полицейский.

— Темно, как в омуте, чорт бы побрал купца Петуникова, — раздался молодой и веселый голос, и в подвал вошел студент в белом кителе, с фуражкой в руке, гладко стриженный, с большим загорелым лбом, веселыми карими глазами, смешливо сверкавшими из-под очков.

— Здравствуйте! — воскликнул он баском. — Честь имею представиться — санитар! Пришел осведомиться, как поживаете... и понюхать ваш воздух — воздух у вас скверный!

Орлов свободно вздохнул и радушно улыбнулся. Ему сразу понравился студент: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щеках и подбородке русым пухом. Все оно улыбалось какою-то особенною, ясной улыбкой, от которой в подвале Орловых стало как бы светлее и веселее.

— Ну-с, господа хозяева! — без пауз говорил студент, — помойку опрастывайте почаще, а то от нее идет этот дух невкусный. Я вам, тетенька, посоветовал бы мыть ее почаще. А у вас, дяденька, почему такой скучный вид? — обратился он к Орлову и тут же, схватив его за руку, стал щупать пульс.

Бойкость студента несколько смутила Орловых. Матрена растерянно улыбалась, молча оглядывая его, Григорий улыбался недоверчиво.

— Животики у вас как поживают? — спрашивал тот. — Рассказывайте, не стесняясь, — дело житейское, а ежели чуть что неладно, мы вас снабдим разными кислыми лекарствами, и все как рукой снимет.

— Мы ничего... в добром здоровье, — сообщил Григорий, усмехаясь. — А ежели я не того... так это одна наружность... потому что, — ежели по правде говорить, — с похмелья я несколько.

— То-то я чую носом-то, что как будто бы вы, хозяин, чуть-чуть выпили вчера, — самую малость, знаете...

Он до того уморительно произнес это и такую при этом скорчил рожу, что Орлов так и прыснул смехом. Матрена тоже смеялась, закрывая рот передником. Веселее и громче всех смеялся сам студент, он же скорее всех и перестал. Когда расправились вызванные смехом складки кожи вокруг его пухлого рта и глаз, лицо его, простое и открытое, стало как-то еще проще.

— Выпить рабочему человеку следует, ежели в меру, но — по нынешним временам лучше совсем воздержаться от выпивки. Слышали, какая болезнь ходит между людьми?

И уже серьезно, понятным языком, он начал рассказывать Орловым о холере и о мерах борьбы с ней. Говорил и расхаживал по комнате, то шупая стену рукой, то заглядывая за дверь, в угол, где висел рукомойник и стояла лохань с помоями, даже нагнулся к подпечку и понюхал, чем из него пахнет. Голос у него то и дело срывался с басовых нот на теноровые, простые слова его речи как-то сами собой, без усилий со стороны слушателей, одно за другим плотно укладывались в их памяти. Светлые глаза его горели, и весь он был пропитан пылом своей молодой страсти к делу.

Григорий с улыбкой любопытства следил за ним. Матрена то и дело фыркала носом, полицейский исчез.

— Так насчет чистоты позаботьтесь сегодня же, хозяева. Тут рядом с вами стройка, каменщики вам на пятак сколько угодно известки дадут. А от выпивки нужно воздержаться, хозяин... Н-ну, пока до свиданья... Я еще забегу к вам...

Он исчез так же быстро, как явился, оставив воспоминанием о своих смеющихся глазах довольные улыбки на лицах Орловых, — они были смущены набегом сознательной энергии в их темную жизнь.

— А-яй! — протянул Григорий, качая головой. — Вот так — химик! А про них говорят, что они отравляют народ! Да разве человек с такой рожей будет этим заниматься?.. Нет, тут совсем открыто пришел и сразу — на вот, вот он я! Известка — разве это вредно? Лимонная кислота — что такое? Просто кислота и больше ничего! И главное — чистота везде, в воздухе, на полу, в лоханке... Ах, черти! Отравители, говорят... Этакой-то

рубаша-парень, а? Рабочему, говорит, человеку в меру выпить всегда следует... слышь, Мотря? Ну-ка, нацеди мне рюмочку, — есть, что ли?

Она очень охотно налила ему полчашки водки из бутылки, неизвестно откуда взятой ею.

— Этот-то действительно хороший... располагающий к себе, — сказала она, улыбаясь при воспоминании о студенте. — А другие, прочие — кто их знает? Может, и впрямь наняты они...

— Да для чего наняты-то, и кем опять же? — воскликнул Григорий.

— Для людского истребления... Говорят, что бедного люда очень много и вышло распоряжение — травить лишних, — сообщила Матрена.

— Кто это говорит?

— Все говорят. Стряпка от маляров говорила и другие многие...

— И дуры! Да разве это выгодно? Ты подумай: лечат! Это как понимать? Хоронят! Это разве не убыток? Тоже нужен гроб, могила и прочее такое... Все идет на счет казны... Ер-рунда! Ежели бы хотели сделать очистку и убавление людей, то взяли бы да и сослали их в Сибирь — там места про всех хватит! Или на необитаемые острова... И приказали бы там работать. Вот тебе и очистка, и очень даже выгодно... Потому что необитаемый остров никакого дохода не даст, ежели не засадить его людьми. А казне — доход первое дело, значит, морить людей да хоронить их на свой счет ей не рука... Поняла? И опять же студент... озорник он, это точно, но он больше насчет бунта, а чтобы людей морить... не-ет, его для такой игры не купишь за все медные! Разве сразу не видно, что он к этому делу не способен? Рыло у него не того калибра...

Целый день они толковали о студенте и о всем, что он сообщил им. Вспоминали его смех, его лицо, нашли, что у него на кителе не хватало одной пуговицы, и едва не разругались из-за вопроса: «на какой стороне груди?» Матрена упорно утверждала, что на правой, ее муж говорил — на левой и уже дважды крепко ругнул ее, но, вовремя вспомнив, что, наливая водку в чашку, жена не подняла дно бутылки кверху, уступил ей. Потом решили с завтрашнего дня заняться введением у себя чистоты

и снова, овеянные чем-то свежим, продолжали беседовать о студенте.

— Нет, какой ведь хлюст! — восхищался Григорий. — Пришел — точно десять лет знакомы... Обнюхал все, разъяснил и... больше ничего! Ни крика, ни шума, хотя ведь и он начальство тоже... Ах, раздуй его горой! Понимаешь, Матрена, тут, брат, есть о нас забота. Сразу видно... Желают нас сохранить в целости, а не то что... Это все ерунда, насчет мора, — бабьи сказки! Живот, говорит, как действует?.. А ежели мор, так на кой ему чорт действие живота знать? А как он ловко разъяснил насчет этих... как их? дьяволов-то, которые заползают в кишки, ну?

— Как-то вроде небылицы, — усмехнулась Матрена. — Чай, это так только, для страха, чтобы насчет чистоты старался народ...

— Ну, там кто их знает, может, и правда... от сырости черви ведь заводятся же. Ах ты, чорт! Как их, этих козявок? Небылицы? Нет... На языке вертится слово, а не понимаю...

Они и когда спать легли, все еще говорили о событии с тем наивным воодушевлением, с каким дети делятся между собой впервые пережитым, сильно поразившим их впечатлением. Так они и заснули среди разговора.

Попуту рано их разбудили. У кровати их стояла дородная стряпка маляров, и ее всегда красное, полное лицо против обыкновения было серо и вытянуто.

— Что вы прокладываетесь? — торопливо говорила она, как-то особенно шлепая толстыми губами. — Холера-то ведь на дворе у нас... Посетил господь! — И она вдруг заплакала.

— Ах, ты — врешь? — воскликнул Григорий.

— А я лоханку-то с вечера не вынесла, — виновато сказала Матрена.

— Я, милые вы мои, хочу расчет взять. Уйду я... Уйду... в деревню, — говорила стряпка.

— Кого забрало? — спросил Григорий, поднимаясь с постели.

— Гармониста! В ночь схватило... И схватило, сударики, прямо за живот, вроде как бы от мышьяка бывает...

— Гармонист? — бормотал Григорий. Ему не верилось. Такой веселый, удалой парень, вчера он прошел по

двору таким же павлином, как и всегда. — Пойду взгляну, — решил Орлов, недоверчиво усмехаясь.

Обе женщины испуганно вскрикнули:

— Гриша, ведь зараза!

— Что ты, батюшка, куда ты?

Григорий крепко выругался, сунул ноги в опорки и, растрепанный, с расстегнутым воротом рубахи, пошел к двери. Жена схватила его сзади за плечо, он чувствовал, что рука ее дрожит, и вдруг озлился почему-то.

— В морду дам! Прочь! — рявкнул он и ушел, толкнув жену в грудь.

На дворе было тихо и пусто. Григорий, идя к двери гармониста, одновременно чувствовал озноб страха и острое удовольствие от того, что из всех обитателей дома один он смело идет к больному. Это удовольствие еще более усилилось, когда он заметил, что из окон второго этажа на него смотрят портные. Он даже засвистал, ухарски потряхнув головой. Но у двери в каморку гармониста его ждало маленькое разочарование в образе Сеньки Чижики.

Приотворив дверь, он сунул свой острый нос в образовавшуюся щель и, по своему обыкновению, наблюдал, увлеченный до такой степени, что обернулся только тогда, когда Орлов дернул его за ухо.

— Вот так скрючило его, дяденька Григорий, — шопотом заговорил он, подняв на Орлова свою чумазую мордочку, еще более обостренную переживаемым впечатлением. — И вроде как бы разохся он, — как худая бочка, — ей-богу!

Орлов, охваченный зловонным воздухом, стоял и молча слушал Чижику, стараясь заглянуть одним глазом в щель непритворенной двери.

— Воды ему дать напиться, дяденька Григорий? — предложил Чижики.

Орлов взглянул на лицо мальчика, возбужденное почти до нервной дрожи, и сам почувствовал взрыв возбуждения.

— Тащи воды! — скомандовал он Чижику и, смело распахнув дверь, остановился на пороге, несколько подавшись назад.

Сквозь туман в глазах Григорий видел Кислякова: гармонист в своем парадном костюме лежал грудью на столе, крепко вцепившись в него руками, и его ноги в лакированных сапогах вяло двигались по мокрому полу.

— Кто это? — спросил он сипло и апатично, точно голос его слинял.

Григорий оправился и, осторожно шагая по полу, пошел к нему, стараясь говорить бодро и даже шутливо.

— Я, брат, Митрий Павлов... А ты что это — переложил, что ли, вчера? — Он внимательно, с боязнью и любопытством рассматривал Кислякова и не узнавал его.

Лицо у гармониста все обострилось, скулы торчали двумя резкими углами, глаза глубоко ввалились и, окруженные зеленоватыми пятнами, были странно неподвижны, мутны. Кожа на щеках такого цвета, какою она бывает у покойников в жаркое, летнее время; мертвое, страшное лицо, и только медленное движение челюстей доказывало, что оно еще живо. Неподвижные глаза Кислякова долго смотрели в лицо Григория, и этот взгляд наводил на него ужас. Зачем-то ощупывая свои бока руками, Орлов стоял шагах в трех от больного и чувствовал, что его точно кто-то схватил за горло сырой и холодной рукой, схватил и медленно душит. Ему захотелось скорее уйти из этой комнатки, прежде такой светлой и уютной, а теперь пропитанной удушающим запахом гнили и странным холодом.

— Ну... — начал было он, приговариваясь отступать. Но серое лицо гармониста странно задвигалось, губы, покрытые черным налетом, раскрылись, и он сказал своим беззвучным голосом:

— Это... я... умираю...

Неизъяснимое равнодушие трех его слов отдалось в голове и груди Орлова, как три тупых удара. С бессмысленной гримасой на лице он повернулся к двери, но навстречу ему влетел Чижик, с ведром в руке, запыхавшийся и весь в поту.

— Вот — из колодца от Спиридонова, — не давали, черти...

Он поставил ведро на пол, бросился куда-то в угол, снова явился и, подавая стакан Орлову, продолжал тараторить:

— У вас, говорят, холера... Я говорю, ну, так что? И у вас будет, — теперь уж она пойдет чесать, как в слободке... Дык — он меня как ахнет по башке!..

Орлов взял стакан, зачерпнул из ведра воды и одним глотком выпил ее. В ушах его звучали мертвые слова:

«Это... я... умираю...»

А Чижик выюном вертелся около него, чувствуя себя как нельзя более в своей сфере.

— Дайте пить, — сказал гармонист, двигаясь по полу вместе со столом.

Чижик подскочил к нему и поднес к черным губам его стакан воды. Григорий, прислонясь к стене у двери, точно сквозь сон слушал, как больной громко втягивал в себя воду; потом услышал предложение Чижика раздеть Кислякова и уложить его в постель, потом раздался голос стряпки маляров. Ее широкое лицо, с выражением страха и соболезнования, смотрело со двора в окно, и она говорила плаксивым тоном:

— Дать бы ему сажи голландской с ромом: на стакан чайный — сажи две ложки хлёбальных, да рому до краев.

А кто-то невидимый предложил деревянного масла с огуречным рассолом и царской водкой.

Орлов вдруг почувствовал, что тяжелая, гнетущая тьма внутри его освещается каким-то воспоминанием. Он крепко потер себе лоб, как бы желая усилить яркость этого света, и вдруг быстро вышел вон, перебежал двор и исчез на улице.

— Батюшки! Сапожника схватило! В больницу побежал, — крикливо плачущим голосом объяснила стряпка его бегство.

Матрена, стоявшая рядом с ней, посмотрела широко открытыми глазами и, побледнев, вся затряслась.

— Врешь ты, — хрипло сказала она, едва двигая белыми губами, — Григорий этой поганой болезнью не захворает, — не поддастся!

Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и через пять минут на улице около дома купца Петунникова глухо гудела кучка соседей и прохожих. На всех лицах чередовались одни и те же чувства: возбуждение, сменявшееся безнадежным унынием, и что-то злое, уступавшее иногда место деланной удали. Со двора к толпе

и обратно то и дело летал Чижи́к, сверкая босыми ногами и сообщая ход событий в комнате гармониста.

Публика, тесно сбившись в кучу, наполняла пыльный и пахучий воздух улицы глухим гулом своего говора, а иногда сквозь него вырывалось крепкое ругательство, злое и бессмысленное.

— Смотрите — Орлов-то!

Орлов подъехал к воротам на козлах холщевой фуры, которой правил угрюмый человек, весь одетый в белое. Он рявкнул глухим басом:

— Пошел с дороги!

И поехал прямо на людей.

Вид этой фуры и окрик ее возницы как бы придавил повышенное настроение зрителей — все сразу потемнели, многие быстро ушли.

Вслед за фурой явился студент, знакомый Орловых. Фуражка у него съехала на затылок, по лбу струился пот, на нем была надета какая-то длинная мантия ослепительной белизны, и спереди на ее подоле красовалась большая, круглая дыра с рыжими краями, очевидно, только что прожженная чем-то.

— Ну, где больной? — громко спрашивал он, искоса поглядывая на публику, собравшуюся в уголке у ворот, — люди встретили его недоброжелательно.

Кто-то громко сказал:

→ Ишь ты, какой повар!

Другой голос тише и зловеще пообещал:

— погоди, он те угостит!

Нашелся, как всегда в толпе, шутник.

— Он те даст такой суп, что у тебя лопнет пуп!

Раздался смех, невеселый, затемненный боязливым подозрением.

— Ведь вот сами-то они не боятся заразы, — это как понимать? — многозначительно спросил человек с напряженным лицом и взглядом, полным сосредоточенной злобы.

Лица людей потемнели, говор стал глуше...

— Несут!

— Орлов-то! Ах, собака!

— Не боится?

— Ему что? Пьяница...

— Осторожней, осторожней, Орлов! Поднимайте выше ноги... так! Готово! Поезжай, Петр! — командовал студент. — Я скоро приеду. Ну-с, господин Орлов, я прошу вас помочь мне уничтожить здесь заразу... Кстати, на случай, вы выучитесь, как это делать... Согласны?

— Могу, — сказал Орлов, оглядываясь вокруг и чувствуя прилив гордости.

— И я тоже могу, — заявил Чижик.

Он проводил печальную фуру за ворота и вернулся как раз во-время для того, чтобы предложить свои услуги. Студент через очки посмотрел на него.

— Ты кто такой есть, а?

— Из маляров, — в учениках... — объяснил Чижик.

— А холеры боишься?

— Я? — удивился Сенька. — Вот! Я — ничего не боюсь!

— Н-ну? Ловко! Так вот что, братцы. — Студент присел на бочку, лежавшую на земле, и, покачиваясь на ней, стал говорить о необходимости для Орлова и Чижики хорошенько вымыться.

К ним подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза сальным передником. Через некоторое время осторожно, как кошки к воробьям, к этой группе подошло еще несколько человек. Около студента собрался тесный кружок человек в десять, и это воодушевило его. Стоя в центре людей, быстро жестикулируя, он, то вызывая улыбки на лицах, то сосредоточенное внимание, то острое недоверие и скептические смешки, начал нечто вроде лекции.

— Главное дело во всех болезнях — чистота тела и воздуха, которым вы дышите, — уверял он своих слушателей.

— О, господи! — громко вздыхала стряпка маляров. — От нечаянной смерти Варваре великомученице надо молиться...

— И в теле и в воздухе живут, однако тоже помирают, — заявил один из слушателей.

Орлов стоял рядом со своей женой и смотрел в лицо студента, о чем-то думая. Его дернули за рубашу.

— Дяденька Григорий! — шепнул Сенька Чижик, сверкая горящими, как угольки, глазами, — теперь вот

помрет Митрий-то Павлов, родных у него нету... кому же гармоника достанется?

— Отстань, чертенок! — отмахнулся Орлов.

Сенька отошел в сторону и уставился в окно комнатки гармониста, ища в ней чего-то жадным взглядом.

— Известка, деготь, — громко перечислял студент.

Вечером этого беспокойного дня, когда Орловы сели пить чай, Матрена с любопытством спросила у мужа:

— Ты давеча куда ходил со студентом-то?

Григорий посмотрел ей в лицо затуманенными, чужими глазами, не отвечая.

Около полудня, кончив мыть комнагу гармониста, Григорий ушел куда-то с санитаром, воротился часа в три задумчивый, молчаливый, лег на постель и вплоть до чая лежал кверху лицом, не вымолвив за все время ни слова, хотя жена много раз пыталась вызвать его на разговор. Он даже не обругал ее, — это было странно, непривычно ей и возбуждало ее.

Инстинктом женщины, вся жизнь которой сосредоточилась на муже, она подозревала, что его охватило чем-то новым, ей было боязно и тем более страстно хотелось знать, — что с ним?

— Тебе, может, нездоровится, Гриша?

Григорий слил с блюдца в рот последний глоток чая, вытер рукой усы, не спеша подвинул жене пустой стакан и, нахмутив брови, заговорил:

— Ходил я со студентом в барак...

— В холерный? — воскликнула Матрена и тревожно, понизив голос, спросила: — Много там их?

— Пятьдесят три с нашим-то... Некоторые поправляются... Ходят... Желтые, худые...

— Холерные? Чай — нет?... Других, каких-нибудь, сунули туда для оправдания: вот-де, смотрите, вылечиваем!

— Ты дура! — решительно сказал Григорий и зло блеснул глазами. — Все вы тут дубье! Необразованность и глупость — больше ничего! Подохнешь с вами от тоски при вашем невежестве... Ничего вы не можете понимать, — он резко подвинул к себе вновь налитый стакан чаю и замолчал.

— Где это ты образовался так? — ехидно спросила Матрена и вздохнула.

Он промолчал, задумчивый, неприступно суровый. Потухавший самовар тянул пискливую мелодию, полную раздражающей скуки, в окна со двора веяло запахом масляной краски, карболки и обеспокоенной помойной ямы. Полусумрак, писк самовара и запахи — все плотно сливалось одно с другим, черное жерло печи смотрело на супругов так, точно чувствовало себя призванным проглотить их при удобном случае. Супруги грызли сахар, стучали посудой, глотали чай. Матрена вздыхала, Григорий стучал пальцем по столу.

— Чистота невиданная! — вдруг с раздражением заговорил он. — Все служащие до последнего — в белом. Хворые то и дело в ванны лезут... Вином их поят, — два с полтиной бутылка! Кушанья... с одного запаха сыт будешь... Обращение со всеми — материнское... Н-да... Извольте понять: живешь на земле, ни один чорт даже и плюнуть на тебя не хочет, не то что зайти иногда и спросить — что, как, и вообще — какая жизнь? по душе она или по душе человеку? А начнешь умирать — не только не позволяют, но даже в изъясн вводят себя. Бараки... вино... два с полтиной бутылка! Неужто нет у людей догадки? Ведь бараки и вино большущих денег стоят. Разве эти самые деньги нельзя на улучшение жизни употреблять, — каждый год по несколько?

Жена не старалась понять его речей, ей достаточно было чувствовать, что они новы, и она безошибочно выводила отсюда: у Григория в душе творится что-то нехорошее для нее. Она скорее хотела узнать, — как это коснется ее? В этом желании была и боязнь, и надежда, и что-то враждебное мужу.

— Там, чай, уж побольше твоего знают, — сказала она, когда он кончил, и поджала губы.

Григорий повел плечом, искоса взглянул на нее и, помолчав, начал в тоне еще более повышенном:

— Знают, не знают — это их дело. Но ежели мне, не выдав никакой жизни, помирать приходится, об этом я могу рассуждать. Я тебе вот что скажу: такого порядка я больше не хочу, сидеть, дожидаться, когда придет холера да меня скрючит, — не согласен. Не могу! Петр

Иванович говорит: вали навстречу! Судьба против тебя, а ты против нее, — чья возьмет? Война! Больше никаких... Значит, — что теперь? А поступаю я служителем в барак — и все тут! Поняла? Прямо в пасть влезу — глотай, а я буду ногами дрыгать!.. Двадцать рублей в месяц жалованья, да еще награду могут дать... Можно умереть?.. это так, но здесь еще скорее сдохнешь.

Орлов стукнул кулаком по столу так, что вся посуда подпрыгнула.

Матрена в начале речи смотрела на мужа с выражением беспокойства и любопытства, а в конце ее уже враждебно прищурила глаза.

— Это студент тебе насоветовал? — сдержанно спросила она.

— У меня свой ум есть, — могу рассудить, — уклонился Григорий от прямого ответа.

— Ну, а как же со мной разделаться посоветовал он тебе? — продолжала Матрена.

— С тобой? — Григорий несколько смутился — он не успел подумать о жене. Конечно, можно бабу оставить на квартире, вообще это делается, но Матрену — опасно. За ней нужен глаз да глаз. Остановившись на этой мысли, Орлов хмуро продолжал: — Что же? Будешь тут жить... а я буду жалованье получать.. н-да...

— Так, — спокойно сказала женщина и усмехнулась той многозначщей, женской улыбкой, которая сразу может вызвать у мужчины колющее сердце чувство ревности.

Орлов, нервный и чуткий, ощутил это, но из самолюбия, не желая выдавать себя, бросил жене:

— Квак да хрюк — все твои речи!.. — И насторожился, ожидая, — что еще скажет она?

Она снова улыбнулась этой раздражающей улыбкой и промолчала.

— Ну, так как же? — спросил Григорий повышенным тоном.

— Что? — произнесла Матрена, равнодушно вытирая чашки.

— Ехидна! Не финти — пришибу! — вскипел Орлов. — Я, может, на смерть иду!

— Не я тебя посылаю, не ходи..

— Ты бы рада послать, я знаю! — иронически воскликнул Орлов.

Она молчала. Это бесило его, но Орлов сдержал привычное выражение чувства, сдержал под влиянием прехидной, как ему казалось, мысли, мелькнувшей у него в голове. Он улыбнулся злорадной улыбкой, говоря:

— Я знаю, тебе хочется, чтобы я провалился хоть в тартарары. Ну, еще посмотрим, чья возьмет... да! Я тоже могу сделать такой ход — ах ты мне!

Он вскочил из-за стола, схватил с окна картуз и ушел, оставив жену не удовлетворенной ее политикой, смущенной угрозами, с возрастающим чувством страха пред будущим. Она шептала:

— О, господи! Царица небесная! Пресвятая богородица!

Она долго сидела за столом, пытаясь предположить, что сделает Григорий? Пред ней стояла вымытая посуда; на капитальную стену соседнего дома, против окон комнаты, заходящее солнце бросило красноватое пятно; отраженное белой стеной, оно проникло в комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей пред Матреной, блестел. Наморщив лоб, она смотрела на этот слабый отблеск, пока не утомились глаза. Тогда она, убрав посуду, легла на кровать.

Григорий пришел, когда уже было совсем темно. Еще по его шагам на лестнице она догадалась, что муж в духе. Он выругал тьму в комнате, подошел к постели, сел на нее.

— Знаешь что? — усмехаясь, спросил Орлов.

— Ну?

— И ты пойдешь на место!

— Куда? — дрогнувшим голосом спросила она.

— В один барак со мной! — торжественно объявил Орлов.

Она обняла его за шею и, крепко сжав руками, поцеловала в губы. Он не того ждал и оттолкнул ее.

«Притворяется... — думал он, — ей, шельме, совсем не хочется вместе с ним. Притворяется, ехидна, за дурака считает мужа...»

— Чему рада? — грубо и подозрительно спросил он, чувствуя желание сбросить ее на пол.

— Так уж! — бойко ответила она.

- Финти! Знаю я тебя!
- Еруслан ты мой храбрый!
- Брось... а то смотри!
- Гришаня ты мой!
- Да ты что в самом деле?

Когда ее ласки укротили его несколько, он озабоченно спросил ее:

- А ты не боишься?
 - Чай, вместе будем, — просто ответила она.
- Ему приятно было слышать это. Он сказал ей:
- Молодчина!

И так ущипнул ее, что она взвизгнула.

Первый день дежурства Орловых совпал с очень сильным наплывом больных, и двум новичкам, привыкшим к своей медленно двигавшейся жизни, было жутко и тесно среди кипучей деятельности, охватившей их. Неловкие, не понимавшие приказаний, подавленные жуткими впечатлениями, они растерялись, и хотя пытались работать, но только мешали другим. Григорий несколько раз чувствовал, что заслуживает строгого окрика или выговора за свое неумение, но, к великому его изумлению, на него не кричали.

Когда один из докторов, высокий черноусый человек с горбатым носом и большущей бородавкой над правой бровью, велел Григорию помочь одному из больных сесть в ванну, Григорий с таким усердием цапнул больного подмышки, что тот даже крикнул и сморщился.

— А ты, голубчик, не ломай его, он и целиком в ванну уберется... — серьезно сказал доктор.

Орлов сконфузился; больной же, сухой и длинный верзила, усмехнулся через силу и хрипло сказал:

— С нови... Непривычен.

Другой доктор, старик с острой седой бородой и блестящими большими глазами, сказал Орловым, когда они пришли в барак, наставление, как обращаться с больными, что делать в том и другом случае, как брать больных, переноса их; в заключение спросил их, были ли они вчера в бане, и выдал им белые передники. Голос у этого доктора был мягкий, говорил он быстро; он очень понра-

видяся супругам. Вокруг них мелькали люди в белом, раздавались приказания, подхватываемые прислугой на легу, хрипели, охали и стонали больные, текла и плескалась вода, и все эти звуки плавали в воздухе, до того густо насыщенном острыми, неприятно щекочущими ноздри запахами, что казалось — каждое слово доктора, каждый вздох больного тоже пахнут, раздирая нос...

Сначала Орлов находил, что тут царит бесшабашный хаос, в котором ему ни за что не найти себе места, и что он задохнется, заболеет... Но прошло несколько часов, и, охваченный веянием повсюду рассеянной энергии, он насторожился, проникся желанием приспособиться к делу, чувствуя, что ему будет покойнее и легче, если он завертится вместе со всеми.

— Сулемы! — кричал доктор.

— Горячей воды! — командовал худенький студент с красными опухшими веками.

— Вы — как вас? Орлов... трите-ка ему ноги!.. Вот так... понимаете?.. Та-ак, та-ак... Легче, — сдерете кожу! — показывал Григорию другой студент, длинноволосый и рябой.

— Еще больного привезли! — раздавалось сообщение.

— Орлов, тащите его.

Григорий усердствовал — потный, ошеломленный, с мутными глазами и с тяжелым туманом в голове. Порой чувство личного бытия в нем совершенно исчезало под давлением впечатлений, переживаемых им. Зеленые пятна под мутными глазами на землистых лицах, кости, точно обточенные болезнью, липкая, пахучая кожа, страшные судороги едва живых тел — все это сжимало сердце тоской и вызывало тошноту.

Несколько раз в коридоре барака он мельком видел жену; она похудела, и лицо у нее было серое и растерянное. Он охрипшим голосом спросил ее:

— Ну, что?

Она слабо улыбнулась в ответ ему и молча исчезла.

Григория кольнула совершенно непривычная ему мысль: а пожалуй, он напрасно втиснул сюда, в такую пакостную работу, свою бабу! Захворает она... И, встретив ее еще раз, он строго крикнул:

— Смотри, чаще руки-то мой, — берегись!

— А то что будет? — задорно спросила она, оскалив свои мелкие белые зубы.

Это разозлило его. Вот нашла место смешкам, дура! И до чего они подлы, эти бабы! Но сказать ей он ничего не успел: поймав его сердитый взгляд, Матрена быстро ушла в женское отделение.

А он через минуту уже нес знакомого полицейского в мертвецкую. Полицейский тихо покачивался на носилках, уставившись в ясное и жаркое небо стеклянными глазами из-под искривленных век. Григорий смотрел на него с тупым ужасом в сердце: третьего дня он этого полицейского видел на посту и даже ругнул его, проходя мимо, — у них были маленькие счеты между собой. А теперь вот этот человек, такой здоровяк и злючка, лежит мертвый, обезображенный, скорченный судорогами.

Орлов чувствовал, что это нехорошо, — зачем и на свет родиться, если можно в один день от такой поганой болезни умереть? Он смотрел сверху вниз на полицейского и жалел его.

Но вдруг согнутая левая рука трупа медленно пошевелилась и выпрямилась, а левая сторона искривленного рта, раньше полуоткрытая, закрылась.

— Стой! Пронин... — захрипел Орлов, ставя носилки на землю. — Жив! — шопотом заявил он служителю, который нес с ним труп.

Тот обернулся, пристально взглянул на покойника и с сердцем сказал Орлову:

— Чего врешь? Али не понимаешь, что это он для гроба расправляется? Айда, неси!

— Да ведь шевелится, — трепеща от ужаса, протестовал Орлов.

— Неси, знай, чудака-человек! Что ты слов не понимаешь? Говорю: выправляется, — ну, значит, шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до греха тебя может довести... Жив! Разве можно про мертвый труп говорить такие речи? Это, брат, бунт... Понимаешь? Молчи, никому ни слова насчет того, что они шевелятся, — они все так. А то свинья — борову, а боров — всему городу, ну и бунт — живых хоронят! Придет сюда народ и разнесет нас вдребезги. И тебе будет на калачи. Понял? Сваливай налево.

Спокойный голос служителя, его неторопливая походка действовали на Григория отрезвляюще.

— Ты, брат, только духом не падай — привыкнешь. Здесь хорошо. Харч, обращение и всякое другое — все в аккурате. Все, брат, мертвецами будем; это самое обыкновенное дело. А пока что, — живи, знай, не робей только — главная причина! Водку пьешь?

— Пью, — сказал Орлов.

— Ну вот. Вон тут в ямке у меня бутылочка есть на всякий случай, айда-ка, проглотим несколько.

Они подошли к ямке за углом барака, выпили, и Пронин, налив на сахар мятных капель, подал его Орлову, со словами:

— Ешь, а то пахнуть водкой будешь. Здесь насчет водки — строго. Потому вредно пить ее!

— А ты привык тут? — спросил у него Григорий.

— Я — спервоначалу. При мне тут народу перемерло — сотни, прямо сказать. Житье здесь беспокойное, а — хорошее житье, ежели говорить правду. Божье дело. Вроде как на войне... ты про санитаров и сестер милосердия слышал? Я в турецкую кампанию посмотрелся на них. Под Ардаганом, под Карсом был. Ну, а это, брат, чище нас, солдат, люди. Мы воюем, ружье у нас есть, пули, штык; а они — безо всего под пулями, как в зеленом саду, гуляют. Наш, турка — берут и тащат на перевязочный. А вокруг них — ж-жи! ти-ю! фить! Иногда ему, санитару-то, в затылок — чик! — и готово!..

После этого разговора и здорового глотка водки Орлов несколько приободрился.

«Взялся за гуж, так не бай, что не дюж», — усовещивал он себя, растирая ноги больного. За его спиной кто-то жалобно стонущим голосом просил:

— Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!

А кто-то гоготал:

— Ого-го-го! Погорячей!.. Го-го-сподин доктор, помогает! Вот вам Христос, — чувствую! Разрешите еще подлить кипяточку!

— Дайте вина! — кричал доктор Ващенко.

Орлов работал и видел, что, в сущности, все это совсем уж не так погано и страшно, как казалось ему недавно, и что тут — не хаос, а правильно действует большая,

разумная сила. Но, вспоминая о полицейском, он все-таки вздрагивал и искоса поглядывал в окно барака на двор. Он верил, что полицейский мертв, но было что-то неустойчивое в этой вере. А вдруг выскочит и крикнет? И ему вспомнилось, как кто-то рассказывал: однажды холерные мертвецы выскочили из гробов и разбежались.

Он вспоминал о жене: каково ей? Иногда к этому примешивалось мимолетное желание улучшить минутку и посмотреть на Матрену. Но вслед за этим Орлов как бы конфузился своего желания и восклицал про себя:

«Повертись-ка вот этак-то, толстомясая! Небойсь, подсохнешь... Лишишься своих намерений...»

Он всегда подозревал, что у жены его имеются в душе намерения, оскорбительные для него как мужа, а иногда, восходя в своих подозрениях до некоторого объективизма, даже признавал, что эти намерения имеют основание. Жизнь у нее желтенькая, от такой жизни всякая дрянь в голову ползет. Этот объективизм обыкновенно перерождал, на время, его подозрения в уверенность. Потом он спрашивал себя: а зачем ему надо было лезть из своего подвала в этот котел кипящий? И недоумевал. Но все эти думы вращались где-то глубоко в нем, они были как бы отгорожены от прямого влияния на его работу тем напряженным вниманием, с которым он относился к действиям врачебного персонала. Он никогда не видал, чтоб в каком-нибудь труде люди убивались так, как они убиваются тут, и не раз подумал, глядя на утомленные лица докторов и студентов, что все эти люди — воистину не даром деньги получают!

Сменясь с дежурства, усталый, Орлов вышел на двор барака и прилег у стены его под окном аптеки. В голове у него шумело, под ложечкой сосало, ноги болели ноющей болью. Ни о чем не думалось и ничего не хотелось, он вытянулся на дерне, посмотрел в небо, где стояли пышные облака, богато украшенные красками заката, и уснул, как убитый.

Приснилось ему, что будто бы он с женой в гостях у доктора в громадной комнате, уставленной по стенам венскими стульями. На стульях сидят все больные из барака. Доктор с Матреной ходят «русскую» среди зала, а он сам играет на гармонике и хохочет, потому что

длинные ноги доктора совсем не гнутся, и доктор, **важный**, надутый, ходит по залу за Матреной — точно цапля по болоту. И все больные тоже хохочут, раскачиваясь на стульях.

Вдруг в дверях является полицейский.

— Ага! — мрачно и грозно кричит он. — Ты, Гришка, думал, что я умер? На гармонике играешь, а меня в мертвецкую сташил! Ну-ка, пойдем со мной! Вставай!

Охваченный дрожью, облитый потом, Орлов быстро поднялся и сел на земле. Против него сидел на корточках доктор Ващенко и укоризненно говорил ему:

— Какой же ты, друже, санитар, если спишь на земле, да еще и брюхом на нее лег, а? А ну ты простудишь себе брюхо, — ведь сляжешь на койку, да еще, чего доброго, и помрешь... Это, друже, не годится, — для спанья у тебя есть место в бараке. Тебе не сказали про это? Да ты и потный, и знобит тебя. Ну-ка, иди, я тебе кое-чего дам.

— Я с устатка, — пробормотал Орлов.

— Тем хуже. Надо беречь себя, — время опасное, а ты человек нужный.

Орлов молча прошел за доктором по коридору барака, молча выпил какое-то лекарство из одной рюмки, выпил еще из другой, сморщился и плюнул.

— Ну, а теперь иди спи! — И доктор начал переставлять по полу коридора свои длинные, тонкие ноги.

Орлов посмотрел ему вслед и вдруг, широко улыбнувшись, побежал за ним.

— Покорно благодарю, доктор!

— За что? — остановился тот.

— За заботу. Теперь я буду стараться для вас во всю силу! Потому приятно мне ваше беспокойство... и... что я **нужный человек**... и вообще пок-корнейше благодарен!

Доктор пристально и с удивлением смотрел на взволнованное какой-то радостью лицо барачного служителя и тоже улыбнулся.

— Чудачина ты! А впрочем, ничего, — это все славно у тебя выходит, искренно! Валяй, старайся во-всю; это не для меня будет, а для больных. Надо нам человека от болезни отбить, вырвать его из ее лап — понимаешь? Ну, вот и давай стараться во всю силу победить болезнь. А пока — спи иди!

Вскоре Орлов лежал на койке и засыпал с приятным ощущением ласкающей теплоты в животе. Ему было радостно, и он был горд своим таким простым разговором с доктором.

Заснул он, сожалея, что жена не слыхала этого разговора. Рассказать ей завтра... Не поверит, чортова перечница.

— Чай пить иди, Гриша, — разбудила его поутру жена.

Он приподнял голову и посмотрел на нее. Она улыбалась ему. Гладко причесанная, в своем белом балахоне, она была такая чистенькая, свежая.

Ему было приятно видеть ее такой, и в то же время он подумал, что ведь и другие мужчины в бараке ее видят такой же.

— Это какой же чай пить? У меня свой чай есть, — куда мне идти? — хмуро сказал он.

— А ты иди со мной попей, — предложила она, глядя на него ласкающими глазами.

Григорий отвел свои глаза в сторону и сказал, что придет.

Она ушла, а он снова лег на койку и задумался.

«Ишь ты какая! Чай пить зовет, ласковая... Похудела, однакоже, за день-то». Ему стало жалко ее и захотелось сделать для жены приятное. Купить к чаю чего-нибудь сладкого, что ли? Но, умываясь, он уже отбросил эту мысль, — зачем бабу баловать? Живет и так!

Чай пили в маленькой светлой каморке с двумя окнами, выходившими в поле, залитое золотистым сиянием утреннего солнца. На дерне, под окнами, еще блестя роса, вдали, на горизонте, в туманно-розовой дымке утра, стояли деревья почтового тракта. Небо было чисто, с поля веяло в окна запахом сырой травы и земли.

Стол стоял в простенке между окон, за ним сидело трое: Григорий и Матрена с товаркой — пожилой, высокой и худой женщиной с рябым лицом и добрыми серыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была девицей, дочерью коллежского асессора, и не могла пить чай на воде из больничного куба, а всегда кипятила самовар

свой собственный. Объявив все это Орлову надорванным голосом, она гостеприимно предложила ему сесть под окном и дышать вволю «настоящим небесным воздухом», а затем куда-то исчезла.

— Что, устала вчера? — спросил Орлов у жены.

— Просто страсть как! — живо ответила Матрена. — Ног под собой не слышу, головонька кружится, слов не понимаю, того и гляди, пластом лягу. Еле-еле до смены дотянула... Все молилась, — помоги, господи, думаю.

— А боишься?

— Покойников — боюсь. Ты знаешь, — она наклонилась к мужу и со страхом шепнула ему: — они после смерти шевелятся — ей-богу!

— Это я ви-идал! — скептически усмехнулся Григорий. — Мне вчера Назаров полицейский и после смерти своей чуть-чуть плюху не влепил. Несу я его в мертвецкую, а он ка-ак размахнется левой рукой... я едва увернулся... вот как! — Он приврал немного, но это вышло само собой, помимо его желания.

Очень уж ему нравилось чаепитие в светлой, чистой комнате с окнами в безграничный простор зеленого поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось — не то жена, не то он сам. В конце концов — ему хотелось показать себя с самой лучшей стороны, быть героем наступающего дня.

— Примусь я тут работать — даже небу жарко станет, вот как! Потому есть причина у меня на это. Во-первых, люди здесь, я тебе скажу, — не существующие на земле!

Он рассказал свой разговор с доктором, и, так как он снова, незаметно для себя, несколько приврал, — это обстоятельство еще более усилило его настроение.

— Во-вторых, — работа сама! Это, брат, великое дело, вроде войны, например. Холера и люди — кто кого? Тут ум требуется и чтобы все было в аккурате. Что такое холера? Это надо понять, и валяй ее тем, что она не терпит! Мне доктор Ващенко говорит: «Ты, говорит, Орлов, человек в этом деле нужный! Не робей, говорит, и гони ее из ног в брюхо больного, а там, говорит, я ее кисленьким и прищемлю. Тут ей и конец, а человек-то ожил и весь век нас с тобой благодарить должен, потому кто его

у смерти отнял? Мы!» Орлов гордо выпятил грудь, глядя на жену возбужденными глазами.

Она задумчиво улыбалась ему в лицо, он был красив и очень походил теперь на того Гришу, каким она видела его когда-то давно, еще до свадьбы.

— У нас в отделении тоже все такие работающие и добрые. Докторша то-олстая, в очках. Хорошие люди, говорят с тобой таково просто, и все у них понимаешь.

— Так ты, значит, ничего, довольна? — спросил Григорий, несколько остыв от возбуждения.

— Я-то? Господи, ты посуди: я получаю двенадцать рублей, да ты двадцать — тридцать два рубля в месяц! На готовом на всем! Это, ежели до зимы хворать будут люди, сколько мы накопим?.. А там, бог даст, и поднимемся из подвала-то...

— Н-да, это тоже важная статья... — задумчиво сказал Орлов и, помолчав, воскликнул с пафосом надежды, ударив жену по плечу: — Эх, Матренка, али нам солнце не улыбнется? Не рубей, знай!

Она вся загорелась.

— Только бы ты стерпел...

— А про это — молчок! По коже — шило, по жизни — рыло... Иная жизнь, иное и поведение мое будет.

— Господи, кабы это случилось! — глубоко вздохнула женщина.

— Ну, и цыц!

— Гришенька!

Они расстались с какими-то новыми чувствами друг к другу, воодушевленные надеждами, готовые работать до изнеможения, бодрые, веселые.

Прошло дня три-четыре, и Орлов заслужил несколько лестных отзывов о себе, как о сметливом и расторопном малом, и, вместе с этим, заметил, что Пронин и другие служители в бараке стали относиться к нему с завистью, с желанием насолить. Он насторожился, в нем тоже возникла злоба против толсторожего Пронина, с которым он не прочь был вести дружбу и беседовать «по душе». В то же время ему делалось как-то горько при виде явного желания товарищей по работе нанести ему какой-либо вред.

«Эх, злыдари!» — восклицал он про себя и тихонько поскрипывал зубами, стараясь не упустить удобного слу-

чая заплатить врагам «за лычко — ремешком». Невольно мысль его останавливалась на жене — с той можно говорить про все, она его успехам завидовать не будет и, как Пронин, карболкой сапог ему не сожжет.

Все дни работы были такие же бурные и кипучие, как первый, но Григорий уже не так уставал, ибо тратил свою энергию с каждым днем более сознательно. Он научился распознавать запахи лекарств и, выделив из них запах эфира, потихоньку, когда удавалось, с наслаждением нюхал его, заметив, что вдыхание эфира действует почти так же приятно, как добрая рюмка водки. С полуслова понимая приказания медицинского персонала, всегда добрый и разговорчивый, умевший развлекать больных, он все более и более нравился докторам и студентам, и вот, под влиянием совокупности всех впечатлений новой формы бытия, у него образовалось странное, повышенное настроение. Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилося желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы. Это было своеобразное честолюбие существа, которое вдруг сознало себя человеком и, еще не уверенное в этом новом для него факте, хотело подтвердить его чем-либо для себя и других; это было честолюбие, постепенно перерождавшееся в жажду бескорыстного подвига.

Из такого побуждения Орлов совершал разные рискованные вещи, вроде того, что единолично, не ожидая помощи товарищей и надрываясь, тащил коренастого больного с койки в ванну, ухаживал за самыми грязными больными, относился с каким-то ухарством к возможности заражения, а к мертвым — с простотой, порою переходившей в цинизм. Но все это не удовлетворяло его: ему хотелось чего-то более крупного, это желание все разгоралось в нем, мучило его и, наконец, доводило до тоски. Тогда он изливал душу жене, — потому что больше было некому.

Однажды вечером, сменившись с дежурства, попив чаю, супруги вышли в поле. Барак стоял далеко за городом, среди длинной, зеленой равнины, с одной стороны ограниченной темной полосой леса, с другой — линией городских зданий; на севере поле уходило вдаль и там, зеленое, сливалось с мутноголубым горизонтом; на юге

его обрезывал крутой обрыв к реке, а по обрыву шел тракт и стояли на равном расстоянии друг от друга старые, ветвистые деревья. Заходило солнце, кресты городских церквей, возвышаясь над темной зеленью садов, пылали в небе, отражая снопы золотых лучей, на стеклах окон крайних домов города тоже отражалось красное пламя заката. Где-то играла музыка; из оврага, густо поросшего ельником, веяло смолистым запахом; лес растилал в воздухе свой сложный, сочный аромат; легкие душистые волны теплого ветра ласково плыли к городу; в поле, пустынном и широком, было так славно, тихо и сладко-печально.

Орловы шли по траве молча, с удовольствием вдыхая чистый воздух вместо барачных запахов.

— Где это музыка играет, в городе или в лагерях? — тихонько спросила Матрена у задумавшегося мужа.

Она не любила видеть его думающим — он казался чужим ей и далеким от нее в эти минуты. Последнее время им и так мало приходится бывать вместе, и тем более она дорожила этими моментами.

— Музыка? — переспросил Григорий, точно освобождаясь от дремы. — А чорт с ней, с этой музыкой! Ты бы послушала, какая в душе у меня музыка... вот это так!

— А что? — тревожно взглянув ему в глаза, спросила она.

— А я — не знаю что... Горит у меня душа... Хочется ей простора... чтобы мог я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я в себе чувствую — необоримую! То есть если б эта, например, холера да преобразилась в человека, — в богатыря... хоть в самого Илью Муромца, — сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Орлов, сила, — ну, кто кого? Придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов... Освободил Россию от холеры». Больше ничего не надо...

Он говорил, и лицо его горело, а глаза сверкали.

— Силач ты мой! — ласково шепнула Матрена, прижимаясь к нему боком.

— Понимаешь... на сто ножей бросился бы я... но чтобы с пользой! Чтоб от этого облегчение вышло жизни. Потому — вижу я людей: доктор Ващенко, студент Хохря-

ков — работают они, даже удивление! Им бы давно надо умереть с усталка... Из-за денег, думаешь? Из-за денег так работать нельзя! У доктора — слава те господи! — есть-таки кое-что и еще немножко... А старик захворал прошлый раз, так Ващенко за него четверо суток отбарабанил, даже домой не съездил за все время... Деньги тут ни при чем; тут жалость — причина. Жалко им людей — и не жалеют себя... Ради кого, спроси? Ради всякого... Ради Мишки Усова... Мишке место в каторге, потому — всякий знает, что Мишка вор, а может, хуже... Мишку лечат... Рады, когда он с койки встал, смеются... Вот и я хочу эту самую радость испытать... и чтобы было много ее — задохнуться бы мне в ней! Потому что смотреть на них, как они смеются от своей радости, — заноза мне. Взяно весь и загорюсь. Эх ты... чорт!

Орлов глубоко задумался.

Матрена молчала, но сердце у нее билось тревожно — ее пугало возбуждение мужа, в словах его она ясно чувствовала великую страсть его желания, непонятного ей, потому что она и не пыталась понять его. Ей был дорог и нужен муж, а не герой.

Подошли к краю оврага и сели рядом друг с другом. Снизу на них смотрели кудрявые вершины молоденьких березок, на дне оврага лежала синеватая мгла, оттуда несло сыростью, гниющими листьями, хвоей. Порой тихо проносился ветер, ветки берез колыхались, колыхались и маленькие ели, — весь овраг наполнялся трепетным, боязливым шопотом, казалось, кто-то, нежно любимый и оберегаемый деревьями, заснул в овраге под их сенью и они чуть-чуть перешептываются, боясь разбудить его. В городе вспыхивали огни, выделяясь на темном фоне садов, как цветы. Орловы сидели молча, — он задумчиво барабанил пальцами по своему колену, она поглядывала на него, тихонько вздыхая.

И вдруг, охватив его шею руками, положила на грудь ему голову, шопотом говоря:

— Голубчик ты мой, Гриша! Милый ты мой! Какой ты опять хороший ко мне стал, удалой ты мой! Ведь будто тогда... после свадьбы... живем мы с тобой... ни слова обидного ты мне не скажешь, разговоры все со мной говоришь, душу открываешь... не зыкаешь на меня.

— А ты соскучилась об этом? Я ин поколочу, если хочешь, — ласково пошутил Григорий, ощущая в душе прилив нежности и жалости к жене.

Он стал рукой тихо гладить ей голову, и ему нравилась эта ласка, — такая отеческая — ласка ребенку. Матрена в самом деле похожа была на ребенка: она взобралась к нему на колени и сжалась у него на груди в маленький, мягкий и теплый комок.

— Милый мой! — шептала она.

Он глубоко вздохнул, и на язык ему сами собою потекли новые для него и жены его слова.

— Эх ты, кошечка! Видишь, как-никак, а нет друга ближе мужа. А ты все в сторону норовишь... Ведь ежели я иной раз обижал тебя — от тоски это! Жили в яме... Свету не видели, людей не знали. Выбрался из ямы и прозрел, — а до этого слепой был. Понимаю теперь, что жена, как-никак, первый в жизни друг. Потому люди — змеи, ежели правду сказать... Всё язву желают другому нанести... К примеру — Пронин, Васюков... Э, ну их к... Молчок, Мотря! Выправимся, не робей... Выйдем в люди и заживем с понятием... Ну? Чего ты, дуреха ты моя?

Она плакала сладкими слезами счастья и на вопрос его ответила поцелуями.

— Единственная ты моя! — шептал он и тоже целовал ее.

Оба они стирали поцелуями слезы друг друга и оба чувствовали их солоноватый вкус. И долго еще говорил Орлов новыми для него словами.

Уже совсем стемнело. Небо, пышно расцвеченное бесчисленными роями звезд, смотрело на землю с торжественной грустью, в поле было тихо, точно в небе.

У них вошло в привычку пить чай вместе. На другое утро, после разговора в поле, Орлов явился в комнату жены чем-то сконфуженный и хмурый. Фелицата захворала, Матрена была одна в комнате и встретила мужа с сияющим лицом, но тотчас же потемнела и тревожно спросила у него:

— Что ты такой? Нездоровится?

— Нет, ничего, — сухо ответил он, садясь на стул.

— А что же? — добивалась Матрена.

— Не спалось. Все думал. Раскудахтались мы с тобой вчера, смякли... мне теперь стыдно себя... Ни к чему все это. Ваша сестра, в таких разгах, норовит человека в руки взять... н-да... Только ты про это не мечтай — не удастся... Меня ты не обойдешь, я тебе не поддамся. Так и знай!

Он сказал все это очень внушительно, но на жену не смотрел. Матрена все время не отводила глаз от его лица, и губы ее странно искривились.

— Что же, ты каешься в том, что вчера таким мне близким был? — тихо спросила она. — Каешься, что целовал да ласкал меня? Это, что ли? Обидно мне это слышать... очень горько, рвешь ты мне сердце такими речами. Что тебе надо? Скучно тебе со мной, — не любя я тебе, или что?

Она смотрела на него подозрительно, и в тоне ее звучали и горечь и вызов мужу.

— Н-нет, — смущенно сказал Григорий, — я вообще... Жили мы с тобой... знаешь сама, что за жизнь! Вспоминать тошно. А вот теперь поднялись... и боязно чего-то. Все так скоро переменялось... И я сам себе как чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за этим будет?

— Что бог даст, Гриша! — серьезно сказала Матрена. — Ты только не кайся в том, что хорош вчера был.

— Ладно, брось... — все так же смущенно остановил ее Григорий. — Я, видишь ли, думаю, что все-таки ничего не выйдет у нас. И прежняя жизнь наша не цветиста, и теперешняя мне не по душе. И хоть не пью я, не дерусь с тобой, не ругаюсь...

Матрена судорожно засмеялась.

— Некогда тебе теперь заниматься-то всем этим.

— Напиться я всегда бы нашел время, — улыбнулся Орлов. — Не тянет, — вот диво! А потом мне вообще как-то... не то совестно чего-то, не то боязно... — Он потрянул головой и задумался.

— Господь тебя знает, что с тобой, — тяжело вздохнув, сказала Матрена. — Житье хорошее, хоть работы и много; доктора тебя любят, сам ты в аккурате себя держишь, — уж я не знаю что? Беспокойный ты очень.

— Это верно, беспокойный... Вот я думал ночью: «Петр Иванович говорит: все люди равны друг другу, а я разве не человек, как все? Но, однако, доктор Ващенко получше меня, и Петр Иванович получше, и многие другие... Значит, они мне не ровня и я им не ровня, я это чувствую. Они вылечили Мишку Усова и рады... А я этого не понимаю. И вообще чему радоваться, коли человек выздоровел? Жизнь у него хуже холерной судороги, ежели говорить по правде. Они понимают это, а — рады... И я тоже хотел бы порадоваться, как они, а не могу... Потому что — чему же радоваться, опять-таки?»

— А они жалеют людей, — возразила Матрена. — У нас тоже... начнет поправляться больная, так, господи, что делается! А которая бедная идет на выписку, так ей и советов, и денег, и лекарств надают... Даже слеза меня прошибает... добрые люди!

— Вот ты говоришь — слеза... А меня удивление берет... Больше ничего. — Орлов повел плечами и потер себе голову, недоумевающе поглядев на жену.

У нее откуда-то явилось красноречие, и она с усердием начала доказывать мужу, что люди достойны жалости. Наклонясь к нему, глядя в лицо его ласкающими глазами, она долго говорила ему про людей и тяжесть жизни, а он смотрел на нее и думал:

«Ишь как говорит! Откуда у нее слова?»

— Ведь и сам ты жалостливый — говоришь, удушил бы холеру, ежели бы сила. А — для чего? Тебе от того, что она явилась, даже лучше жить стало.

Орлов вдруг расхохотался.

— А ведь верно! И впрямь лучше! Ах ты, дуй ее горой! Люди мрут, а мне от этого жить лучше, а?.. Вот так жизнь! Тьфу!

Он встал и, смеясь, ушел на дежурство. Когда он шел по коридору, у него вдруг явилось сожаление о том, что, кроме него, никто не слышал речей Матрены. «Ловко говорила! Баба, баба, а тоже понимает кое-что». И, охваченный приятным чувством, он вошел в свое отделение навстречу хрипам и стонам больных.

Матрена, в свою очередь, всячески старалась расширить свое возрастающее значение в жизни мужа. Трудовая, бойкая жизнь сильно приподняла ее самооценку.

Она не думала, не рассуждала, но, вспоминая свою прежнюю жизнь в подвале, в тесном кругу забот о муже и хозяйстве, невольно сравнивала прошлое с настоящим, и мрачные картины подвального существования постепенно отходили все далее и далее от нее. Барачное начальство полюбило ее за сметливость и умение работать, все относились к ней ласково, в ней видели человека, это было ново для нее, оживляло ее...

Однажды, во время ночного дежурства, толстая докторша начала расспрашивать ее об ее жизни, и Матрена, охотно и открыто рассказывая ей про свою жизнь, вдруг замолчала, улыбаясь.

— Ты что смеешься? — спросила докторша.

— Да так... очень уж плохо жила я... и ведь, поверите ли, моя барыня, — не понимала я этого, вот до сего часу не понимала, как плохо.

После этого смотра прошлому в душе Орловой родилось странное чувство к мужу, — она все так же любила его, как и раньше, — слепой любовью самки, но ей стало казаться, как будто Григорий — должник ее. Порой она, говоря с ним, принимала тон покровительственный, ибо он часто возбуждал в ней жалость своими беспокойными речами. Но все-таки иногда ее охватывало сомнение в возможности тихой и мирной жизни с мужем, хотя она верила, что Григорий остепенится и погаснет в нем его тоска.

Роковым образом они должны были сблизиться друг с другом, и — оба молодые, трудоспособные, сильные — зажили бы серой жизнью полусытой бедности, кулацкой жизнью, всецело поглощенной погоней за грошом, но от этого конца их спасло то, что Гришка называл своим «беспокойством в сердце» и что не могло помириться с буднями.

Утром хмурого сентябрьского дня на двор барака въехала фура, и Пронин вынул из нее маленького мальчика, перепачканного красками, костлявого, желтого, едва дышавшего.

— Опять из дома Петунникова, с Мокрой улицы, — сообщил возница на вопрос, откуда больной.

— Чижик! — огорченно вскричал Орлов, — ах ты, господи! Сенька! Чиж! Ты меня узнаешь?

— У...узнал, — с усилием сказал Чижик, лежа на носилках и медленно заводя глаза под лоб, чтобы видеть Орлова, который шел у него в головах и склонился над ним.

— Ах ты, — веселая птица! Как же это ты сбрендил? — спрашивал Орлов. Он был странно встревожен видом этого мальчугана, измученного болезнью. — Мальчишку-то за что? — воплотил он в один вопрос свои ощущения, печально качнув головой.

Чижик молчал и пожимался.

— Холодно, — сказал он, когда, положив на койку, стали снимать с него покрашенные всеми красками лохмотья.

— А вот мы тебя сейчас в горячую воду пустим, — обещал Орлов. — И вылечим.

Чижик потряс головенкой и зашептал:

— Не вылечишь... Дяденька Григорий... наклонись-ка... ухом. Гармонику-то я стащил... Она — в дровянике... Третьего дня в первый раз тронул после того, как украл. А-ах какая! Спрятал ее, а тут и брюхо заболело... Вот... Значит, за грех это... Она под лестницей на стенке висит... дровами я ее заложил... Вот... Ты, дяденька Григорий, отдай ее... У гармониста сестра есть... Спрашивала... От-да-ай!.. — Он застонал и начал корчиться в судорогах.

С ним сделали все, что могли, но истощенное, худое тельце некрепко держало в себе жизнь, и вечером Орлов нес его на носилках в мертвецкую. Нес и чувствовал себя так, точно его обидели.

В мертвецкой Орлов попробовал расправить тело Чижика, это ему не удалось. Орлов ушел убитый, хмурый, унося с собой образ изувеченного страшною болезнью веселого мальчика.

Его охватило расслабляющее сознание своего бессилия перед смертью. Сколько он хлопотал около Чижика, как ревностно трудились над ним доктора — умер мальчик! Обидно... Вот и его, Орлова, схватит однажды, скрючит, и кончено. Ему стало страшно, его охватило одиночество. Поговорить бы с умным человеком насчет всего

этого! Он не раз пробовал завести разговор с кем-либо из студентов, но никто не имел времени для философии. Приходилось идти к жене и говорить с ней. Он пошел, хмурый и печальный.

Она мылась в углу комнаты, но самовар уже стоял на столе, наполняя воздух паром и шипением.

Григорий молча сел, глядя на голые, круглые плечи жены. Самовар бурлил, плескалась вода, Матрена фыркала, по коридору взад и вперед быстро бегали служители, Орлов по походке старался определить, кто идет.

Вдруг ему представилось, что плечи Матрены так же холодны и покрыты таким же липким потом, как у Чижика, когда тот корчился в судорогах на больничной койке. Он вздрогнул и глухо сказал:

— Умер Сенька-то...

— Умер?! Царство небесное новопреставленному отроку Семену! — молитвенно сказала Матрена и вслед за тем начала свирепо плеваться — мыло попало в рот.

— Жалко мне его, — вздохнул Григорий.

— Озорник больно был.

— Умер и — шабаш! Не твое теперь дело, каков он был... А что умер — это жалко. Бойкий был. Гармонику... Гм! Ловкий мальчонка... Я иной раз смотрел на него и думал: взять его к себе вроде как в ученики... Сирота... привык бы и стал вместо сына нам... Здоровенная ты, а не родишь... Родила один раз, да и кончено. Эх ты! Были бы у нас пискуны этикие, глядишь, не так скучно жилось бы нам... А то вот живи, работай... А для чего? Для пропитания своего и твоего... А куда мы... куда нам пропитание? Чтобы работать... Колесо бессмысленное выходит... А ежели были бы дети — другой разговор. Н-да...

Он говорил, низко опустив голову, тоном грусти и недовольства. Матрена стояла перед ним и слушала, постепенно бледнея.

— Я здоровый, ты здоровая, а детей нет... Почему? Н-да... Думаешь, думаешь этак-то и... запьешь.

— Врешь! — твердо и громко сказала Матрена. — Врешь ты! Не смей ты мне этих подлых твоих слов говорить... слышишь? Не смей! Пьешь ты — так себе, из

баловства, потому что сдержать себя не можешь, а бездетство моё ни при чем тут; врешь!

Григорий был ошеломлен. Он откинулся на спинку стула, взглянул на жену и не узнал ее. Никогда раньше он не видал ее такою разъяренной, никогда не смотрела она на него такими безжалостно злыми глазами и не говорила с такой силой.

— Ну, ну?! — вызывающе произнес Григорий, вцепившись руками в сиденье стула. — Ну-ка, говори еще!

— И скажу! Не сказала бы, но укора твоего такого не могу снести! Не рожу я тебе? И не буду! Не могу уж... Не рожу!.. — рыдание послышалось в ее крике.

— Не ори, — предупредил ее муж.

— Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, сколько ты меня бил? Сколько пинков в бока мне насыпал?.. Сосчитай-ка! Как ты мучил, истязал меня? Знаешь ли ты, сколько крови из меня лилось после мучительства твоего? По шею рубаха-то в крови бывала! Вот почему не рожу, муж милый! Как же ты можешь упреки мне делать за это, а? Как же харе твоей не совестно смотреть-то на меня?.. Ведь убивец ты! Понимаешь ли — убивец! Убивал ты, сам убивал деток-то своих! а теперь меня упрекаешь за то, что не рожу... Все я от тебя сносила, все я тебе прощала, — этаких слов вовеки не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не понимаешь, что сам виноват, что извел ты меня? Неужто я не как все женщины — не хочу детей! Многие ночи я, не спамши, господа бога молила сохранить дитя в утробе моей от тебя, убивца... Вижу дитя чужое — горечью захлебываюсь от зависти да жалости к себе... Мне бы... Царица небесная!.. Семку этого... тихонько ласкала... Что я? Господи! Бесплодная...

Она стала задыхаться. Слова прыгали из ее рта без смысла и связи.

Лицо у нее было в пятнах, она дрожала и царапала себе шею, — в горле ее клокотали рыдания. Крепко держась за стул, Григорий, бледный, подавленный, сидел против нее и широко раскрытыми глазами смотрел на эту, чужую ему женщину. И боялся ее — боялся, что она вцепится ему в горло и задушит его. Именно это обещали ему ее страшные, горящие злобой глаза. Она была теперь

вдвое сильнее его, он это чувствовал и трусил; не мог встать и ударить ее, как сделал бы, если бы не понимал, что она переродилась, впитав великую силу откуда-то.

— Душу ты мне задел... Велик твой грех передо мной! Терпела я, молчала... люблю тебя потому что — но не могу я попрека такого снести!.. Сил уж нет... Богоданный ты мой! будь ты за слова твои трижды проклят...

— Молчать! — рявкнул Гришка, оскалив зубы.

— Вы, скандалисты! Забыли, где вы?

У Григория был туман в глазах. Не видя, кто стоит в двери, выругался скверными словами, оттолкнул человека в сторону и убежал в поле. А Матрена, постояв среди комнаты с минуту, шатаясь, точно слепая, протянув руки вперед, подошла к койке и со стоном свалилась на нее.

Темнело, в окна комнаты с неба из сизых, рваных туч заглядывала любопытно золотистая луна. Но вскоре по стеклам окон и стене барака зашуршал мелкий частый дождь — предвестник бесконечных, наводящих тоску дождей осени.

Маятник часов равномерно отбивал секунды, неустанно били в стекла капли дождя. Один за другим шли часы, и дождь все шел, а на койке неподвижно лежала женщина, глядя воспаленными глазами в потолок; зубы ее крепко стиснуты, скулы выдались. Дождь все шуршал о стены и стекла; казалось, он настойчиво шепчет что-то утомительно однообразное, хочет убедить кого-то в чем-то, но не имеет достаточно страсти для того, чтобы сделать это быстро, красиво, и надеется достичь своей цели мучительною, бесконечной, бесцветною проповедью, в которой нет искреннего пафоса веры.

Дождь шел и тогда, когда небо покрылось предрасветной серостью, обещающей ненастный день. Матрена не могла уснуть. В монотонном шуме дождя она слышала тоскливый и пугавший ее вопрос:

«Что теперь будет?»

Ответ вспыхивал пред нею в образе пьяного мужа. Ей было трудно расстаться с мечтой о спокойной, любовной жизни, она сжилась с этой мечтой и гнала прочь угрожающее предчувствие. И в то же время у нее мелькало сознание, что, если запыет Григорий, она уже

не сможет жить с ним. Она видела его другим, сама стала другая, прежняя жизнь возбуждала в ней боязнь и отвращение — чувства новые, ранее неведомые ей. Но она была женщина и — стала обвинять себя за размолвку с мужем.

— И как это все вышло?.. О, господи!.. Точно я с крючка сорвалась...

Рассвело. В поле клубился тяжелый туман и неба не видно было сквозь его серую мглу:

— Орлова! Дежурить...

Повинуясь зову, брошенному в дверь ее комнаты, она поднялась с постели, наскоро умылась и пошла в барак, чувствуя себя бессильной, полубольной. В бараке она вызвала общее недоумение вялостью и угрюмым лицом с погасшими глазами.

— Вам нездоровится? — спросила ее докторша.

— Ничего...

— Да вы скажите, не стесняясь! Ведь можно заменить вас...

Матрене стало совестно, ей не хотелось выдавать боли и страха пред этим хорошим, но все-таки чужим ей человеком. И, почерпнув из глубины своей измученной души остаток бодрости, она, усмехаясь, сказала докторше:

— Ничего! С мужем немножко повздорила... Пройдет это... не в первинку...

— Бедная вы! — вздохнула докторша, зная ее жизнь.

Матрене хотелось ткнуться головой в ее колени и зареветь... Но она только плотно сжала губы да провела рукой по горлу, отталкивая готовое вырваться рыдание назад в грудь.

Сменившись с дежурства, она вошла в свою комнату и посмотрела в окно. По полю к барaku двигалась фура — должно быть, везли больного. Мелкий дождь сыпался... Больше ничего не было. Матрена отвернулась от окна и, тяжело вздохнув, села за стол, занятая вопросом:

«Что теперь будет?»

Долго сидела она в тяжелой полудремоте, каждый раз шум шагов в коридоре заставлял ее вздрагивать и, привстав со стула, смотреть на дверь...

Но когда, наконец, эта дверь отворилась и вошел Григорий, она не вздрогнула и не встала, ибо почувствовала себя так, точно осенние тучи с неба вдруг опустились на нее всей своей тяжестью.

А Григорий остановился у порога, бросил на пол мокрый картуз и, громко топая ногами, пошел к жене. С него текла вода. Лицо у него было красное, глаза тусклые и губы растягивались в широкую, глупую улыбку. Он шел, и Матрена слышала, как в сапогах его хлюпала вода. Он был жалок, таким она не ждала его.

— Хорош! — сказала она.

Григорий глупо мотнул головой и спросил:

— Хочешь, в ноги поклонюсь?

Она молчала.

— Не хочешь? Твое дело... А я все думал: виноват я пред тобой или нет? Выходит — виноват, Вот я и говорю: хочешь, в н-ноги поклонюсь?

Она молчала, вдыхая запах водки, исходивший от него, душу ее разъедало горькое чувство.

— Ты вот что — ты не кобенься! Пользуйся, пока я смирный, — повышая голос, говорил Григорий. — Ну, прощаешь?

— Пьяный ты, — сказала Матрена, вздыхая. — Иди-ка спать...

— Врешь, я не пьяный, а — устал я. Я все ходил и думал... Я, брат, много думал... о! ты смотри!..

Он погрозил ей пальцем, криво усмехаясь.

— Что молчишь?

— Не могу я с тобой говорить.

— Не можешь? Почему?

Он вдруг весь вспыхнул, и голос у него стал тверже.

— Ты вчера накричала на меня тут, налаяла... ну, а я вот у тебя прощенья прошу. Понимай!

Он сказал это зловеще, у него вздрагивали губы и ноздри раздувались. Матрена знала, что это значит, и пред ней в ярких образах воскресало прежнее: подвал, субботние сражения, тоска и духота их жизни.

— Понимаю я! — резко сказала она. — Вижу, — опять ты озвереешь теперь... эх ты!

— Озвереею? Это к делу не идет... Я говорю: простишь? Ты что думаешь? Нужно мне оно, твое прощенье?

Обойдусь и без него, а хочу вот, чтоб ты меня простила... Поняла?

— Уйди, Григорий! — тоскливо воскликнула женщина, отвертываясь от него.

— Уйти? — зло засмеялся Гришка. — Уйти, а ты чтобы осталась на воле? Ну, не-ет! А ты это видела?

Он схватил ее за плечо, рванул к себе и поднес к ее лицу нож — короткий, толстый и острый кусок ржавого железа.

— Эх, кабы ты меня зарезал, — глубоко вздохнув, сказала Матрена и, освободясь из-под его руки, вновь отвернулась от него. Тогда и он отшатнулся, пораженный не ее словами, а тоном их. Он слышал из ее уст эти слова, не раз слышал, но так — она никогда не говорила их. Минуту назад ему было бы легко ударить ее, но теперь он не мог и не хотел этого. Почти испуганный ее равнодушием, он бросил нож на стол и с тупой злобой спросил:

— Дьявол! Чего тебе нужно?

— Ничего мне не надо! — задыхаясь, крикнула Матрена. — Ты что? Убить пришел? Ну и убей.

Орлов смотрел на нее и молчал, не зная, что ему делать. Он пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему, он твердо знал — нужно! Натура страстная, он много пережил и передумал за эти сутки и — темный человек — не умел разобраться в хаосе чувств, которые возбудила в нем жена брошенным ему правдивым обвинением. Он понимал, что это восстание против него, и принес с собой нож, чтоб испугать Матрену; он убил бы ее, если б она не так пассивно сопротивлялась его желанию подчинить ее. Но вот она была пред ним, беззащитная, убитая тоской и — все-таки сильнее его. Ему было обидно видеть это, и обида действовала на него огрезвляюще.

— Слушай! — сказал он, — ты не фордыбачь! Ты знаешь, я ведь и в самом деле — ахну вот тебя в бок — и шабаш! И всей истории будет точка!.. Очень просто...

Почувствовав, что он говорит не то, что нужно, Орлов замолчал. Матрена не двигалась, отвернувшись от него. В ней бился этот неотвязный вопрос:

«Что теперь будет?»

— Мотря! — тихо заговорил Григорий, опираясь на стол рукой и наклонясь к жене. — Али я виноват, что... все не в порядке?..

Он покрутил головой, вздохнув.

— Так тошно! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем, холерные, — что они? Разве они мне поддержка? Одни помрут, другие выздоровеют... а я опять должен буду жить. Как? Не жизнь — судорога... разве не обидно это? Ведь я все понимаю, только мне трудно сказать, что я не могу так жить... Их вон лечат и всякое им внимание... а я здоровый, но ежели у меня душа болит, — разве я их дешевле? Ты подумай — ведь я хуже холерного... у меня в сердце судороги! А ты на меня кричишь!.. Ты думаешь, я — зверь? Пьяница — и все тут? Эх ты... баба ты!

Он говорил тихо и вразумительно, но она плохо слышала его речь, занятая строгим взглядом прошлого.

— Ты вот молчишь, — говорил Гришка, прислушиваясь, как в нем растет что-то новое и сильное. — А что ты молчишь? Чего ты хочешь?

— Ничего я от тебя не хочу! — воскликнула Матрена. — Что мучишь? Чего тебе надо?

— Чего! А того... чтобы, стало быть...

Но тут Орлов почувствовал, что не может сказать ей, чего именно ему нужно, — так сказать, чтоб все сразу было ясно и ему и ей. Он понял, что между ними образовалось что-то, чего уже не свяжешь никакими словами...

Тогда в нем вдруг вспыхнула дикая злоба. Он с размаха ударил жену кулаком по затылку и зверем зарычал:

— Ты что, ведьма, а? Ты что играешь? Убью!

Она от удара ткнулась лицом в стол, но тотчас же вскочила на ноги и, глядя в лицо мужа взглядом ненависти, твердо, громко сказала:

— Бей!

— Цыц!

— Бей! Ну?

— Ах ты, дьявол!

— Нет уж, Григорий, будет! Не хочу я больше этого...

— Цыц!

— Не дам я тебе измываться надо мной...

Он закрипел зубами и отступил от нее на шаг — быть может, для того, чтоб удобнее ударить ее.

Но в этот момент дверь отворилась, и на пороге явился доктор Ващенко.

— Эт-то что такое? Вы где, а? Вы что это тут разыгрываете?

Лицо у него было строгое, изумленное. Орлов нимало не смутился при виде его и даже поклонился ему, говоря:

— А так это... дезинфекция промежду мужем и женой...

И он судорожно усмехнулся в лицо доктору...

— Ты почему не явился на дежурство? — резко крикнул доктор, раздраженный усмешкой.

Гришка пожал плечами и спокойно объявил:

— Занят был... по своим делам...

— А скандалил тут вчера — кто?

— Мы...

— Вы? Очень хорошо... Вы ведете себя по-домашнему... без спроса шляетесь...

— Не крепостные потому что...

— Молчать! Кабак вы тут устроили... скоты! Я покажу вам, где вы...

Прилив дикой удали, страстного желания все опрокинуть, вырваться из гнетущей душу путаницы горячей волной охватил Гришку. Ему показалось, что вот сейчас он сделает что-то необыкновенное и сразу разрешит свою темную душу от пут, связавших ее. Он вздрогнул, почувствовал приятный холодок в сердце и, с какой-то кошачьей ужимкой повернувшись к доктору, сказал ему:

— Вы не беспокойте глотку, не орите... я знаю, где я, — в морильне!

— Что-о? Как ты сказал? — нагнулся к нему пораженный доктор.

Гришка понял, что сказал дикое слово, но не охладел от этого, а еще более распалился.

— Ничего, сойдет! Скушаете... Матрена! Собирайся.

— Нет, голубчик, постой! Ты мне ответь... — с зловещим спокойствием произнес доктор. — Я тебя, мерзавец, за это...

Гришка в упор смотрел на него и заговорил, чувствуя себя так, точно он прыгает куда-то и с каждым прыжком ему дышится все легче...

— Вы не кричите... не ругайтесь... Вы думаете, ежели холера, то вы и можете надо мной командовать. Напрасная мечта... Что вы лечите, так это даже и не нужно никому... А что я сказал — морилка, это, конечно, я дразнился... Но вы все-таки не очень орите...

— Нет, врешь! — спокойно сказал доктор. — Я тебя проучу... эй, подите сюда!

В коридоре уже столпились люди... Гришка прищурил глаза и сцепил зубы...

— Я не вру и не боюсь... а коли вам нужно проучить меня, то я для вашего удобства и еще скажу...

— Н-ну? Скажи...

— Я пойду в город и цыкну: «Ребята! А знаете, как холеру лечат?»

— Что-о? — широко раскрыв глаза доктор.

— Так тогда мы тут такую дезинфекцию с лиминацией...

— Что ты говоришь, чорт тебя возьми! — глухо вскричал доктор. Раздражение уступило в нем место изумлению пред этим парнем, которого он знал как трудолюбивого и неглупого работника и который теперь, неизвестно зачем, бестолково и нелепо лез в петлю...

— Что ты мелешь, дурак?

«Дурак!» — отозвалось эхом во всем существе Гришки. Он понял, что этот приговор справедлив, и еще более обиделся.

— Что я говорю! Я знаю... Мне все равно... — говорил он, сверкая глазами. — Я так понимаю теперь, что нашему брату всегда все равно... и совсем напрасно стесняемся мы в наших чувствах... Матрена, собирайся!

— Я не пойду! — твердо заявила Матрена.

Доктор смотрел на них круглыми глазами и тер себе лоб, ничего не понимая.

— Ты... пьяный или сумасшедший человек! понимаешь ты, что делаешь?

Гришка не сдавался, не мог сдаться. И в ответ доктору он говорил иронически:

— А вы как понимаете? Вы-то что делаете? Дезинфекцию, ха, ха! Больных лечите... а здоровые помирают от тесноты жизни... Матрена! Башку разобью! Иди...

— Я с тобой не пойду!

Она была бледна, неестественно спокойна, глаза ее смотрели в лицо мужа твердо и холодно. Гришка, не смотря на весь свой геройский кураж, отвернулся от нее и, опустив голову, замолчал.

— Тьфу! — плюнул доктор. — Сам дьявол не разберет, что это такое... Ты! Пошел вон! Ступай и благодари, что я тебя не приструнил... тебя бы следовало под суд... болван! Пошел!

Григорий молча взглянул на доктора и опять поник. Ему было бы лучше, если бы его побили или хоть отпраздники в полицию...

— Последний раз говорю — идешь ты? — сипло спросил Гришка жену.

— Нет, не пойду, — ответила она и немножко согнулась, точно ожидая удара.

Гришка махнул рукой.

— Ну... чорт вас всех возьми!.. Да и на кой дьявол вы нужны мне?

— Ты, дубина дикая, — урезонивающе начал доктор.

— Не лайте! — крикнул Гришка. — Ну, шлюха проклятая, — ухожу я! Чай, не увидимся... а может, увидимся... это уж как я захочу! Но ежели увидимся — нехорошо тебе будет, так и знай!

И Орлов двинулся к двери.

— Прощай, — трагик! — сардонически сказал доктор, когда Гришка поравнялся с ним.

Григорий остановился и, подняв на доктора тоскливо сверкавшие глаза, сдержанно и негромко заявил:

— А вы меня не троньте... не заводите пружину сначала... развернулась она, никого не задела... ну и ладно!

Он поднял с пола картуз, налепил его себе на голсву, пожегил и ушел, не взглянув на жену.

На нее пылливо смотрел доктор. Она стояла перед ним бледная. Доктор кивнул головой вслед Григорию и спросил:

— Что с ним?

— Не знаю...

— Гм... А куда он теперь?

— Пьянствовать! — твердо ответила Орлова.

Доктор повел бровями и ушел.

Матрена посмотрела в окно. От барака к городу

в вечернем сумраке, под дождем и ветром быстро двигалась фигура мужчины. Одна, среди мокрого, серого поля...

...Лицо Матрены Орловой побледнело еще более, она оборотилась в угол, стала на колени и начала молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь в страстном шопоте молитвы и растирая грудь и горло дрожащими от возбуждения руками.

Однажды я осматривал ремесленную школу в Н. Моим чичероне был знакомый человек, один из основателей ее. Он водил меня по образцово устроенной школе и рассказывал:

— Как видите, мы можем похвалиться... чадо наше растет и развивается на славу. Учительский персонал на удивление подобрался. В сапожной и башмачной мастерской, например, учительница — простая сапожница, баба, даже бабеночка, вкусная такая, шельма, но безупречнейшего поведения. Впрочем, это к чорту... н-да. Так вот, эта бабочка — простая, говорю, сапожница, но — как она работает!.. как умело преподает свое ремесло, с какою любовью относится к ребятишкам — изумительно! Бесценная работница... работает за двенадцать рублей и квартиру при школе... и еще двух сирот содержит на свои убогие средства! Это, я вам скажу, преинтересная фигура.

Он так усердно расхваливал сапожницу, что вызвал во мне желание познакомиться с ней.

Это скоро устроилось, и вот однажды Матрена Ивановна Орлова рассказывала мне свою печальную жизнь. Первое время после того, как она разошлась с мужем, он не давал ей покоя: приходил к ней пьяный, устраивал скандалы, подстерегал ее всюду и бил нещадно. Она терпела.

Когда барак закрыли, докторша предложила Матрене Ивановне устроить ее при школе и оградить от мужа. И то и другое удалось, и Орлова зажила спокойною, трудовую жизнью; выучилась под руководством знакомых фельдшерниц грамоте, взяла себе на воспитание двух сирот из приюта — девочку и мальчика — и работает, довольная собой, с грустью и со страхом вспоминая свое прошлое. В воспитанниках своих она души не чает, значение своей деятельности понимает широко, относится к ней

сознательно и среди заправил школы заслужила общее уважение к себе. Но она кашляет сухим, подозрительным кашлем, на впалых щеках ее горит зловещий румянец, в серых глазах ютится много грусти.

Мне удалось познакомиться и с Орловым. Я нашел его в одной из городских трущоб, и в два-три свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю, рассказанную мне его женой, он задумался ненадолго и потом сказал:

— Вот так-то, значит, Максим Савватейч, приподняло меня, да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего!» А потом вниз тормашками с высоты и — вдребезги! Н-да-а! А-ах как скучно и тесно жить!.. Думал я, сбросив с шеи Матрешку: «Н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднят!» Ан не тут-то было — фарватер мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно... Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна. На кой ее... когда меня во все четыре стороны сразу тянет... Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком! Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит сердце... А горит сердце большим огнем... Противно все — города, деревни, люди, разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты, жизнь, дьявольская ты премудрость!

Тяжелая дверь кабака, в котором сидел я с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных...

БЫВШИЕ ЛЮДИ

I

Въезжая улица — это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворешницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел — жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутнозеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора — это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью, — и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный, двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко разворачивается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой, старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покрывился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки — точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид — казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную грудку полугнилых обломков.

Ворота отворены — одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора — низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом нсобитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка — длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась — только с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок, из барочного днища, тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола — сыростью, от нары — гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них раз-

мещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, — «просто — жил! И славно жил, чорт возьми! Умеючи жил, могу сказать!»

Это был широкоплечий, высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязножелтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен, — поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером — навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

— Что за человек? — спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

— Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

— Все в порядке. За ночь — две копейки, за неделю —

гривенник, за месяц — три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри — не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

— А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

— Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику — хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц, — объяснял Кувалда деловым тоном, — ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать — вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин — значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

— Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

— Здорово. Жив. Говори дальше.

— Не узнали?

— Не узнал.

— А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

— Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

— Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

— погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

— Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

— Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабак с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

— А вы все такой же — все шутите?

— Да что же еще можно делать, живя среди вас, го-рюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

— Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

— Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить, — резонировал ротмистр. — Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья — невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка вот тебе двугривенный, — иди и принеси косушку водки, на пятак горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

— Приехали! Баста! — говорил ротмистр. — Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив — не покаешься, не покавшись — не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя — скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль,

но видел пред собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

— Н-ну, друг мой, — критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда, — штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения — верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, чорт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

— Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? — смущенно осведомлялся клиент.

— Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

— Покорнейше благодарю за ласку! — говорит тронутый клиент. — Экой вы добряга, право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... какой, чай, вы орел были на своем месте?!

Ротмистр жигь не может без витиеватых речей.

— Что значит — на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты — ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь

дисциплину. Видишь — какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно — и то ненадолго — мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и, когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонков и имея намерение снять себе в городе угол, — Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, — можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведаль еще несколько профессий, наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным, острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально

опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

— Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

— Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! — строго предупреждал его ротмистр.

— Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

— Хоть реви — не дам!

— Ну, и — конечно! — вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость — он вполне искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

— Химик! Ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал — пеняй на себя!

— Его благородие настоящий воин — вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, невыразимым словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

— Не можешь? — угрюмо спрашивал ротмистр.

Учитель утвердительно кивал головой.

— Потерпи еще день, — может быть, справишься? — предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга все трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

— В большинстве случаев бесполезно спорить с робком, — говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети — живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали все, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему однолетку, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, как выюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватали за нос. Все это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по несколько часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми

полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь — прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец — мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой «в ремешок», «в три листика», «в банковку» и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

— Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо, желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Обьедок. Он промышлял торговлей мочальными щетками собственной фабрики и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, расстриженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались

и тарашили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче — он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший все оживлять и даже в камни влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали — днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

— Я — босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

— Ты — дурак! — решил Аристид Кувалда. — Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

— Нет, уж я поживу с вами.

— Для чего?

— А так...

— Ах ты — метеор! — сказал ротмистр.

— Вот я ему сейчас зубы вышибу, — предложил Мартыанов.

— А за что? — осведомился парень.

— Так...

— А я возьму камень и по голове вас тресну, — почтительно объявил парень.

Мартыанов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

— Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему

зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним... мы все живем без достаточного к тому основания...

— Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас, — посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и все замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они — «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик-тряпичник Тяпá. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «шаркнули просто так, озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной — он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

— Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бег. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпа хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпа, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпа молча слушал все, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпа протягивал свою костлявую руку и говорил:

- Дай-ка...
- На что тебе?
- Дай, — может, про нас есть что...
- Про кого это?
- Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побило хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа, — все, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпа читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

— Эй ты, чернокнижник, — говорил ему Кувалда, — что ты понимаешь? Брось!

- А что ты понимаешь?
- И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...
- А я читаю...

— Ну, и -- глуп! — решал ротмистр. — Когда в голове заведутся насекомые — это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь жить, старая жаба?

— Мне недолго уж, — говорил спокойно Тяпá.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпá кратко ответил ему:

— В тюрьме...

— Ты был там?

— Был...

— За что?

— Так... Ошибся... Вот и библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

— Н-ну? Чем это?

— Вразумляет... Грамоте вот научился... книгу достал... Все — даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпá уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю, — чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпá сгибал весь свой корпус набок, — долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

— Вот — ты ученый был... Библию-то читал?

— Читал...

— То-то... Помнишь ее?

— Ну — помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя ссырым, сурово-недоверчивым глазом.

— Помнишь, были там амаликитяне?

— Ну?

— Где они теперь?

— Исчезли, Тяпá, — вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

— А филистимляне?

— И эти тоже...

— Все вымерли?

— Все...

— Так... А мы тоже вымерем?

— Придет время — и мы вымерем, — равнодушно обещал учитель.

— А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказы-

вать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

— Врешь ты все! — захрипел он, когда учитель кончил.

— Почему вру? — изумился тот.

— Какие ты народы назвал? Нет их в библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

— Из ума ты выживаешь, Тяпà, — убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым, грязным пальцем.

— От господа — Адам, от Адама — евреи, значит, все люди от евреев... И мы тоже...

— Ну?

— Татары от Измаила... а он от еврея...

— Да тебе-то чего надо?

— Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

— Был ты ученый... должен знать — кто мы?

— Славяне, Тяпà, — ответил учитель.

— Говори по библии — там таких нет. Кто мы — вавилоняне, что ли? Или — эдом?

Учитель пустился в критику библии. Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

— Погоди, — брось! Значит, в народах, богу известных, — русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так ли? Которые в библии записаны — господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения, — жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

— Н-не знаю! — протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

— Так и скажи!.. А то говоришь ты много, — будто все знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил?

Видишь? Эх ты! И врешь — разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть — врешь ты... он в библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь, — какой он? Он — огромный... Сколько деревень на земле? Все народ там живет, — настоящий, большой народ. А ты говоришь — вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амаликитяне не умерли — они немцы или французы... а ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господ? Кто нас научит?..

Речь Тяпы была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и учителю, который, по обыкновению, был выпивши и в минорном настроении, стало, наконец, так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненным-суровым тоном, а — мягким, отечески ласковым. И учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

— Какой ты человек?.. Душа у тебя изорванная... а говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...

— Эх, Тяпá, — тоскливо воскликнул учитель, — это — верно! И народ — верно!.. Он огромный. Но — я ему чужой... и — он мне чужой... Вот в чем трагедия. Но — пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.. Я действительно говорю много... и это не нужно никому... но — я буду молчать... Только ты не говори со мной так... Эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

— Шел бы ты в деревню, — просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься? — сурово хрипел Тяпá.

А учитель все плакал, наслаждаясь слезами.

С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

— Учитель охаживает Тяпу, к деньгам его держит курс.

— Это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой — начинается чтение.

— Ну-с, — говорит ротмистр, — о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?

— Нет, — сообщает учитель.

— Жадничает издатель... а передовица имеется?

— Есть... Гуляева.

— Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.

— «Оценка недвижимых имуществ, — читает учитель, — произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»

— Это наивно, — комментирует ротмистр Кувалда, — продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...

— Статья и написана на эту тему, — говорит учитель.

— Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах действующим и страдающим лицом является купец — Аристид Кувалда искренно ликует. Обворовали купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбились — приятно

слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец — великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

— Это было бы незаконно, — замечает учитель.

— Незаконно? Но законен ли сам купец? — спрашивает Кувалда. — Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление: прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик!

— Ловко! — одобряет публика вывод оратора.

А Тяпà мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра — «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он — зло ругается.

— Если б я писал в газетах! — восклицает он. — О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

— Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода, — исчезают люди из жизни...

— Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали, — людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-ви-жу!

— Оно и понятно, потому что и ты, брат, погран во прах ими же...

— Я? Я погиб от любви к жизни, — дурак! Я жизнь любил, а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это, — а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь

знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на все и на всех... и вся жизнь для меня — любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.

— Врешь! — говорит Объедок.

— Я вру? — орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

— Зачем кричать? — раздается холодный и мрачный бас Мартьянова. — Зачем рассуждать? Купец, дворянин — нам какое дело?

— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... — вставляет дьякон Тарас.

— Отстаньте, Объедок, — примирительно говорит учитель. — Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со всеми, а если это не удастся ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

— Я повторяю, — более спокойно продолжает он, — я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

— Однако, брат, — говорит учитель, — купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

— Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

— А до этих тебе какое дело? — тихо спрашивает учитель.

— А — разве я не живу? Ага! Живу, — значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

— И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке, — задирает Объедок.

— Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы, — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни — новость...

— Несомненно нам нужно это, — говорит учитель.

— Зачем? — спрашивает Конец. — Не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такую жизнь.

— И какая мы новость? — усмехается Обьедок. — Гольтепа всегда была.

— И она создала Рим, — говорит учитель.

— Да, конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и Рем — разве они не золоторотцы? И мы — придет наш час — создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия, — перебивает Обьедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

— Все это глупости, — мечты, — ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек — он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, — хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Обьедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Обьедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах,

но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного и — у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:

— Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и философия — три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За философию — оторву голову...

Он мог оторвать голову — несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой все сокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клоч их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

— Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

— Бывает, — подтвердил дьякон Тарас. — Я привык дьяконицу свою по воскресеньям после обедни бить; так, знаете, когда умерла она — такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил — вижу, плохо! Другое — стерпел. Третье — кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье — вздул ее, как жену! Потом

заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился...

— Дьякон, — врешь! Как ты мог в другой раз жениться? — оборвал его Обьедок.

— А? А я так — она у меня за хозяйством смотрела.

— У вас были дети? — спросил его учитель.

— Пять штук... Один утонул. Старший, — забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять было... как же! Мы, духовенство, плодovitые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и — умолк.

О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди — интеллигентней клуба.

По субботам — вечерами, в воскресенье — с утра до ночи — грактир был полон и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забытых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же

сброшенных из города, как и они. Уменье обо всем говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей — не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За все это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии: одна полагала, что «ротмистр — куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большеющие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорви-головы, для которых путь от суммы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

— Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? — жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

— Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города — и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех

дочек — девицы для упряжи вполне годные. А то разруште дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла: на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огордник Павлюгин спросил:

— А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

— Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу — ну и пускай!

— Некоторые дома попадать хотят...

— Не мешайте им, пускай падают! Упадут — дери с города вспомоществование; не даст — валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

— Вода — от дождя, скажут...

— Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит, да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоем дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вняла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более — признали необходимым проложить, со временем, по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся.

— Справедливо — одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста — верно!.. задумалась она немножко. Из-

вестно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я — посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилону скормить ей и селедку и капусту, — все это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

— Видел я, — говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину, — видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находится в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.

— Видел? Понравилось? — спрашивает Яшка.

Публика сдержанно смеется.

— Нет, не понравилось, — отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

— Кажись бы, я старался, — бравивирует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет». — Жена довольна, — не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры и, разглядывая их, говорит:

— Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам — значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства — денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным — и то скверно: свяжет мать и потребует лечения.

Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

— Верно, — подтверждает публика.

— Ну, это, чай, тово, — не случится! — говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем. — Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! — восклицает он с огорчением. — Чуть я что, — и пойдет меня есть, как ржа железо!

— Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену, — снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя, — у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

— Вот это верно, — восклицает Яков, — живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

— Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек — и терпит без вины перед тобой, — только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

— Оно так... чорт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

— Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам — бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека, — мораль кабака и несчастья.

— Что, брат Яша, понял?

— Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену — вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? — философствует калачник Мокей Анисимов. — Жена — друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь — цепь почуешь...

— Погоди, — говорит Яков, — ведь и ты свою бьешь?

— А я разве говорю — нет? Бью... Иначе невозможно... Кого же мне — стену, что ли, дуть кулаками, когда нестерпимеж приходит?

— Ну вот, и я тоже... — говорит Яков.

— Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

— И даже жену бей с оглядкой! — юмористически скорбит кто-то. Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызвали усиленную жажду обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилон.

Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

— Не горюй, братцы! Все имеет свой конец — это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у воробья — пиво.

Но его речи не действовали — глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселье вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоги ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств?

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Все относительно на этом свете, и нет в нем для человека такого положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пыстыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на ка-

кую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что, если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу, — о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду нагтыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

Перед глазами ротмистра стоял этот купец — маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой, клинообразной бородкой, с высоким, изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкают узкие, серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» — выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

— Энтот тот самый огарок — квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они составляют друг с другом в своем уменье оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в бусловии», как называл ротмистр свои разговоры

с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

— Сидишь? — спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его или же хочет изобразить поклон.

— Мыкаешься? — в тон ему сказал ротмистр и сделал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

— Денег у меня много — вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход, — дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

— Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю, — комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

— Али это не все равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

— Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги, обыкновенно, являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает... Совести меньше — денег больше...

— Это верно... А то есть люди, у которых ни денег, ни совести...

— Ты смолоду-то таким и был? — простодушно спрашивает Кувалда. Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван Андреевич вздыхает, щурит глазки и говорит:

— Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять пришлось!

— Я думаю...

— Работал я, ох как работал!

— А многих обработал?

— Таких, как ты? Дворян-то? Ничего, — достаточно их от меня христовой молитве выучились...

— Не убивал, только грабил? — режет ротмистр. Петунников зеленеет и находит нужным изменить тему.

— А хозяин ты плохой — сидишь, а гость стоит...

— Пусть и он сядет, — разрешает Кувалда.

— Да не на что, вишь...

— На землю... земля всякую дрянь принимает...

— Я это по тебе вижу... Однако пойти от тебя, ругателя, — ровно и спокойно сказал Петунников, но глаза его излили на ротмистра холодный яд.

Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в месяц он не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал себе кости. Сколько уже он создал остроумных комбинаций падения и всяческих увечий, глядя на Петунникова, лазившего по лесам, как паук по своей сетке. Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со своего места... Но — ничего не вышло.

И сегодня, как всегда, перед глазами Аристиды Кувалды торчит это красное здание, прочное, плотное, крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется над ротмистром зияющими дырами своих стен. Солнце льет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на уродливые домики Въезжей улицы.

«А вдруг! — мысленно воскликнул ротмистр, измеряя глазами стену завода. — Ах ты, чорт возьми! Если бы...» Весь встрепенувшись, возбужденный своей мыслью, Аристид Кувалда вскочил и торопливо пошел в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про себя.

Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием:

— Вашему благородию здоровья желаем!

Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера.

— Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть? — торопливо спросил Кувалда.

— Имею.

Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное.

— Покажи мне! — воскликнул ротмистр, стукая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.

— А зачем? — спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.

— Болван, неси скорей!

Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку.

— Где они у меня, эти самые бумаги?

На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу; тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке.

— Будет тебе кобениться, — прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.

— Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение...

— Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи мне сейчас план, купчую и все, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого — понял?

Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в дверь за буфетом. Через две минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже.

— Ан они, проклятые, дома!

— Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был... — не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув перед собой бумаги и все более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот, наконец, он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову:

— Погоди... не прячь их...

Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик выручки, запер его и подергал рукой — хорошо ли заперлось? По-

том он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидел, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, потом вдруг радостно просияло.

— Ристид Фомич! Неужто? — воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним.

— Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю...

— Вглубь?.. Десять сажен два аршина!

— Что, догадался, бритая харя?

— Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас — в землю вы на три аршина видите! — с восхищением воскликнул Вавилов.

Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:

— Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения, — очень приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоит! Мировую! Тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом — с битым кирпичом, с ямой под новый фундамент, — все высчитаем! Даже время примем в счет! И — позвольте, Иуда, две ты-ся-чи рублей!

— Не даст! — тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов.

— Врет! Даст! Ты пошевели мозгами — что ему делать? Ломать? Но — смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя будут — не продавайся дешево! Пугать будут — не бойся! Положись на нас...

Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать возможно скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый.

Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щури глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?

Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в каждом было это чувство в разных степенях его развития.

Две недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за все это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громила практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки.

Не идет, не идет мой ненаглядный-й...
Эх, знать, не любит он м-меня-а!

— пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-скорбно глядя в гору.

И вот однажды под вечер Петунников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера — краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а! — торжествуя, возгласил ротмистр.

Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происходившего.

— Что значит привычка воровать — человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдет, — соболезнавал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний.

— Ой, малый! — воскликнул, наконец, Петунников, взорванный насмешками, — гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!

— Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца, — предупредил ротмистр.

— Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, да ведь и на тебя найдется управа!

Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и погруженный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону.

— Молоденький паучок имеет хорошую выдержку, — заметил Обьедок, подробно проследив все действия и движения Петунникова-младшего.

Обмерив все, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.

— Ого! решительный молодой вор — да! Ну-ка, что будет дальше? — спросил Кувалда.

— А дальше Петунников-младший купит Егора Вавилова, — уверенно сказал Обьедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.

— А ты этому рад, что ли? — сурово спросил Кувалда.

— А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются, — с наслаждением объяснил Обьедок, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он

остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице.

Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к Обьедку, усмехнулся.

— А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и мокрицы... У тебя есть нюх на все подлое, да... Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего... Сколько взял с них Егорка? Он — взял. Он их же поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят! Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевков летит обратно в твои же глаза.

Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым заключена сделка. Сознание неумения причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто.

— Итак, — чего же мы тут торчим? Нам нечего больше ждать... кроме могарыча, который я сдерну с Егорки, — сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню. — Благодаренствуй и мирному житию нашему под кровлей Иуды — пришел конец. Попрет нас Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне департаменту санкюлотов.

Конец мрачно засмеялся.

— Тюремщик, ты чего? — спросил Кувалда.

— Куда ж я пойду?

— Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя ответит на него, не беспокойся, — задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво двинулись за ним.

— Мы подождем критического момента, — говорил ротмистр, шагая среди них. — Когда нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами... В критические моменты человек становится энергичнее... и если б жизнь, во всей ее совокупности, сделать сплошным критическим моментом, если б каждую секунду человек принужден был дрожать за целостность своей башки... ей-богу, жизнь была бы более живой, люди более интересными!

— То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу, — пояснил Обьедок, улыбаясь.

— Ну, так что же? — задорно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли пояснялись.

— А ничего, — это хорошо. Когда хотят скорее куда-нибудь доехать, лошадей бьют кнутом, а машины раздражают огнем.

— Ну, да! Пусть все скачет к чорту на кулички! Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других...

— Свирепо! — усмехнулся Обьедок.

— Так что? Я — бывший человек, — так? Я отвержен — значит, я свободен от всяких пут и уз... Значит, я могу наплевать на все! Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону все старое... все манеры и приемы отношений к людям, существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я отстал от них, я должен воспитать в себе что-то новое — понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде моей представительной фигуры — трепет хладный в печенках ощущали!

— Экий у тебя язык храбрый, — смеялся Обьедок.

— Эх ты!.. — презрительно оглядел его Кувалда. — Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты думать? А я — думал... И читал книги, в которых ты не понял бы ни слова.

— Еще бы! Где мне щипать лаптем хлебать... Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли...

— Пошел к чорту! — вскричал Кувалда.

Его разговоры с Обьедком всегда так кончались. Вообще без учителя его речи, — он сам это знал, — только воздух портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним; но не говорить — он не мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Симцову:

— Ну, а ты, Алексей Максимович, куда приклонишь свою седую голову?

Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой нос и объявил:

— Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил, да еще!

— Почтенная, хотя и простая задача! — похвалил его ротмистр.

Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его женщины очень любят. Это была правда: старик всегда имел двух-трех любовниц-проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины — причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношений к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо починенным и более чистым, чем костюмы товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовут Редька жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.

Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали — она жила недалеко под горой и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

— Ишь ты, старый чорт! — выругался Обьедок, глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.

— А почему они меня любят? Потому что я знаю, чем жива их душа...

— Н-да? — вопросительно воскликнул Кувалда.

— Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, — хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и — убьет...

— Это я убью! — решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой.

— Кого? — спросил Обьедок, отодвигаясь от него в сторону.

— Все равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

— Зачем? — осведомился Кувалда.

— Хочу в Сибирь... Мне надоело это... Подлая жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...

— Д-да, там укажут подробно, — меланхолически согласился ротмистр.

О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему.

Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство: в нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не возбуждал других к такому насилию над собой.

Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесанные головы — хаотическое соединение царства растительного с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян — высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения услаждали взоры никому не нужных людей...

А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена.

Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой:

— Егор Терентьевич Вавилов — это вы и есть?

— Точно так! — ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него.

— Имею к вам дело, — заявил Петунников.

— Вполне приятно... Пожалуйста в комнаты!

Они прошли в комнаты и сели — гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным

трехстворчатым киотом, на стене, около него, висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально рассмотрели друг друга и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова, Вавилову — открытое, холодное и решительное лицо Петунникова с широкими, крепкими скулами и частыми, белыми зубами.

— Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить! — начал Петунников.

— Насчет иску... я так полагаю, — почтительно сказал унтер.

— Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души, — поощрил Петунников собеседника.

— Солдат я... — скромно сказал тот.

— Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.

— Вот именно.

— Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.

— Покорно благодарю, — сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.

— Но, скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко, — прямо с суда?

Вавилов пожал плечами и смолчал.

— Было бы проще прийти к нам и устроить все миром — а? Как вы думаете?

— Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну, — уж поздно.

— Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?

— В этом роде...

— Ну-с, так желаете кончить дело миром?

— С полным удовольствием! — воскликнул солдат.

Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил:

— А почему вы этого желаете?

Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петунникова-сына.

— Известно почему... с людьми надо стараться жить в мире.

— Ну, — перебил его Петунников, — это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.

Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как, бывало, говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу по три зуба.

— Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее полутораста человек, со временем — более. Если сто из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на четыреста стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгодность нашего соседства.

— Это верно-с, — кивнул головой Вавилов, — это я знал.

— И что же? — громко осведомился купец.

— Ничего-с... Давайте помиримся...

— Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензии против отца. Прочитайте и подпишите.

Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.

— Позвольте... подписать? А как же это?

— Просто, вот напишите имя и фамилию и больше ничего, — обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петунников.

— Нет — это что-о! Я не про это... Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?

— Да ведь вам эта земля ни к чему! — успокоительно сказал Петунников.

— Однако она моя! — воскликнул солдат.

— Конечно... А сколько вы хотели бы?

— Да хоть бы — по иску... Как там прописано, — робко заявил Вавилов.

— Шестьсот? — Петунников мягко засмеялся. — Ах вы чудак!

— Я имею право... Я могу хоть две тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую — ломать!

— Валяйте... Мы, может быть, и ломаем... года через три, втянув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше вашей — вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся.

Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя пред лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.

— А в таком близком соседстве с нами находясь и в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете — табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее... Все это будет иметь хороший сбыт.

Вавилов слушал и, как неглупый малый, понимал, что отдаться на великодушие врага — всего лучше. С этого и надо бы начать. И, не зная, куда девать свою злобу, солдат вслух обругал Кувалду:

— Пьяница, ан-нафема!

— Это вы того адвоката, который сочинял вам прошение? — спокойно спросил Петунников и, вздохнув, добавил: — Действительно, он мог сыграть с вами скверную шутку, если б мы не пожалели вас.

— Эх! — махнул рукой огорченный солдат. — Двое тут... Один нашел, другой писал... Корреспондент проклятый!

— Это почему же — корреспондент?

— Пишет в газеты... Всё — ваши постояльцы... Вот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбойники!

Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья нет от них, — отчаянные люди — того гляди, ограбят или подожгут...

— А этот корреспондент, — он кто такой? — заинтересовался Петунников.

— Он? Пьяница! Учителем был — выгнали. Прописался, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый человек!

— Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с! Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке, — леса там, что ли, нашел неправильно поставленными.

— Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и хвалился — вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.

— Н-да... Ну-с, так как же вы — мириться намерены?

— Мириться?

Солдат опустил голову и задумался.

— Эх ты, жизнь наша темная! — с обидой в голосе воскликнул он, почесав затылок.

— Учиться надо, — порекомендовал ему Петунников, закуривая папиросу.

— Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой! Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу... с постоянной оглядкой... вполне лишен свободы желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот кикимора учитель в газетах пишет на меня... санитарный надзор навлекает, штрафы плачу... Постояльцы ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их — они даже рады — хлеб им даровой.

— А вот мы их устраним, — если сойдемся с вами, — пообещал Петунников.

— Как же мы сойдемся? — с тоской и угрюмо спросил Вавилов.

— Говорите ваши условия.

— Да что же? Шестьсот по иску...

— Сто рублей не возьмете? — спокойно спросил купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко улыбнувшись, добавил: — Больше не дам ни рубля...

После этого он снял очки и медленно стал вытирать их стекла вынутым из кармана платком. Вавилов смотрел на него с тоской в сердце и в то же время проникался

почтением к нему. В спокойном лице молодого Петунникова, в его серых, больших глазах, в широких скулах, во всей его коренастой фигуре было много силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов понимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рассматривая его, почти любуясь им, он не вытерпел и, ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту заглушившего все остальные его ощущения, почтительно спросил Петунникова:

— Где изволили учиться?

— В технологическом институте. А что? — вскинул тот на него улыбавшиеся глаза.

— Ничего-с, это я так, — извините! — Солдат понурил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже вдохновенно воскликнул: — Н-да! Вот оно, образование-то! Одно слово, — наука — свет! А наш брат, — как сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше благородие! Давайте кончим дело?

Он решительным жестом протянул руку Петунникову и сдавленно сказал:

— Ну — пятьсот?

— Не больше ста рублей, Егор Терентьевич, — как бы сожалея, что больше дать не может, пожал плечами Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей белой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел навстречу желанию Петунникова крупными скачками, а тот был непоколебимо тверд. И, когда Вавилов получил сто рублей и подписал бумагу, — он ожесточенно бросил перо на стол и воскликнул:

— Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться! Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!

— А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму иска, — предложил Петунников, спокойно пуская изо рта тонкие струйки дыма и следя за ними.

— Да разве они этому поверят? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавилов остановился во-время, смущенный едва не сказанным сравнением, и с боязною взглянул на купеческого сына. Тот курил, весь был поглощен этим занятием. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову разорить гнездо беспокойных людей. Вавилов смотрел ему вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крикнуть что-нибудь злое и обидное в спину этого человека, твердыми шагами поднимавшегося в гору по дороге, изрытой ямами, засоренной мусором.

Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался навстречу ему.

— Н-ну, достойный потомок Каина и Иуды, рассказывай...

— Порешили, — сказал Вавилов, вздохнув и опуская глаза.

— Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?

— Четыреста целковых...

— Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за открытие, четвертную учителю за написание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам.

Вавилов позеленел и широко открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы, Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...

Кувалда взглянул на часы за стойкой.

— Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конец тебе кое-что продал? Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего — помешаем. И сегодня же ночью... Понял?

— Аристид Фомич! За что? — взвыл отставной унтер.

— Без слов! Понял или нет?

Высокий, седой и внушительно нахмурившийся Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще гудел в пустой харчевне. Вавилов всегда немножко

боялся его, как бывшего военного и человека, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним в новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а в том, что он говорил тоном командира, уверенного в повиновении, звучала нешуточная угроза. И Вавилов чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет, погубит с удовольствием. Нужно было покориться силе. Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз попробовал вернуться от кары. Он глубоко вздохнул и смиренно начал:

— Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич... хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я получил только...

— Дальше, — бросил ему Кувалда.

— А не четыреста, как сказал вам. Значит...

— Ничего не значит. Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят пять рублей. Это скромно... Ну?

— Эх, господи боже мой! Я вашему благородию всегда, сколько мог, оказывал внимания.

— Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!

— Извольте, — я дам... Только вас бог накажет за это.

— Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! — гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами. — Я наказан богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя, говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!

Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зубами, оскалив их.

Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и ушащенно моргать глазами. Потом по щекам его покатались две крупные слезы. Они были какие-то серые, и, когда скрылись в его усах, две другие явились на их место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, встал там перед образами и так стоял долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых коричневых щек.

Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но рот-

мистр и все остальные единодушно обругали и дьякона и природу, решив пить у себя на дворе.

— Один, два, три... — считал Аристид Фомич, — итого нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать персон. По два с половиной огурца на брата, по фунту хлеба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылке... Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои, мерзавцы? Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это — кровь и плоть его!

На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили пития и яства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить, сверкавшее у всех в глазах.

Наступал вечер, тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо.

— Приступим, братия! — скомандовал ротмистр. — Сколько чаш имеем мы? Шесть, — а нас — тринадцать... Алексей Максимович! наливай! Готово? Н-ну, перрррвый взвод... пли!

Выпили, крикнули и стали есть.

— А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видал? — спросил Кувалда.

— Никто...

— Это не в его характере! Ну, все равно. Выпьем еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, черт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он на некоторое время лишил меня своего общества.

— Это остроумно, — сказал Обьедок и закашлялся.

Ротмистр с сознанием своего превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел.

Выпив дважды, компания сразу оживилась — порции были внушительные. Полтора Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в спор с Кубарем о преимуществах худых женщин пред толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая

Кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами. Обедок дразнил Тяпұ.

— Я уже подсмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь!

— Твое счастье, — хрипел Тяпұ.

— Я, брат, у тебя их поддедуюлю!

— Бери...

Кувалде было скучно с этими людьми: среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его.

— Где бы это мог быть учитель? — вслух подумал он.

Мартьянов посмотрел на него и сказал:

— Придет...

— Я уверен, что он именно придет, а не в карете придет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их? Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... как Илья Муромец бил татар татаринном. С деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он — пойдет... дать ему сто рублей в месяц — и пойдет! Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать...

— И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоит, — убедительно говорил дьякон. — Первая дьяконица моя покупала на платье двенадцать аршин, а вторая десять... Так же и в пище...

Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил:

— У меня тоже была жена...

— Это со всяким может случиться, — заметил Кувалда. — Ври дальше...

— Была худая, но ела много... И даже от этого померла...

— Ты отравил ее, кривой, — убежденно сказал Обьедок.

— Нет, ей-богу! Она севрюги объелась, — рассказывал Полтора Тараса.

— А я тебе говорю — ты ее отравил! — решительно утверждал Обьедок.

С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.

Дьякон вступился за друга.

— Нет, он отравить не мог... не было причины...

— А я говорю — отравил! — взвизгнул Обьедок.

— Молчать! — грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению, — опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутылку водки, уже наполовину пустую. Тяпà смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Обьедок лежал на животе и кашлял, съежив все свое маленькое тело. Остальные — всё молчаливые и темные фигуры — сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.

Жила-была в Суздале
Барыня незнатная,
И с ней случилась судорга
Оч-чень неприятная!

— вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал.

Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:

— Ишь какие черти!

Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крикнули...

— Ну, и тоска же! — воскликнул дьякон. — Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вавилонских»!

— Он разве умеет? — спросил Симцов.

— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был... Ну, Кривой... На-а-ре-е-е-ка-а...

Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.

Объятый тьмою выморочный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.

— Вы, собаки! Погодите выть... — сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. — Кто-то едет... на пролетке...

Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:

— Ну, где же?

Кто-то ответил:

— А вон к тому дому, должно быть.

— Дальше не поеду...

— Это к нам! — воскликнул ротмистр.

— Полиция! — прозвучал тревожный шопот.

— На пролетке-то! Дурак! — глухо сказал Мартьянов.

Кувалда встал и пошел к воротам.

Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.

— Это ночлежный дом? — спрашивал кто-то дребезжащим голосом.

— Да, — прогудел недовольный бас ротмистра.

— Здесь жил репортер Титов?

— Это вы его привезли?

— Да...

— Пьяный?

— Болен!

— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

— Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите подмышки... Был доктор. Очень скверно...

Тяпá встал и медленно пошел к воротам, а Объедок усмехнулся и выпил.

— Зажгите-ка огонь там! — крикнул ротмистр.

Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком ввели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи

Тяпы его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.

— Мы с ним в одной газете работали... Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете...» Но он молит меня: «Отправьте домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и вот привез его... Ведь это именно здесь... да?

— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? — грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга. — Тяпа, ступай принеси холодной воды!

— Так вот... — смущенно помялся человек. — Я полагаю... я не нужен ему?

— Вы? — Ротмистр критически посмотрел на него.

Человек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.

— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много... — сказал ротмистр, отворачиваясь от человека.

— Значит, до свидания! — Человек пошел к двери и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится... вы известите в редакцию... Моя фамилия — Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы...

— Гм! некролог, говорите? Двадцать строк — сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог, дня на три хватит... у него ноги толстые... Ели же вы его все там живого...

Человек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:

— Филипп!

Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.

— Это, брат, нелепо! — сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмутив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней

дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.

Пришел Тяпá с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.

— Не надо воды, — махнул рукой ротмистр.

— Попа надо, — уверенно сказал старый тряпичник.

— Ничего не надо, — решил ротмистр.

Они помолчали, глядя на учителя.

— Пойдем выпьем, старый чорт!

— А он?

— Ты ему поможешь?

Тяпá повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.

— Что там? — спросил Обьедок, обращая к ротмистру свою острую морду.

— Ничего особенного. Умирает человек... — кратко сообщил ротмистр.

— Избили его? — поинтересовался Обьедок.

Ротмистр не ответил, он пил водку.

— Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить, — сказал Обьедок, закуривая папиросу.

Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл:

— Иде же праведнии у-по-ко-я-ются-а!

— Ты! — зашипел Обьедок, — что орешь?

— Дай ему в рожу! — посоветовал ротмистр.

— Дурак! — раздался хрип Тяпá. — Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами, грозившем дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось — вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на группу этих людей.

— А... скверно на душе, когда умирает человек близкий... — заикаясь, проговорил ротмистр и склонил голову на грудь.

Никто ему не ответил.

— Среди вас — он был лучший... самый умный и порядочный... Мне жалко его...

— Со-о святы-ими упоко-ой... пой, кривая шельма! — забурлил дьякон, толкая в бок своего друга, дремавшего рядом с ним.

— Молчать!.. ты! — злым шопотом воскликнул Обьедок, вскакивая на ноги.

— Я его ударю по башке, — предложил Мартьянов, поднимая голову с земли.

— А ты не спишь? — необычайно ласково сказал Аристид Фомич. — Слышал? Учитель-то у нас...

Мартьянов тяжело завозился на земле, встал, посмотрел на полосы света, исходившего из двери и окон ночлежки, качнул головой и молча сел рядом с ротмистром.

— Выпьем? — предложил тот.

Ощупью отыскав стаканы, они выпили.

— Пойду посмотрю... — сказал Тяпà, — может, ему надо чего.

— Гроб надо... — усмехнулся ротмистр.

— Не говорите вы про это, — глухим голосом попросил Обьедок.

За Тяпòй встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел встать, но свалился набок и громко выругался.

Когда Тяпà ушел, ротмистр ударил по плечу Мартьянова и вполголоса заговорил:

— Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен чувствовать... Ты был... впрочем, к чорту это. Жалко тебе Филиппа?

— Нет, — помолчав, ответил бывший тюремщик. — Я, брат, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь...

— Да? — неопределенно произнес ротмистр. — Ну... что же? Выпьем еще!

— Н-наше дел-ло маленькое... выпил — да еще-о! Это проснулся и блаженным тоном пропел Симцов.

— Братцы?! Кто тут? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился, ткнувшись головой в чей-то бок.

Минуты две продолжалось молчание, такое же темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то зашептал...

— Что? — раздался вопрос.

— Я говорю, славный он парень был. Голова, тихий такой, — говорили вполголоса.

— Деньги имел... и не жалел их для своего брата... — И опять наступило молчание.

— Кончается! — раздался хрип Тяпы над головой ротмистра.

Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.

— Пошто идешь? — остановил его Тяпа. — Не ходи. Пьяный ведь ты... нехорошо!

Ротмистр остановился, подумал:

— А что хорошо на этой земле? Пошел ты к чорту!

По стенам ночлежки всё прыгали тени, как бы молча борясь друг с другом. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное и — не мог и невыразимо страдал от этого.

Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину, и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил, болезненно наморщив лоб:

— Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди — скоты, ты был для меня — человек... хотя ты пьяница! Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою... и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...

Таинственная, все уничтожающая сила, именуемая смертью, как бы оскорбленная присутствием этого пьяного человека при мрачном и торжественном акте ее борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое бесстрастное дело, — учитель, глубоко вздохнув, тихо простонал, вздрогнул, вытянулся и замер.

Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.

— Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей! Зачем,

говоря прямо, сдерживать себя... Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради?..

Он взял его за ногу и потянул к себе.

— А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи... Завтра я все это разъясню тебе и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе... А теперь спи... если ты не умер...

Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к своим, объявил:

— Уснул... или умер... Не знаю... Я н-немножко пьян...

Тяпá еще более согнулся, осеняя свою грудь крестным знаменiem. Мартъянов молча поежился и лег на землю. Обьедок стал быстро возиться на земле, вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:

— Чорт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же? Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рассказывать? Придет время — я сам умру... не хуже его... Не хуже я других.

— Это верно! — громко говорил ротмистр, грузно опускаясь на землю. — Придет время, и все мы умрем не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это пустяки! Но мы умрем — как все. В этом — цель жизни, верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть. И умирает... И если это так — не все ли равно, как он жил? Мартъянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока живы...

Накрапывал дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света, исходившая из ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла. Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин. Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерешительно. С горы из города неслись унылые, редкие удары в колокол — сторожили церковь.

Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический вздох металла.

Наутро первым проснулся Тяпá.

Повернувшись на спину, он посмотрел на небо — изуродованная шея его только в этом положении позволяла ему видеть небо над головой.

Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился срой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв собою голубую беспредельность, изливал на землю уныние. Тяпá перекрестился и привстал на локте, чтоб посмотреть, не осталось ли где водки. Бутылка была пустая. Перелезая через товарищей, Тяпá стал осматривать чашки. Одну из них он нашел почти полной, выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо ротмистра.

— Вставай... эй! Слышь?

Ротмистр поднял голову, глядя на него тусклыми глазами.

— Надо полиции заявить... ну, вставай!

— А что? — сонно и сердито спросил ротмистр.

— Что умер он...

— Это кто?

— Ученый-то...

— Филипп? Да-а!

— А ты забыл... эхма! — укоризненно хрипел Тяпа.

Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся так, что у него кости хрустнули.

— Так иди ты, объяви...

— Я не пойду... не люблю я их, — угрюмо сказал Тяпá.

— Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.

Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр подумал, что, если б учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпá, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел:

— Да... вот и умер... И я умру скоро...

— Тебе пора, — хмуро сказал ротмистр.

— Пора уж! — согласился Тяпá. — И тебе тоже надо бы умереть... Все лучше, чем так-то...

— А может, хуже? Ты почему знаешь?

— Хуже не будет. Помрешь — с богом будешь иметь дело... А тут с людьми... А люди — что они значат?

— Ну ладно, не хрипи, — сердито оборвал его Кувалда.

В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо.

Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом Тяпá спросил:

— Хоронить его ты будешь?

— Я? Нет! Полиция пускай хоронит.

— Ну! Чай, ты схорони... ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги... Я дам, коли не хватит...

— Деньги его у меня... а хоронить не стану.

— Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заешь хочешь... — пригрозил Тяпá.

— Глуп ты, старый чорт, — презрительно сказал Кувалда.

— Не глуп я... а только нехорошо, мол, не по-дружески.

— Ну и ладно. Отвяжись!

— Ишь! А сколько денег-то?

— Четвертная... — рассеянно сказал Кувалда.

— Вона!.. Дал бы мне хоть пятерочку...

— Экой ты мерзавец, старик... — равнодушно посмотрев в лицо Тяпá, сказал ротмистр.

— Право, дай...

— Пошел к чорту!.. Я ему на эти деньги памятник устрою.

— На что ему?

— Куплю жернов и якорь. Жернов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему... Это будет очень тяжело...

— Зачем? Чудишь ты...

— Ну... не твое дело.

— Я, смотри, скажу... — снова пригрозил Тяпá.

Аристид Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.

— Слышь... едут! — сказал Тяпá, встал и ушел из ночлежки.

Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя:

— Отчего он умер?

— Спросите у него... Я думаю, от непривычки...

— Что такое? — спросил следователь.

— Я говорю — умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал...

— Гм... да! А он давно хворал?

— Вытащить бы его сюда, не видно там ничего, — предложил доктор скучным тоном. — Может быть, есть знаки...

— Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его, — приказал пристав Кувалде.

— Зовите сами... Он мне не мешает и тут... — равнодушно отозвался ротмистр.

— Ну! — крикнул полицейский, делая свирепое лицо.

— Тпру! — отпарировал Кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.

— Я, черт возьми!.. — крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью. — Я вам этого не спущу! Я...

— Добренького здоровьица, господа честные! — сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в дверях.

Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил:

— Что это здесь? Никак человека убили?

— Да вот что-то в этом роде, — ответил ему следователь.

Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:

— А, господи боже мой! Как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай! Потом

придешь домой, и все такое начинает мерещиться — боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину этому, вот... главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но боюсь все... знаете... народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не того...

Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.

— Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них... совершенно атаман разбойников.

— А вот мы его пощупаем, — многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами. — Он мне тоже хорошо известен!..

— Да, мы с тобой, брат, старые знакомые... — подтвердил Кувалда фамильярным тоном. — Сколько я тебе и присным твоим взток за молчание переплатил!

— Господа! — воскликнул пристав, — вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А-а! Так вот что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сок-ращу, мой друг...

— Не хвались на рать идучи... — спокойно говорил Аристид Фомич.

Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следовательно со зловещим вниманием, Петунников с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакивая на него.

В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.

— Однако давайте же что-нибудь делать, господа! — предложил доктор.

Мартянов сорчил страшную гримасу и вдруг — чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.

— Видите? — тревожно сказал купец, указывая на Мартянова. — Вот какие люди! а?

Кувалда хохотал. Доктор и следовательно смеялись, а к дверям ночлежки подходили все новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на го-

любах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.

— Куда лезете! — усовещивал их городской, дергая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был один, а их много, и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и зловещие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенное обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:

— Господа! Может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Все равно — рано или поздно, вам придется, по обязанностям службы, знакомиться с ними...

Доктор смущенно засмеялся. Следователь плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:

— Сидоров! Свисти... скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу...

— Ну, а я пойду! — сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла. — Квартирку вы мне сегодня освободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь к полиции...

На дворе пронзительно рокотал свисток полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее обитатели, позевывая и почесываясь.

— Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!.. — смеялся Аристид Кувалда.

Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в ноги покойника.

— Господи благослови... на погребение грешного праха...

— Что-о? — гаркнул ротмистр. — Ты — на погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю... мер-звец! Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши... разражу!

— Ваше благородие! — испуганно крикнул купец, хватая пристава за локти. Доктор и следователь выскочили вон, пристав громко звал:

— Сидоров, сюда!

Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом, оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.

Кувалда, потрясая кулаком над головой Петунникова, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:

— Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь — бери, говорю... а то я в зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунников протянул дрожащую руку к своей лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды, говорил:

— Будьте свидетелем, господин пристав, и вы, добрые люди.

— Мы, купец, недобрые люди, — раздался дребезжащий голос Обьедка.

Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел, а другую руку держал в воздухе над головой Петунникова, извивавшегося перед ним так, точно он хотел влезть ему в живот.

— Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги целовать у этого трупа? Х-хочешь?

И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда швырнул его, как котенка, к двери.

Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать купцу место для падения. И он растянулся у их ног, испуганно и бешено воя:

— Убивают! Караул... убили-и!

Мартьянов медленно поднял свою ногу, прицеливаясь ею в голову купца. Обьедок со сладострастным выражением на своей физиономии плюнул в лицо Петунникова. Купец сжался в маленький комочек и, упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор, поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду, кричал:

— Арестовать! Связать!

— Вяжите его, голубчики! — умолял Петунников.

— Не смей! Я не бегу... я сам пойду, — говорил Кувалда, отмахиваясь от городских, подбегавших к нему.

Бывшие люди исчезали один по одному. Телега въехала во двор. Какие-то унылые оборванцы уже тащили из ночлежки учителя.

— Я т-тебя, голубчик... погоди! — грозил пристав Кувалде.

— Что, атаман? — ехидно спрашивал Петунников, возбужденный и счастливый при виде врага, которому вязали руки. — Что? Попал? Погоди! То ли еще будет!..

Но Кувалда молчал. Он стоял между двух полицейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя взваливали на телегу. Человек, державший труп подмышки, был низенького роста и не мог положить головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе, точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не дававших ему покоя.

— Веди его, — скомандовал пристав, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим окаменелым лицом пошел за ним. Двор купца Петунникова быстро пустел.

— Н-но, поехали! — взмахнул извозчик вожжами над крупом лошади.

Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот, наконец, он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее, — никогда не воротится... Петунников, провожая его взглядом, благочестиво перекрестился, потом тщательно начал обивать своим картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по мере того, как пыль исчезала с его поддевки, на лице его являлось спокойное выражение довольства. Со двора ему видно было, как по улице в гору шел ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышком, похожим на полосу крови.

Петунников улыбнулся улыбкой победителя и пошел к ночлежке, но вдруг остановился, вздрогнув. В дверях против него стоял с палкой в руке и с большим мешком за плечами страшный старик, ершистый от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело, согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь так, точно он хотел броситься на купца.

— Ты что? — крикнул Петунников. — Ты кто?

— Человек, — раздался глухой хрип.

Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он даже улыбнулся.

— Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?

И, посторонившись, он пропустил мимо себя старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:

→ Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на чистенького человека с острой седой бородкой, ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.

МАЛЬВА

Море — смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, избежавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море — тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, избегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его.

Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в море. Вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, она теряла свое основание вдали, где знойная мгла скрывала землю. Оттуда, с ветром, прилетал тяжелый запах, непонятный и оскорбительный здесь, среди чистого моря, под голубым, ясным кровом неба.

В песок косы, усеянной рыбьей чешуей, были воткнуты деревянные колья, на них висели невода, бросая

от себя паутину теней. Несколько больших лодок и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили их к себе. Багры, весла, корзины и бочки беспорядочно валялись на косе, среди них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков и рогож. Перед входом в него на суковатой палке торчали, подошвами в небо, валяные сапоги. И над всем этим хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от ветра.

В тени одной из лодок лежал Василий Легостев, караульщик на косе, передовом poste рыбных промыслов Гребенщикова. Лежал он на груди и, поддерживая голову ладонями рук, пристально смотрел в даль моря, к едва видной полоске берега. Там, на воде, мелькала маленькая черная точка, и Василию было приятно видеть, как она все увеличивается, приближаясь к нему.

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: это едет Мальва. Она придет, захочет, грудь ее станет соблазнительно колыхаться, обнимет его мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, вскипятят чайник чая, напьются со вкусными баранками и лягут спать... Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю, в предрассветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, а он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так...

В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах без криков, без обычного хищного оживления.

Василию показалось, что в лодке не одна Мальва. Неужели опять Сережка привязался к ней? Василий тяжело повернулся на песке, сел и, прикрыв глаза ладонью, с тревогой в сердце стал рассматривать, кто еще там едет? Мальва сидит на корме и правит. Гребец —

не Сережка, гребет он неумело, с Сережкой Мальва не стала бы править.

— Эй! — нетерпеливо крикнул Василий.

Чайки на песке дрогнули и насторожились.

— Эй-эй... — донесся с лодки звонкий голос Мальвы.

— С кем ты?

В ответ донесся смех.

— Чертовка! — негромко выругался Василий и сплюнул.

Ему очень хотелось знать, кто это едет там; свертывая папиросу, он упорно смотрел в затылок и спину гребца. Звучный плеск воды под ударами весел раздается в воздухе, песок скрипит под босыми ногами караульщика.

— Это кто с тобой? — крикнул он, когда различил знакомую ему улыбку на красивом лице Мальвы.

— А вот погоди, узнаешь! — со смехом отозвалась она.

Гребец обернулся лицом к берегу и, тоже смеясь, взглянул на Василия.

Караульщик нахмурил брови, вспоминая, — кто этот как будто знакомый ему парень?

— Ударь сильнее! — скомандовала Мальва.

Лодка с размаха почти до половины всползла на песок вместе с волной и, покачнувшись набок, стала, а водна скатилась назад, в море. Гребец выскочил на берег и сказал:

— Здравствуй, отец!

— Яков! — подавленно воскликнул Василий, более изумленный, чем обрадованный.

Они обнялись и поцеловались по три раза в губы и щеки; на лице Василия удивление смешалось с радостью и смущением.

— То-то я смотрю... и что-то тово оно, — сердце зудит... Ах, ты, — как это ты? На-ко! А я смотрю — Сережка? Нет, вижу, не Сережка! Ан — это ты!

Василий одной рукой гладил бороду, а другой махал в воздухе. Ему хотелось взглянуть на Мальву, но в его лицо уставились улыбающиеся глаза сына, и ему было неловко от их блеска. Чувство довольства собой за то, что у него такой здоровый, красивый сын, боролось в нем с чувством смущения от присутствия любовницы. Он

переступал с ноги на ногу, стоя перед Яковым, и один за другим кидал ему вопросы, не дожидаясь ответа на них. В голове у него все как-то спуталось, и особенно нехорошо стало ему, когда раздались насмешливые слова Мальвы:

— Да ты не юли уж... с радости-то! Веди его в шалаш да угощай...

Он обернулся к ней. На губах ее играла усмешка, незнакомая ему, и вся она — круглая, мягкая и свежая, как всегда, в то же время была какая-то новая, чужая. Она переводила свои зеленоватые глаза с отца на сына и грызла арбузные семечки белыми, мелкими зубами. Яков тоже с улыбкой рассматривал их, и несколько неприятных Василию секунд все трое молчали.

— Я сейчас! — вдруг заторопился Василий, двигаясь к шалашу. — Вы уходите от солнца-то, а я наберу воды, пойду... уху будем варить! Я тебя, Яков, та-акой ухой накормлю! Вы тут тово... располагайтесь, я сию минуту...

Он схватил с земли у шалаша котелок, быстро пошел куда-то в невода и скрылся в серой массе их складок.

Мальва и его сын тоже пошли к шалашу.

— Ну вот, молодец хороший, я доставила тебя к отцу, — говорила Мальва, искоса оглядывая коренастую фигуру Якова.

Он повернул к ней свое лицо в кудрявой темнорусой бороде и, блеснув глазами, сказал:

— Да, приехали... А хорошо тут, — море-то какое!

— Широкое море... Ну, что же, — сильно постарел отец?

— Нет, ничего. Я думал — он седее, а у него еще мало седины-то... И крепкий...

— Сколько, говоришь, время вы не видались?

— Годов пять, чай... Как уходил он из деревни — мне в ту пору семнадцатый шел...

Они вошли в шалаш, где было душно, а от рогож пахло соленой рыбой, и сели там: Яков — на толстый обрубок дерева, Мальва — на кучу кулей. Между ними стояла перерезанная поперек бочка, дно ее служило столом. Усевшись, они молча, пристально посмотрели друг на друга.

— Стало быть, здесь работать хочешь? — спросила Мальва.

— Да вот... не знаю я... Коли найдется что — буду.

— У нас найдется! — уверенно пообещала Мальва, ощупывая его своими зелеными, загадочно прищуренными глазами.

Он не смотрел на нее, вытирая рукавом рубахи потное лицо.

Вдруг она засмеялась.

— Мать-то, чай, отцу наказы да поклоны с тобой прислала?

Яков взглянул на нее, нахмурился и кратко сказал:

— Известно... А что?

— Ничего!

Смех ее не нравился Якову, — он точно поддразнивал его. Парень отвернулся от этой женщины и вспомнил наказы матери.

Проводив его за околицу деревни, она оперлась на плетень и быстро говорила, часто моргая сухими глазами:

— Скажи ты ему, Яша... Христа ради, скажи ты ему — отец, мол!.. Мать-то одна, мол, там... пять годов прошло, а она все одна! Стареет, мол!.. скажи ты ему, Яковушка, ради господа. Скоро старухой мать-то будет... одна все, одна! В работе все. Христа ради, скажи ты ему...

И она безмолвно заплакала, спрятав лицо в передник.

Тогда Якову не было жалко ее, а теперь стало жалко... Взглянув на Мальву, он сурово повел бровями.

— Ну, вот и я! — воскликнул Василий, являясь в шалаш с рыбой в одной руке и ножом — в другой.

Он уже справился со своим смущением, глубоко скрыв его внутри себя, и теперь смотрел на них спокойно, только в движениях его явилась несвойственная ему суетливость.

— Вот сейчас запалю я костер... и приду к вам... поговорим! Ах, Яков, а?

И он опять ушел из шалаша.

Мальва, не переставая грызть семечки, бесцеремонно разглядывала Якова, а он старался не смотреть на нее, хотя ему этого очень хотелось.

Потом, так как молчание стесняло его, он сказал вслух:

— А котомку-то я в лодке оставил, — пойти взять!

Неторопливо поднявшись с места, он вышел, на смену ему в шалаш явился Василий и, наклонясь к Мальве, заговорил торопливо и сердито:

— Ну, на что ты-то приехала с ним? Что я про тебя скажу ему? Кто ты мне?

— Приехала, да и все! — коротко сказала Мальва.

— Эх, ты... несообразная баба! Как я теперь буду? Так прямо ему в глаза и тово... сразу?.. У меня жена дома-то! Мать ему... Должна ты была это сообразить!

— Очень нужно мне соображать! Боюсь я его, что ли? Али тебя? — спросила она, пренебрежительно шуря свои зеленые глаза. — А как ты давеча завертелся перед ним! То-то смешно мне было!

— Смешно тебе! А я как буду?

— А ты думал бы об этом раньше!

— Да я знал, что ли, что его так вот вдруг выбросит сюда из моря-то?

Скрипел песок под ногами Якова, и они оборвали свой разговор. Яков принес легонькую котомку, бросил ее в угол и искоса, недобрыми глазами, взглянул на женщину.

Она с увлечением щелкала семечки, а Василий присел на обрубок, потер руками колени и с улыбкой заговорил:

— Так вот ты, значит, и явился... как это ты надумал?

— Да так... Писали мы тебе...

— Когда? Я никакого письма не получал!..

— Ну? А мы писали...

— Потерялось, видно, письмо-то, — огорчился Василий. — Ишь ты, чорт его возьми... а? Когда нужно — оно и потерялось...

— Стало быть, ты не знаешь наших-то делов? — спросил Яков, недоверчиво взглянув на отца.

— Да откуда? Не получал я письма!

Тогда Яков рассказал ему, что лошадь у них пала, хлеб весь они съели еще в начале февраля; заработков не было. Сена тоже не хватило, корова чуть с голоду не сдохла. Пробились кое-как до апреля, а потом ре-

шили так: ехать Якову после пахоты к отцу, на заработки, месяца на три. Об этом они написали ему, а потом продали трех овец, купили хлеба да сена, и вот Яков приехал.

— Вот оно что! — воскликнул Василий. — Та-ак... А... как же вы... денег я вам посылал...

— Велики ли деньги? Избу чинили... Марью замуж выдали... Плуг я купил... Ведь пять годов... время-то прошло!

— Да-а! Не хватило, значит? Такое дело... А уха-то у меня сбежит! — Он встал и вышел вон.

Присев на корточки перед костром, над которым висел закипавший котелок, сбрасывая пену в огонь, Василий задумался. Все, что рассказал ему сын, не особенно сильно тронуло его, но породило в нем неприятное чувство к жене и Якову. Сколько он им за пять лет денег переслал, а они все-таки не справились с хозяйством. Если бы не Мальва, он сказал бы Якову кое-что. Самовольно, без отцова разрешения из деревни ушел — хватило ума на это, — а с хозяйством справиться не мог! Хозяйство, о котором Василий, живя до сего дня жизнью приятной и легкой, вспоминал очень редко, теперь вдруг напомнило ему о себе, как о бездонной яме, куда он пять лет бросал деньги, как о чем-то лишнем в его жизни, не нужном ему. Он вздохнул, мешая ложкой уху.

В блеске солнца маленький желтоватый огонь костра был жалок, бледен. Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн. Василий следил за ними и думал о том, что теперь ему хуже будет жить, не так свободно. Наверное, Яков уже догадался, кто эта Мальва...

А она сидела в шалаше, смущая парня задорными, вызывающими глазами, в которых, не исчезая, играла улыбка.

— Чай, поди-ка, невесту в деревне-то оставил? — вдруг сказала она, заглядывая в лицо Якова.

— Может, и оставил, — неохотно ответил тот.

— Красивая, что ли? — небрежно спросила она.

Яков промолчал.

— Что молчишь?.. Лучше меня, али нет?

Он посмотрел ей в лицо, не желая этого. Щеки у нее были смуглые, полные, губы сочные, — полураскрытые задорной улыбкой, они вздрагивали. Розовая ситцевая кофта как-то особенно ловко сидела на ней, обрисовывая круглые плечи и высокую, упругую грудь. Но не нравились ему ее лукаво прищуренные, зеленые, смеющиеся глаза.

— Зачем ты так говоришь? — вздохнув, сказал он просящим голосом, хотя желал говорить с ней строго.

— А как надо говорить? — засмеялась она.

— И смеешься тоже... чему?

— Над тобой смеюсь...

— Ну, что я тебе? — обиженно спросил он и снова опустил глаза под ее взглядом.

Она не ответила.

Яков догадывался о том, кто она отцу, и это мешало ему свободно говорить с ней. Догадка не поражала его: он слышал, что на отхожих промыслах люди сильно балуются, и понимал, что такому здоровому человеку, как его отец, без женщины трудно было бы прожить столько времени. Но все-таки неловко и перед ней и перед отцом. Потом он вспоминал свою мать — женщину истомленную, ворчливую, работавшую там, в деревне, не покладая рук...

— Готова ушица! — объявил Василий, являясь в шалаш. — Достань-ка ложки, Мальва!

Яков взглянул на отца и подумал:

«Видно, часто она у него бывает, коли знает, где ложки лежат!»

Взяв ложки, она сказала, что надо пойти помыть их и что в корме лодки у нее есть водка.

Отец и сын посмотрели вслед ей и, оставшись один на один, помолчали.

— Ты с ней как встретился? — спросил Василий.

— А я спрашивал про тебя в конторе, и она была там... И говорит: «Чем, говорит, идти пешком по песку, поедем в лодке, я тоже к нему». Вот и приехали.

— Да-а... А я, бывало, думаю: «Каков-то теперь Яков?»

Сын добродушно усмехнулся в лицо отца, и эта усмешка придала Василию храбрости.

— А... ничего бабенка-то?

— Ничего, — неопределенно сказал Яков, моргнув глазами.

— Никакого лешего не поделаешь, брат ты мой! — воскликнул Василий, взмахивая руками. — Терпел я сначала — не могу! Привычка... Я женатый человек. Опять же и одежду она починит и другое прочее... И вообще... эхма! От женщины, как от смерти, никуда не уйдешь! — искренно закончил он свое объяснение.

— Мне что? — сказал Яков. — Это — твое дело, я тебе не судья.

А про себя думал:

«Станет тебе такая штаны чинить...»

— Опять же мне всего сорок пять лет... Расхода на нее немного, не жена она мне... — говорил Василий.

— Конечно, — соглашался Яков и думал: «А все, чай, треплет карман-то!»

Пришла Мальва с бутылкой водки и связкой кренделей в руках; сели есть уху. Ели молча, кости обсасывали громко и выплевывали их изо рта на песок к двери. Яков ел много и жадно; это, должно быть, нравилось Мальве: она ласково улыбалась, глядя, как отдуваются его загорелые щеки, быстро двигаются влажные, крупные губы. Василий ел плохо, но старался показать, что он очень занят едой, — это нужно было ему для того, чтоб без помехи, незаметно для сына и Мальвы, обдумать свое отношение к ним.

Ласковую музыку волн перебивали хищные крики чаек. Зной становился менее жгучим, уже иногда в шалаш залетала прохладная струя воздуха, пропитанного запахом моря.

После вкусной ухи и водки глаза Якова осовели. Он начал глуповато улыбаться, икать, позевывать и смотреть на Мальву так, что Василий нашел нужным сказать ему:

— Ты приляг тут, Яшутка, пока до чаю... а там мы тебя разбудим.

— Это можно-о... — согласился Яков, сваливаясь на кули. — А... вы куда? Ха-ха!

Василий, смущенный его смехом, торопливо вышел,

а Мальва поджала губы, сдвинула брови и ответила Якову:

— А куда мы пойдем — это не твое дело! Ты что? Ты еще нашему богу — бя! Вот ты что, паренек!..

— Я? Ладно! — воскликнул Яков вслед ей. — Па-а-годи.. Я тебе покажу! Ишь ты какая..

Он поворчал еще немного и заснул с пьяной, сытой улыбкой на раскрасневшемся лице.

Василий воткнул в песок три багра, соединил их верхние концы, набросил на них рогожу и, так устроив тень, лег в ней, закинув руки за голову, глядя на небо. Когда Мальва опустилась на песок рядом с ним, он повернул к ней свое лицо, и на нем она увидела обиду и недовольство.

— Что — мало рад сыну-то? — спросила она, засмеявшись.

— Вон он... смеется надо мной... из-за тебя!.. — угрюмо сказал Василий.

— Ну? Из-за меня? — лукаво удивилась она.

— А как же?

— Ах ты, жалкенький! Что же теперь? Не ходить к тебе, что ли? а? Ну — не буду!..

— Ишь ты, ведьма какая! — укорил ее Василий. — Эх вы, люди! Он смеется, ты тоже... а вы мне самые близкие! За что же смеетесь? Черти! — Он отвернулся от нее и замолчал.

Мальва, обняв руками колени, тихонько покачивала корпусом, рассматривая зелеными глазами сверкающее, веселое море, и улыбалась одною из тех торжествующих улыбок, которых так много у женщины, понимающей силу своей красоты.

Парусное судно скользило по воде, как большая, неуклюжая птица с серыми крыльями. Оно было далеко от берега и шло еще дальше, туда, где море и небо сливались в синюю бесконечность.

— Что молчишь? — спросил Василий.

— Думаю, — сказала Мальва.

— Про что это?

— Так, — повела она бровями и, помолчав, добавила: — Сын у тебя — молодец парень...

— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.

— Мало ли что...

— Ты — смотри! — окинул он ее суровым взглядом, полным подозрения. — Ты не дури! Я хотя и смиренный, но ты меня не дразни, — да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

— Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала что-то... Я еще не понимаю этого... ну, смотри, пойму, неладно тебе будет! И улыбочки у тебя этикие... и все такое... Я тоже с вашей сестрой умею обращаться...

— А ты меня, Вася, не пугай... — равнодушно и не глядя на него попросила она.

— То-то! не шути же...

— А ты уж не стражай...

— Я и взбучку дам, коли баловать начнешь... — грозил Василий, озлобляясь.

— Бить станешь? — обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

— А что ты за графиня? И вздую...

— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Привыкши бить жену ни за что ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама себе барыня, и никого не боюсь. А ты вон — сына боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще грозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он не видал ее такой красивой.

— Разошлась, раскаркалась... — молвил он, и злясь и любуясь ею.

— И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, жить не могу! Напрасно ты это... Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это... — Она широко повела рукой вокруг себя. — Может, мне то нравится, что здесь пусто — море да небо и никаких подлых людей нет. А что ты тут — это все равно мне... Это вроде платы за место... Сережка был бы — к нему бы я ходила, сын твой будет — к нему пойду... А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Если я с моей красотой захочу — я всегда себе мужика, какого мне нужно, выберу...

— Вот ка-ак?! — свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло. — Так вот что-о?

Он встряхивал ее, но она не отбивалась, хотя лицо ее краснело и глаза наливались кровью. Она просто положила обе свои руки на его руку, давившую ей горло, и упорно смотрела ему в лицо.

— Так в тебе вон что есть? — хрипел Василий, все свирепея. — А — молчала, шкура... а — обнимала... а — ласки мне... я ж тебе дам!

Он пригнул ее к земле и с наслаждением ударил по шее раз, два, — тяжелыми ударами крепко стиснутого кулака. Приятно было ему, когда кулак с размаха падал на ее упругую шею.

— На... Что, змея?.. — с торжеством спросил он ее и отшвырнул от себя.

Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц с холодной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством взглянул на нее — она улыбалась, — дрогнули ее полные губы, вспыхнули глаза, на щеках явились ямки. Василий изумленно посмотрел на нее.

— Что ты, — чорт! — грубо дернув ее за руку, крикнул он.

— Васька!.. Это ты бил меня? — полушопотом спросила она.

— Ну, а кто? — Ничего не понимая, он смотрел на нее и не знал, что ему делать. Не ударить ли ее еще раз? Но в нем уже не было злобы, и рука его не поднималась на нее.

— Стало быть, ты меня любишь? — снова спросила она, и от ее шопота ему стало жарко.

— Ладно, — угрюмо сказал он. — Так ли тебя надо!

— А ведь я думала, что ты уже не любишь меня... думаю: «Вот теперь сын к нему приехал... прогонит он меня...»

Она засмеялась странным, слишком громким смехом.

— Дуреха! — сказал Василий, тоже невольно усмехаясь. — Сын, — что он мне за уставщик?

Ему стало совестно перед ней и жалко ее, но, вспомнив ее речи, он заговорил строго:

— Сын тут ни при чем... А что я ударил тебя — сама виновата, зачем дразнила?

— Так ведь я это нарочно, — пытала тебя... — И она прижалась к нему плечом.

— Пытала! Чего пытать? Вот и допыталась.

— Ничего! — уверенно сказала Мальва, щуря глаза, — я не сержусь — ведь любя побил? А я тебе за это заплачу... — Она в упор посмотрела на него и, понизив голос, повторила: — Ох, как заплачу!

Василий в этих словах услышал обещание, приятное ему, оно сладко волновало; улыбаясь, он спросил:

— А как?.. Ну-ка?!

— Увидишь, — спокойно сказала Мальва, но губы у нее дрогнули.

— Эх ты, милушка моя! — воскликнул Василий, крепко стиснув ее руками влюбленного. — А знаешь, как побил я тебя — дороже ты мне стала! Право! Роднее... али как?

Чайки носились над ними. Ласковый ветер с моря приносил брызги волн почти к их ногам, а неугомонный смех моря все звучал...

— Эх, дела наши! — свободно вздохнул Василий, задумчиво лаская женщину, прильнувшую к нему. — И как все устроено на свете: что грешно, то и сладко. Ты вот ничего не понимаешь... а я иной раз задумаюсь про жизнь — даже страшно станет! Особливо ночью... не спится когда... Смотришь: перед тобой море, над тобой — небо, кругом темно таково, жутко... а ты тут — один! И станешь тогда сам для себя таким ма-аленьким, маленьким... земля под тобой шатается, и никого-то на ней, кроме тебя, нет. Хоть бы ты была в ту пору... все-таки двое...

Мальва, закрыв глаза, лежала у него на коленях и молчала. Грубоватое, но доброе, коричневое от солнца и ветра лицо Василия наклонилось над ней, его большая выцветшая борода щекотала ее шею. Женщина не двигалась, только грудь ее вздымалась высоко и ровно. Глаза Василия то блуждали в море, то останавливались на этой груди, близкой к нему. Он стал целовать ее в губы,

не торопясь, чмокая так громко, точно горячую и жирно намавленную кашу ел.

Часа три они провели так; когда солнце начало спускаться в море, Василий сказал скучным голосом:

— Ну, пойду чай кипятить... скоро гость проснется!

Мальва ленивым движением разнежившейся кошки отодвинулась в сторону, он неохотно встал и пошел к шалашу. Женщина, чуть приподняв ресницы, посмотрела вслед ему и вздохнула, как вздыхают люди, сбросив ношу, утомившую их.

Потом они, трое, сидели вокруг костра и пили чай.

Солнце окрашивало море в живые краски заката, зеленые волны блестели пурпуром и жемчугом.

Василий, прихлебывая чай из белой глиняной кружки, расспрашивал сына о деревне, сам вспоминал о ней. Мальва, не вмешиваясь, слушала их медленные речи.

— Живут, стало быть, мужички?

— Живут, как-никак... — отвечал Яков.

— Нашему брату — много ли надо? Избу, да хлебушка вдоволь, да в праздник водки стакан... Но и этого нет... Разве бы я ушел сюда, ежели бы можно было кормиться дома-то? В деревне я сам себе хозяин, всем равный человек, а здесь вот — слуга...

— Зато здесь сытнее и работа легче...

— Ну, этого тоже не скажи! Бывает так, что все кости ноют. Опять же здесь чужому работаешь, а там — самому себе.

— А выработаешь больше, — спокойно возражал Яков.

Внутренно Василий соглашался с доводами сына: в деревне и жизнь и работа тяжелее, чем здесь; но ему почему-то не хотелось, чтобы Яков знал это. И он сурово сказал:

— Ты считал заработок-то здешний? В деревне, брат...

— Как в яме: и темно, и тесно, — усмехнулась Мальва. — А особенно бабье житье — одни слезы.

— Бабье житье одинаково везде... и свет везде один, одно солнце!.. — нахмурился Василий, взглянув на нее.

— Ну это ты врешь! — воскликнула она, оживляясь. — Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж

идти. А замужем баба — вечная раба: жни, да пряди, за скотом ходи, да детей роди... Что же остается для нее самой? Одни мужевы побои да ругань...

— Не всё побои, — перебил ее Василий.

— А здесь я ничья, — не слушая его, говорила она. — Как чайка, куда захочу, туда и полечу! Никто мне дороги не загородит... Никто меня не тронет!..

— А как тронет? — усмехаясь, напоминающим тоном спросил Василий.

— Ну, — я уж заплачу! — тихо сказала она, и разгоревшиеся глаза ее погасли.

Василий снисходительно засмеялся.

— Эх ты, — бойка ты, да слаба! Бабы слова говоришь. В деревне баба — нужный для жизни человек... а здесь — так она... для баловства только живет... — Помолчав, он добавил: — Для греха.

Яков, когда их разговор оборвался, сказал, задумчиво вздохнув:

— И конца, кажись, нет этому морю...

Все трое молча взглянули в пустыню перед ними.

— Ежели бы все это земля была! — воскликнул Яков, широко размахнув рукой. — Да чернозем бы! Да распахать бы!

— Вон что! — добродушно засмеялся Василий, одобрительно взглянув в лицо сына, даже покрасневшее от силы выраженного желания. Ему приятно было слышать в словах сына любовь к земле, и он подумал, что эта любовь, быть может, скоро и действительно позовет Якова от соблазнов вольной промысловой жизни назад в деревню. А он останется здесь с Мальвой — и все пойдет по-старому...

— Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: докуда он на ней — жив, сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли — как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты лесной нет в нем — обглоданное, обстроганное, невидное!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал.

Море, принимая солнце в свои недра, встречало его приветливой музыкой плеска волн, разукрашенных его

прощальными лучами в дивные, богатые оттенками цвета. Божественный источник света, творящего жизнь, прощался с морем красноречивой гармонией своих красок, чтобы далеко от трех людей, следивших за ним, разбудить сонную землю радостным блеском лучей восхода.

— У меня душа тает, когда я смотрю, как солнышко заходит, право, ей-богу! — сказал Василий Мальве.

Она промолчала. Голубые глаза Якова улыбались, блуждая в дали моря. Долго все трое задумчиво смотрели туда, где гасли последние минуты дня. Перед ними тлели уголья костра. Сзади ночь раздвигала по небу свои тени. Желтый песок темнел, чайки исчезли, — все вокруг становилось тихим, мечтательно ласковым... И даже неугомонные волны, взбегая на песок косы, звучали не так весело и шумно, как днем.

— Что я сижу? — сказала Мальва. — Надо идти.

Василий поежился и взглянул на сына.

— Куда торопиться? — недовольно пробормотал он. — Погоди, — вот месяц взойдет...

— А что — месяц? Я и так не боюсь, — не в первый раз мне ночью отсюда уходить!

Яков взглянул на отца и прищурил глаза, скрывая усмешку, потом посмотрел на Мальву, — она тоже смотрела на него, — и ему стало неловко.

— Ну, что ж! Иди! — разрешил Василий, недовольный и скучный.

Она встала, простилась и медленно пошла вдоль берега косы; волны, подкатываясь ей под ноги, точно заигрывали с ней. В небе трепетно вспыхивали звезды — его золотые цветы. Яркая кофточка Мальвы, удаляясь от Василия и его сына, провожавших ее глазами, линяла в сумраке.

Милый мой.. скорей иди!

Да ах! Прижми-ись к моей груди!

— задела Мальва высоким и резким голосом.

Василию показалось, что она остановилась и ждет. Он с ожесточением плюнул, думая: «Это она нарочно, дразнит меня, дьяволица!»

— Ишь ты! Поет! — усмехнулся Яков.

Она была для их глаз только серым пятном в сумраке.

Не-е жа-алей моих грудей,
Двоих бе-елых лебедей!

— разносился над морем ее голос.

— Ишь как! — воскликнул Яков и всем телом потянулся туда, откуда неслись соблазнительные слова.

— Значит, не сладил ты там с хозяйством-то? — раздался суровый голос Василия.

Яков, недоумевая, взглянул на него и принял прежнюю позу.

Утопая в шуме волн, до их слуха доносились отдельные, разорванные слова задорной песни:

...Ах... спать не в мочь
...Одной... в эту ночь!

— Жарко! — тоскливо воскликнул Василий, возясь на песке. — Ночь ведь... а жарко! Экая проклятая сторона...

— Это — песок... нагрелся за день-то... — отворотясь в сторону и как будто запинаясь, сказал Яков.

— Ты чего?.. Смеешься никак? — сурово спросил его отец.

— Я? — невинно спросил Яков. — Чему это?

— То-то, мол, ровно бы нечему...

Они замолчали.

А сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики.

Прошло две недели, снова наступило воскресенье, и снова Василий Легостев, лежа на песке около своего шалаша, смотрел в море, ждал Мальву. И пустынное море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы волн рождались, чтоб взбежать на песок, сбросить на него пену своих грив, снова скатиться в море и растаять в нем. Все было такое же, как и четырнадцать дней тому назад. Только Василий, прежде ожидавший свою любовницу со спокойной уверенностью, сегодня ждал ее с нетерпением. В прошлое воскресенье она не была, а — сегодня должна быть! Он не сомневался, что она придет, но ему

хотелось скорее видеть ее. Яков не будет мешать сегодня: третьего дня он приезжал за неводом вместе с другими рабочими и сказал, что в воскресенье с утра отправится в город купить себе рубах. Он нанялся на ватаги по пятнадцати рублей в месяц, уже несколько раз ездил на ловлю рыбы и теперь смотрел бойко и весело. От него, как от всех рабочих, пахло соленой рыбой, и, как все, он был грязный и рваный. Василий вздохнул при мысли о сыне.

«Как бы он здесь уцелел... избалуется... тогда, пожалуй, не захочет уж назад в деревню идти... И придется мне самому...»

Кроме чаек, в море никого не было. Там, где оно отделялось от неба тонкой полоской песчаного берега, иногда появлялись на этой полоске маленькие, черные точки, двигались по ней и исчезали. А лодки все не было, хотя уже лучи солнца падают в море почти отвесно. В это время Мальва, бывало, уже давно здесь.

Две чайки схватились в воздухе и дерутся так, что перья летят из них. Ожесточенные крики рвут веселую песню волн, такую постоянную, так гармонично слитую с торжественной тишиной сияющего неба, что она кажется звуком радостной игры солнечных лучей на равнине моря. Чайки падают в воду, бьют друг друга, яростно вскрикивая от боли и злобы, и снова вздымаются в воздух, преследуя друг друга... А подружки их — целая стая — как бы не видя этой борьбы, жадно ловят рыбу, кувыркаясь в зеленоватой, прозрачной, играющей воде.

Море — пустынно. Не являлось в нем там, далеко у берега, знакомое темное пятно...

— Не едешь? — вслух сказал Василий. — Ну — и не надо! А ты думала как?..

И он презрительно сплюнул по направлению к берегу. Море смеялось.

Василий встал и пошел в шалаш, намереваясь варить себе обед, но почувствовал, что есть ему не хочется, воротился на старое место и снова лег там.

«Хоть бы Сережка приехал! — мысленно воскликнул он и заставил себя думать о Сережке. — Это — яд-парень. Надо всеми смеется, на всех лезет с кулаками. Здоровый, грамотный, бывалый... но пьяница. С ним весело... Бабы души в нем не чают, и — хотя он недавно по-

явился — все за ним так и бегают. Одна Мальва держится поодаль от него... Не едет вот. Экая окаянная бабенка! Может, она рассердилась на него за то, что он ударил ее? Да разве ей это в новинку? Чай, как били... другие! Да и он теперь задаст ей...»

Так, думая то о сыне, то о Сережке и больше всего о Мальве, Василий возился на песке и все ждал. Беспокойное настроение незаметно перерождалось у него в темную подозрительную мысль, но он не хотел остановиться на ней. И, скрывая от себя свое подозрение, он провел время до вечера, то вставая и расхаживая по песку, то снова ложась. Уже море потемнело, а он все еще рассматривал его даль, ожидая лодку.

Мальва не приехала в этот день.

Ложась спать, Василий уныло ругал свою службу, не позволяющую ему отлучиться на берег, а засыпая, он часто вскакивал, — сквозь дрему ему слышалось, что где-то далеко плещут весла. Тогда он прикладывал руку козырьком к своим глазам и смотрел в темное, мутное море. На берегу, на промысле, горели два костра, а в море никого не было.

— Ладно же, ведьма! — грозил он. А потом заснул тяжелым сном.

А на промысле вот что произошло в этот день.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умываться и, подойдя к берегу, увидел Мальву. Она сидела на корме баркаса, причаленного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волны, Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что голые ее ноги почти касались воды.

— Купалась, что ли? — крикнул Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на него и, снова расчесывая волосы, ответила:

— Купалась... Что рано поднялся?

— Ты еще раньше...

— А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

— По моей-то манере будешь жить — трудно будет тебе голову носить! — сказала она.

— О? Ишь ты, какая страшная! — усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умываться.

Черпая пригоршнями воду, он плескал ее себе на лицо и покряхтывал, ощущая свежесть. Потом, утираясь подолом рубахи, спросил Мальву:

— Что ты меня стращаешь все?

— А ты что на меня глаза пялишь?

Яков не помнил, чтобы смотрел на нее больше, чем на других промысловых женщин, но теперь вдруг сказал ей:

— Да ежели ты... вон какая сдобная!

— Вот отец узнает эти твои замашки — он тебе шею-то насдобит!

Она лукаво и задорно смотрела ему в лицо.

Яков засмеялся и полез на баркас. Он опять-таки не понимал, про какие его замашки она говорит, но коли она говорит, так, значит, он поглядывал на нее зорко. Ему стало приятно, весело.

— А что отец? — говорил он, идя к ней по борту баркаса. — Что ты — купленная его, что ли?

Усевшись рядом с ней, он устался на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру — свежую и крепкую, пахнущую морем.

— Вон ты, — белуга какая! — с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

— Не про тебя! — кратко заявила она, не глядя на него, не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Пред ними необозримо расстилалось море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой, и было видно, как треплется по ветру тряпка.

— Да, паренек! — заговорила Мальва, не глядя на Якова. — Вкусна я, да не про тебя... А и никем я

не купленная, и отцу твоему не подвластна. Живу сама про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять... Ссоры не хочу и разной склоки... Понял?

— Да я что? — изумился Яков. — Я ведь тебя не трогаю...

— Тронуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем был обижен и мужчина и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, глаза вспыхнули.

— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.

— Не смеешь!

— Н-ну? А как трону?

— Тронь!

— А что будет?

— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду.

— А ну, дай!

— А — тронь!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то удушья.

— Вот! Ну... бей! Ну... что?

— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.

— А по затылку хотела?

— Пусти! Смотри, худо будет!

— Ну... не стражай ты меня! Эх ты... малина!

Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг, сильным движением всего своего тела, рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней вынырнула Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду, выл и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него, плеская ему в лицо пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

— Чорт! — закричал Яков, фыркая. — Я утону! Будет!.. Ей-богу... утону! Вода — горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь, смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала его формы от колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту, почти голую, женщину, весело смеявшуюся над ним.

— Ну, вылезай, тюлени! — сказала она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

— Ну... Теперь держись! Я тебя — в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебегали через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, ныряя.

Солнце, смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах промысловых построек тоже смеялись, отражая солнце. Шумела вода, разбиваемая их сильными руками, чайки, встревоженные этой возней людей, с пронзительными криками носились над их головами, исчезающими под набегом волн из дали моря...

Наконец, усталые и наглотавшиеся воды, они вылезли на берег и сели на солнце отдыхать.

— Тьфу! — морщась, плевался Яков. — Ну, и вода дрянная! То-то ее и много так!

— Дрянного всего много на свете, парней, например, — батюшки сколько! — смеялась Мальва, выжимая воду из своих волос...

Волосы у нее были темные и хотя не длинные, но густые и вьющиеся.

— То-то ты старика и облюбовала себе, — ехидно усмехнулся Яков, толкнув ее локтем в бок.

— Иной старик лучше молодого.

— Уж коли отец хорош, стало быть, сын еще лучше...

— Ишь ты! Где учился хвастать-то?

— Мне девки в деревне часто говорили, что я совсем не плох парень.

— Разве девки что понимают? А ты меня спроси...

— А ты что? Али не девка?

Она пристально взглянула на него, он зазорно смеялся. Тогда она вдруг стала серьезной и с сердцем сказала ему:

— Была, да — однажды родила!

— Складно, да не ладно, — сказал Яков и расхохотался.

— Дурачина! — резко бросила ему Мальва и отвернулась от него.

Яков сробел и замолчал, поджав губы.

С полчася они оба молчали, повертываясь к солнцу так, чтобы оно скорее высушило их мокрое платье.

В бараках — длинных, грязных сараях, с крышами на один скат — просыпались рабочие. Издали все они были похожи друг на друга — оборванные, лохматые, босые... Доносились до берега их хриплые голоса, кто-то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары, точно рокотал большой барабан. Две женщины визгливо ругались, лаяла собака.

— Просыпаются, — сказал Яков. — А ведь я хотел сегодня в город ехать пораньше... и вот пробаловал с тобой...

— Со мной добра не будет, — не то шутя, не то серьезно сказала она.

— Чего ты все пугаешь меня? — удивленно усмехнулся Яков.

— А вот увидишь, как отец-то тебя...

Это напоминание об отце вдруг рассердило его.

— Что отец? Ну? — грубо воскликнул он. — Отец! Я сам не маленький... Важность какая... Здесь не те порядки... я не слепой, вижу... Он сам не праведник... он тут себя не стесняет... Ну, и меня не тронь.

Она насмешливо поглядела ему в лицо и с любопытством спросила:

— Не трогать тебя? А ты что делать собираешься?

— Я? — Он надул щеки и выпятил вперед грудь, как будто тяжесть поднимал. — Я-то? Я много могу! Меня чистым-то воздухом довольно обвеяло, деревенскую-то пыль сдуло с меня.

— Скоренько! — насмешливо воскликнула Мальва.

— А что? Я вот возьму да и отобью тебя у отца.

— Н-ну? Неужто?

— А то побоюсь?

— Да ну-у?

— Ты вот что, — взволнованно и пылко заговорил Яков, — ты меня не дразни! Я... смотри!

— Что? — спокойно спросила она.

— Ничего!

Он отворотился от нее и замолчал, имея вид парня удалого и уверенного в себе.

— А ты задорный! Вот у приказчика черненький кутенок, видел? Так он такой же, как и ты. Издали лает, укусьть обещает, а близко подойдешь, он подожмет хвост да и бежать!

— Ну, ладно же! — воскликнул Яков, озлобляясь. — Погоди ты! Увидишь, каков я есть, увидишь!

А она смеялась в лицо ему.

К ним шел, медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных, огненно-рыжих волос. Кумачная рубаха без пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и чтобы рукава ее не сползали с рук, он засучил их до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, нос, широкий и вздернутый вверх, придавал всей его фигуре вид бесшабашно нахальный. Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце телом, выглядивавшим из бесчисленных дыр его костюма, громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

— Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки — как в бездонном лукошке... Дайте двугривенный займы! Я все равно не отдам...

Яков добродушно расхохотался над его бойкой речью, а Мальва усмехнулась, разглядывая его ободранную фигуру.

— Дайте, черти! Я вас обвенчаю за двугривенный — хотите?

— Ах ты, балагур! Да разве ты поп? — смеялся Яков.

— Дурак! Я в Угличе у попа в дворниках жил... дай двугривенный!

— Я не хочу венчаться! — отказал ему Яков.

— Все равно — дай! Я твоему отцу не скажу, что ты за его кралей приухлёстываешь, — настаивал Сережка, облизывая языком сухие, потрескавшиеся губы.

— Ври, так он тебе и поверит...

— Уж я совру, так поверит! — пообещал Сережка, — и вздует тебя — ах как!

— Не боюсь! — усмехнулся Яков.

— Ну, так я сам вздую! — спокойно заявил Сережка, суживая глаза.

Якову было жалко двугривенного, но его уже предупреждали, что с Сережкой не нужно связываться, а лучше удовлетворить его притязания. Многого он не потребует, а если не дать ему — подстроит во время работы какую-нибудь пакость или изобьет ни за что ни про что. Яков, вспомнив эти наставления, вздохнул и полез в карман.

— Вот так! — поощрил его Сережка, опускаясь на песок рядом с ним. — Всегда меня слушай, умным будешь. А ты, — обратился он к Мальве, — скоро за меня замуж пойдешь? Скорей собирайся, — я долго ждать не буду.

— Дранный ты... Зашей дыры сначала, потом поговорим, — ответила Мальва.

Сережка критически посмотрел на свои дыры и качнул головой.

— А ты мне лучше свою юбку дай.

— Так! — сказала Мальва и засмеялась.

— А право! Дай — есть какая-нибудь старенькая?

— Да ты купи себе штаны, — посоветовала Мальва.

— Ну, я лучше пропью деньги...

— Лучше! — смеялся Яков, держа в руке четыре пятака.

— А как же? Мне поп говорил, что человек не о шкуре своей должен заботиться, о душе. Душа у меня требует водки, а не штанов. Давай деньги! Ну, вот теперь я выпью... А отцу про тебя все-таки скажу.

— Говори! — махнул рукой Яков и ухарски подмигнул Мальве, толкнув ее в плечо.

Сережка заметил это, сплюнул и еще пообещал:

— И вздуть тебя не забуду... Как только свободное время будет — такую дам клочку!

— Да за что? — тревожно спросил Яков.

— Уж я знаю... Ну, так замуж за меня скоро пойдешь? — обратился Сережка к Мальве.

— А вот ты расскажи мне, что мы делать будем и как жить, тогда подумаю, — серьезно сказала она.

Сережка поглядел в море, прищулив глаза, и, облизав губы, объяснил:

— Ничего не будем делать, гулять будем!

— А есть где возьмем?

— Ну, — махнул рукой Сережка, — ты, ровно мать моя, рассуждаешь. Что да как? Разве я знаю, что и как? Пойду выпью...

Он встал и пошел прочь от них, провожаемый странной улыбкой Мальвы и неприязненным взглядом парня.

— Ишь какой командир! — сказал Яков, когда Сережка ушел от них далеко. — У нас бы в деревне такого хахаля живо усмирили... Дали бы ему хо-орошую взбучку — и все... А здесь бояться...

Мальва посмотрела на него и процедила сквозь зубы:

— Ах ты, порося! Понимаешь ты ему цену!

— Чего понимаешь? Цена таким пятачок за пучок, да и то — когда их в пучке-то сотня.

— Тоже! — насмешливо воскликнула Мальва. — Это тебе цена... А он... везде бывал, скрозь прошел всю землю и никого не боится...

— А я кого боюсь? — храбро спросил Яков.

Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой волн, избежавших на берег, колыхая тяжелый баркас. Мачта качалась из стороны в сторону, корма, вздымаясь и падая в воду, хлопала по ней. Звук был громкий и досадливый, — точно баркасу хотелось оторваться от берега,

уйти в широкое, свободное море и он сердился на канат, удерживавший его.

— Ну, чего же ты не уходишь? — спросила Мальва у Якова.

— А куда мне? — отозвался он.

— В город хотел...

— Не пойду!

— Ну, к отцу поезжай.

— А ты?

— Что?

— Тоже поедешь?

— Нет...

— Ну, и я нет.

— Целый день около меня будешь торчать? — спокойно спросила Мальва.

— Не больно-то ты мне нужна... — ответил Яков с обидой, встал и ушел от нее.

Но он ошибся, говоря, что она не нужна ему. Без нее стало скучно. Странное чувство родилось в нем после разговора с ней: смутный протест против отца, глухое недовольство им. Вчера этого не было, не было и сегодня до встречи с Мальвой... А теперь казалось, что отец мешает ему, хотя он там, далеко в море, на этой, чуть заметной глазу, полоске песку... Потом ему казалось, что Мальва боится отца. А кабы она не боялась — совсем бы другое вышло у него с ней.

Он шлялся по промыслу, рассматривая людей. Вон, в тени барака, на бочке сидит Сережка и, тренькая на балалайке, поет, строя смешные рожи:

Господин гор-родо-ввой!
Будьте вежливы со мной...
Отведите меня в часть,
Чтобы в грязь мне не упасть...

Его окружает человек двадцать таких же оборванцев, от всех, — как и от всего здесь, — пахнет соленой рыбой, селитрой. Четыре бабы, некрасивые и грязные, сидя на песке, пьют чай, наливая его из большого жестяного чайника. А вот какой-то рабочий, несмотря на утро, уже пьян, возится на песке, пытаясь встать на ноги и снова падая. Где-то, взвизгивая, плачет женщина,

доносятся звуки испорченной гармоники, и всюду блещет рыба чешуя.

В полдень Яков нашел себе тенистое местечко среди груды пустых бочек, лег там и проспал до вечера, а проснувшись, снова начал бродить по промыслу, ощущая смутное влечение куда-то.

Проходив часа два, он нашел Мальву далеко от прииска под купой молоденьких ветел. Она лежала на боку и, держа в руках какую-то растрепанную книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь.

— Ишь ты где! — сказал он, садясь рядом с ней.

— А ты меня давно ищешь? — уверенно спросила она.

— Да разве я тебя искал?! — воскликнул Яков, вдруг понимая, что это так и есть: он искал ее. И, в недоумении, парень качнул головой.

— Ты грамотный? — спросила она его.

— Грамотный... да плохо, забыл все уж...

— И я тоже — плохо... В школе учился?

— В земской.

— А я сама выучилась...

— Ну?

— Право... В Астрахани у адвоката кухаркой была; сын его научил меня читать.

— Значит, не сама... — пояснил Яков.

Она посмотрела на него и опять спросила:

— А тебе хочется книжки читать?

— Мне? Нет... чего там?

— А я — люблю, — вот выпросила у приказчиной жены книжку и читаю...

— Про что?

— Про Алексея божия человека.

И, задумчиво рассказав ему о том, как юноша — сын богатых и важных родителей — ушел от них и от своего счастья, а потом вернулся к ним, нищий и оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не говоря им до смерти своей, кто он, — Мальва тихо спросила у Якова:

— Зачем это он так?

— Кто ж его знает? — равнодушно ответил Яков.

Бугры песка, наметенного ветром и волнами, окружали их. Издали доносился глухой, темный шум, — это на промысле шумели. Солнце садилось, на песке лежал

розоватый отблеск его лучей. Жалкие кусты ветел чуть трепетали своей бедной листвою под легким ветром с моря. Мальва молчала, прислушиваясь к чему-то.

— Чего же ты сегодня не поехала туда... на косу?

— А тебе что?

Яков искоса жадными глазами поглядывал на женщину, соображая, как ему сказать ей то, что нужно.

— Я вот, когда одна и тихо... все плакать хочу... Или — петь. Только песен я хороших не знаю, а плакать — стыдно...

Он слышал ее голос, тихий, ласковый, но то, что говорила она, не задело в нем ничего, лишь придало более резкую форму его желанию.

— А ты вот что, — глухо заговорил он, пододвигаясь к ней, но не глядя на нее, — ты послушай, что я тебе скажу... Я — парень молодой...

— И глупый, глу-упый! — убежденно вытянула Мальва, качая головой.

— Ну, пускай глупый, — с досадой воскликнул Яков. — Разве тут ум нужен? Глупый — и ладно! А вот что я скажу — желаешь ты со мной...

— Не желаю!..

— Чего?

— Ничего!

— Да ты не дури... — Он осторожно взял ее за плечи. — Ты сообрази...

— Пошел прочь, Яшка! — сурово сказала она, стряхнув с себя его руку. — Пошел!

Он встал и осмотрелся вокруг.

— Ну... ежели ты так — мне наплевать! Вас здесь много... Думаешь — ты лучше других?

— Щенок ты, — спокойно сказала она, встав на ноги и отряхивая песок с платья.

И они пошли рядом друг с другом на промысел. Шли медленно, потому что ноги вязли в песке.

Яков грубо уговаривал ее уступить его желанию, она спокойно посмеивалась и отвечала ему колкими словами.

Вдруг он, когда они были уже около промысловых барачков, остановился и схватил ее за плечо.

— А ведь это ты нарочно разжигаешь меня?! Зачем ты это? Я тебе — смотри!

— Отстань ты, говорю! — она вывернулась из-под его руки и пошла, а навстречу ей из-за угла барака явился Сережка и, тряхнув своей лохматой огненной башкой, сказал зловеще:

— Гуляли? Ладно!

— Подите вы все к чорту! — злобно крикнула Мальва.

А Яков остановился против Сережки и угрюмо смотрел на него. Между ними было шагов десять расстояния.

Сережка уставился в глаза Якова. Постояв так с минуту, как два барана, готовые треснуться друг о друга лбами, они молча разошлись в разные стороны.

Море было тихое и красное от заката; над промыслом стоял глухой шум, и из него рельефно выделялся пьяный женский голос, истерически выкрикивавший нелепые слова:

...Та-агарга, матагарга,
Матаничка м-моя!
П-пьяная, избитая,
Растрепанная-а!

И эти слова, гадкие, как мокрицы, разбегались по промыслу, пропитанному запахом селитры и гнилой рыбы, — разбегались, оскорбляя собою музыку волн.

В нежном блеске утренней зари даль моря спокойно дремала, отражая перламутровые облака. На косе возились полусонные рыбаки, укладывая в баркас снасти.

Серая масса сети ползла по песку на баркас и складывалась в кучу на дно его.

Сережка, как всегда, без шапки, полуголый, стоя на корме, торопил рыбаков хриплым, похмельным голосом. Ветер играл лоскутьями его рубахи и рыжими вихрами волос.

— Василий! Где зеленые весла? — кричал кто-то. Василий, хмурый, как октябрьский день, укладывал невод в баркасе, а Сережка смотрел ему в согнутую спину и облизывал губы, — признак его желания опохмелиться.

— У тебя водка есть? — спросил он.

— Есть, — глухо сказал Василий.

— Ну, так я не поеду... останусь у сухого крыла.

— Готово! — крикнули с косы.

— Отчаливай, давай! — командовал Сережка, сходя с баркаса. — Поезжайте... я останусь здесь. Смотри — заводи шире, не путай!.. Да клади ровнее, — петель не навяжите!..

Баркас столкнули в воду, рыбаки влезли в него с бортов и, разобрав весла, подняли их на воздух, готовые ударить по воде.

— Раз!

Весла дружно упали в волны, и баркас рванулся вперед, в широкую равнину озаренной воды.

— Два! — командовал рулевой, и, как лапы гигантской черепахи, весла поднялись к бортам... — Раз!.. Два!..

На берегу у сухого крыла невода осталось пятеро: Сережка, Василий и еще трое. Один из них опустил на песок и сказал:

— Поспать еще...

Двое последовали его примеру, и на песке скорчились в комки три тела в грязных лохмотьях.

— Ты что в воскресенье не был? — спросил Василий у Сережки, идя с ним в шалаш.

— Нельзя было...

— Пьян был?

— Нет. Следил за твоим сыном да за его мачехой, — спокойно сообщил Сережка.

— Нашел заботу! — криво усмехнулся Василий. — Малые они ребята, что ли?

— Хуже... Один — дурак, другая — юродивая...

— Это Мальва юродивая? — спросил Василий, и глаза его вспыхнули злобой. — Давно ли такой стала?

— У нее, брат, душа не по телу...

— Подлая у нее душа.

Сережка покосился на него и презрительно фыркнул.

— Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни чорта вы понимать не можете... Вам бы только титьки были у бабы жирные, — а характера ее вам не надо... А в характере весь цвет у человека... без характера баба — без соли хлеб. Можешь ты получить удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет? Кобель!..

— Ишь ты до каких речей допился вчера!.. — уязвил его Василий.

Ему очень хотелось спросить, где и как видел вчера Сережка Якова и Мальву, но было совестно.

Придя в шалаш, он налил Сережке чайный стакан водки, надеясь, что после такой порции Сережка сразу охмелеет и сам расскажет ему про них.

Но Сережка выпил, крикнул и, весь прояснившись, уселся в двери шалаша, потягиваясь и зевая.

— Выпьешь — как огня проглотишь!.. — сказал он.

— Ну и пьешь ты! — воскликнул Василий, пораженный быстротой, с которой Сережка проглотил водку.

— Умею... — кивнул босяк рыжей головой и, вытерев ладонью мокрые усы, заговорил поучительно: — Умею, брат! Я все делаю скоро и прямо. Без изворотов — валяй прямо и все! А куда попадешь — это все равно! С земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь...

— Ты хотел на Кавказ уходить? — спросил Василий, тихонько двигаясь к своей цели...

— Уйду, когда захочу. Когда я захочу, — я прямо — раз-раз и... готово! Или по-моему вышло, или шишку на лбу набью... Просто!

— Чего проще! Вроде как без головы живешь...

Сережка насмешливо покосился на Василия.

— А ты — умный! Тебя сколько раз в волости пороли?

Василий посмотрел на него и смолчал.

— А ведь это хорошо, что у вас начальство ум-то сзади наперед розгами перегоняет... Эх ты! Ну, что ты с своей головой можешь поделывать? И куда ты с ней угодишь? И чего ты можешь выдумать? То-то! А я без головы пружу прямо, и больше никаких! И, наверное, дальше тебя буду, — хвастливо говорил босяк.

— Это — пожалуй!.. — усмехнулся Василий. — Ты и до Сибири дойдешь...

Сережка искренно расхохотался.

Он не пьянел, вопреки ожиданию Василия, и того злило это. Поднести еще стакан ему было жалко, а в трезвом виде от Сережки ничего не добьешься... Но босяк сам выручил его.

— Ты что же про Мальву не спрашиваешь?

— А чего мне? — равнодушно протянул Василий, вздрагивая от какого-то предчувствия.

— Ведь она в воскресенье не была здесь... Спрашивай, как она жила за эти дни... Чай, ревнуешь, старый чорт!

— Много их! — пренебрежительно махнул рукой Василий.

— Много их! — передразнил Сережка. — Эх вы, деревня лыкова помещика дикого! Дай вам мед, дай деготь — все у вас кулага будет...

— Ты что ее все хвалишь? Сватать, что ли, пришел? Так я ее сам давно усватал, — насмешливо сказал Василий.

Сережка осмотрел его, помолчал и увесисто начал говорить Василию, положив ему руку на плечо:

— Я знаю, что она живет с тобой. Я тебе в этом не мешал — не надо было... Но теперь этот Яшка, сын твой, около нее вертится — вздуй его докрасна! Слышишь? А то я сам вздую... Ты мужик хороший... дурак дубовый... Я тебе не мешал, и ты это помни...

— Вон что! И ты тоже за ней? — глухо спросил Василий.

— Также! Кабы я знал, что тоже, — я бы прямо всех вас посшибал с моей дороги и — конец... А то — куда мне ее?

— Так что же ты путаешься? — подозрительно спросил Василий.

Сережку, должно быть, поразил этот простой вопрос.

Он широко открытыми глазами посмотрел на Василия и засмеялся.

— Чего путаюсь? Да — чорт-е знает чего... Так, — баба она... этакая... с перцем... Нравится мне... А может, мне ее жалко, что ли...

Василий смотрел на него недоверчиво, но чувствовал, что Сережка искренно, от души говорит.

— Кабы она нетронутая девка была — ну еще можно пожалеть. А так — чудно что-то!

Сережка молчал, глядя, как баркас далеко в море поворачивал носом к берегу, описывая широкую дугу. Глаза Сережки смотрели открыто, лицо было доброе и простое.

Василий смягчился, глядя на него.

— А ты это верно, она баба славная... вертячка только!.. Яшка? Ну, я ему задам! Ишь, щенок!..

— Мне он не по душе... — заявил Сережка.

— А он ластится к ней? — сквозь зубы спросил Василий, разглаживая бороду.

— Он, — вот увидишь, — клином войдет между вами, — уверенно сказал Сережка.

В дали морской вспыхнул розовый веер лучей восхода. Сквозь шум волн с моря из баркаса долетел слабый крик:

— Веди-и!..

— Вставай, ребята! Эй! К неводу! — командовал Сережка.

И скоро они, все пятеро, уже выбирали свой край невода. Из воды тянулась на берег длинная веревка, упругая, как струна, и рыбаки, захлестывая за нее лямки, побрякивая, тащили веревку.

А другую сторону невода вел к берегу баркас, скользя по волнам.

Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем.

— Увидишь Якова — скажи, чтобы он завтра побывал ко мне, — попросил Василий Сережку.

— Ладно.

Баркас пристал к берегу, и, соскочив с него на песок, рыбаки тянули свое крыло невода. Две группы постепенно сближались друг с другом, и поплавки невода, прыгая на воде, образовали правильный полукруг.

Поздним вечером этого дня, когда рабочие на промысле поужинали, Мальва, усталая и задумчивая, сидела на разбитой лодке, опрокинутой вверх дном, и смотрела на море, одетое сумраком. Там, далеко, сверкал огонь; Мальва знала, что это костер, зажженный Василием. Одинокий, точно заблудившийся в темной дали моря, огонь то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Мальве было грустно смотреть на эту красную точку, потерянную в пустыне, слабо трепетавшую в неутомительном рокоте волн.

— Ты чего тут сидишь?—раздался голос Сережки за ее спиной.

— А тебе что? — спросила она, не взглянув на него.

— Любопытно.

Он помолчал, разглядывая ее, свернул папироску, закурил и сел верхом на лодку. Потом сказал дружелюбно:

— Чудная ты баба: то бежишь прочь ото всех, то чуть не всем на шею виснешь.

— Это тебе, что ли, я висну? — равнодушно спросила она.

— Не мне, а Яшке.

— А тебе завидно?

— Мм... Давай прямо, по душе говорить? — предложил Сережка, ударив ее по плечу. Она сидела боком к нему, и он не видел ее лица, когда она кратко бросила ему:

— Говори.

— Ты что, Василья бросила, что ли?

— Не знаю, — ответила она, помолчав. — А тебе зачем это?

— Да — так...

— Сердита я на него теперь.

— За что?

— Побил меня!..

— Н-ну?.. Это он-то? А ты — далась ему? Ай-яй!

Сережка был изумлен. Он заглядывал сбоку в ее лицо и иронически чмокал губами.

— Кабы захотела — не далась бы, — возразила она с сердцем.

— Так что же ты?

— Не захотела.

— Крепко, значит, любишь кота? — насмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы. — Ну, дела! А я было думал, что ты не из таких...

— Никого я вас не люблю, — снова равнодушно сказала она, отмахиваясь рукой от дыма.

— Врешь, поди-ка?

— Для чего мне врать? — спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действительно не для чего.

— А ежели ты его не любишь, как же ты позволяешь ему бить тебя? — серьезно спросил он.

— Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?

— Чудно!.. — тряхнув головой, сказал Сережка.

И оба они долго молчали.

Ночь приближалась. Тени ложились на море от облаков, медленно двигавшихся в небе. Волны звучали.

Огонь у Василия на косе погас, но Мальва все еще смотрела туда. А Сережка смотрел на нее.

— Слушай! — сказал он. — Ты знаешь, чего хочешь?

— Кабы знала! — с глубоким вздохом, очень тихо ответила Мальва.

— Стало быть, не знаешь? Это плохо! — уверенно заявил Сережка. — А я вот всегда знаю! — И с оттенком грусти он добавил: — Только мне редко чего хочется.

— Мне всегда хочется чего-то, — задумчиво заговорила Мальва. — А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех — себя самоё, то избила бы весь народ. И потом бы себя... страшной смертью... И тоскливо мне и весело бывает... А люди все какие-то дубовые.

— Народ гнилой, — согласился Сережка. — То-то, я смотрю на тебя и вижу — не кошка ты, не рыба... и не птица... А все это есть в тебе однако... Не похожа ты на баб.

— И то слава богу! — усмехнулась Мальва.

Из-за гряды песчаных бугров, слева от них, появилась луна, обливая море серебряным блеском. Большая, кроткая, она медленно плыла вверх по голубому своду неба, яркий блеск звезд бледнел и таял в ее ровном, мечтательном свете.

Мальва улыбнулась.

— А... знаешь?.. Мне иной раз кажется, — что, если бы барак ночью поджечь, — вот суматоха была бы!

— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо. — Знаешь что... я тебя научу, — забавную штуку сыграем! Хочешь?

— Ну? — с интересом спросила Мальва.

— Ты этого Яшку, — раззадорила здорово?

— Огнем пышет, — усмехнулась она.

— Страви его с отцом! Ей-богу! Потешно будет... Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то, да и этого тоже... А потом мы их друг на друга и спустим... а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы, — ничего, кроме добродушной и, немножко, озорной улыбки.

— За что ты их не любишь? — подозрительно спросила Мальва.

— Я?.. Василий — ничего, мужик хороший. А Яшка — дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дают и — все!.. У них вон есть земство, и оно все для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада примут, то просто так... В холодную сажали... Они ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка — земля. А я что против них?

— А ты разве не мужик? — перебила его Мальва, внимательно слушая его речь.

— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся Сережка. — Города Углича мещанин.

— А я — из Павлиша, — задумчиво сообщила Мальва.

— За меня никого нет заступника! А мужики... они, черти, могут жить. У них и земство и все такое.

— А земство — это что? — спросила Мальва.

— Что? А чорт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты говори о деле — устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет, — подерутся только!.. Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

— А что? — усмехнулась Мальва. — Это хорошо бы...

— Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. двинула ты языком раз-два и — готово!

Сережка долго, с увлечением рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил и говорил серьезно.

— Эх, ежели бы я красивой бабой был! Такую бы я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в заключение, схватил голову в руки, крепко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Луна уже была высоко в небе, когда они разошлись. Без них красота ночи увеличилась. Теперь осталось только безмерное, торжественное море, посеребренное луной, и синее, усеянное звездами небо. Были еще бугры песку, кусты ветел среди них и два длинные, грязные здания на песке, похожие на огромные, грубо сколоченные гроба. Но все это было жалко и ничтожно перед лицом моря, и звезды, смотревшие на это, блестели холодно.

Отец и сын сидели в шалаше друг против друга, пили водку. Водку принес сын, чтобы не скучно было сидеть у отца и чтобы задобрить его. Сережка сказал Якову, что отец сердится на него за Мальву, а Мальве грозит избить ее до полусмерти; что Мальва знает об этой угрозе и потому не сдается ему, Якову. Сережка смеялся над ним.

— За-адаст он тебе за твои шашни! Так оттянет уши, что они по аршину величиной будут! Ты лучше не попадайся на глаза ему!

Насмешки рыжего, неприятного человека породили в Якове острую злобность к отцу. А тут еще Мальва мнетса и, глядя на него то задорно, то грустно, усиливает до боли его желание обладать ею...

И вот Яков, придя к отцу, смотрит на него, как на камень посреди своей дороги, — на камень, через который невозможно перескочить и обойти его нельзя. Но, чувствуя, что он нисколько не боится отца, Яков уверен-

но смотрел в его угрюмые, злые глаза, точно говорил ему:

«Ну-ка, тронь?!»

Они уже дважды выпили, но ничего не сказали еще друг другу, кроме нескольких незначительных слов о промысловой жизни. Один на один среди моря, они копили в себе озлобление друг против друга, и оба знали, что скоро оно вспыхнет, обожжет их.

Рогожи шалаша шуршали под ветром, лубки постукивали друг о друга, красная тряпка на конце шеста лепетала что-то. Все эти звуки были робки и похожи на отдаленный шопот, бессвязно, нерешительно просивший о чем-то.

— Что, Сережка пьет все? — угрюмо спросил Василий.

— Пьет, каждый вечер пьяный, — ответил сын, наливая еще водки.

— Пропадет он... Вот она, свободная-то жизнь... без страха!.. И ты такой же будешь...

Яков кратко ответил:

— Я таким не буду!

— Не будешь?! — хмуря брови, сказал Василий. — Знаю я, что говорю... Сколько времени живешь здесь? Третий месяц пошел, скоро надо будет домой идти, а много ли денег понесешь? — Он сердито плеснул из чашки в рот себе водку и, собрав бороду в руку, дернул ее так, что у него голова тряхнулась.

— За такое малое время многого здесь и нельзя добыть, — резонно ответил Яков.

— А коли так, так нечего тебе тут шалыганить — иди в деревню!

Яков молча усмехнулся.

— Что рожу кривишь? — угрожающе воскликнул Василий, озлобляясь спокойствием сына. — Отец говорит, а ты смеешься! Смотри, не рано ли начал вольничать-то? Не взнуздал бы я тебя...

Яков налил водки, выпил. Грубые придирки обижали его, но он крепился, не желая говорить так, как думал и хотел, чтоб не взбесить отца. Он немножко робел перед его взглядом, сверкавшим сурово и жестко.

А Василий, видя, что сын выпил один, не налив ему, еще более освиrepел.

— Говорит тебе отец — ступай домой, а ты смешки ему показываешь? Проси в субботу расчет и... марш в деревню! Слышишь?

— Не пойду! — твердо сказал Яков и упрямо мотнул головой.

— Это как так? — взревел Василий и, опершись руками о бочку, поднялся со своего места. — Я тебе говорю или нет? Что ты, собака, против отца рычишь? Забыл, что я могу с тобой сделать? Забыл ты?

Губы у него дрожали, лицо кривили судороги; две жилы вздулись на висках.

— Ничего я не забыл, — вполголоса сказал Яков, не глядя на отца. — Ты-то все ли помнишь, гляди?

— Не твое дело учить меня! Разражу вдребезги...

Яков уклонился от руки отца, поднятой над его головой, и, стиснув зубы, заявил:

— Ты не тронь меня... Здесь не деревня.

— Молчать! Я тебе везде — отец!..

— Здесь в волости не выпорешь, нет ее здесь, волости-то, — усмехнулся Яков прямо в лицо ему и тоже медленно поднялся.

Василий, с налитыми кровью глазами, вытянув вперед шею, сжал кулаки и дышал в лицо сына горячим дыханием, смешанным с запахом водки; а Яков откинулся назад и зорко следил угрюмым взглядом за каждым движением отца, готовый отражать удары, наружно спокойный, но — весь в горячем поту. Между ними была бочка, служившая им столом.

— Не выпорю? — хрипло спросил Василий, изгибая спину, как кот, готовый прыгнуть.

— Здесь — все ровня... Ты рабочий — и я тоже.

— Вон что-о?

— Ну, а как? За что ты на меня взъелся? Думаешь, я не понимаю? Ты сам сначала...

Василий зарычал и так быстро взмахнул рукой, что Яков не успел уклониться. Удар попал ему по голове; он пошатнулся и оскалил зубы в зверское лицо отца, уже снова поднявшего руку.

— Смотри! — предупредил он его, сжимая кулаки.

— Я тебе — посмотрю!

— Брось, мол!

— Ага... ты!.. ты — отца?.. отца?.. отца?..

Им было тесно тут, в ногах у них путалось кулье из-под соли, опрокинутая бочка, обрубок.

Отбиваясь кулаками от ударов, Яков, бледный и потный, со стиснутыми зубами и по-волчьи горевшим взглядом, медленно отступал перед отцом, а тот шел на него, свирепо махая кулаками, слепой в своей злобе, как-то вдруг и странно растрепавшийся — точно ошетинился, как освирепевший кабан.

— Отстань — будет — брось! — говорил Яков, злое и спокойно, выходя из двери шалаша на волю.

Отец рычал и лез на него, но его удары встречали только кулаки сына.

— Ишь как тебя... ишь... — поддразнивал его Яков, сознавая себя более ловким.

— погоди... пос-стой...

Но Яков прыгнул вбок и бросился бежать к морю.

Василий пустился за ним, наклонив голову и простирая руки вперед, но запнулся ногой за что-то и упал грудью на песок. Он быстро поднялся на колени и сел, чпершись в песок руками. Он был совершенно обессилен этой возней и тоскливо завыл от жгучего чувства неудовлетворенной обиды, от горького сознания своей слабости...

— Будь ты проклят! — захрипел он, вытягивая шею к Якову и сплевывая пену бешенства со своих дрожащих губ.

Яков прислонился к лодке и зорко смотрел на него, потирая рукой ушибленную голову. Один рукав его рубахи был оторван и висел на нитке, ворот тоже был разорван, белая потная грудь лоснилась на солнце, точно смазанная жиром. Он чувствовал теперь презрение к отцу; он считал его сильнее, и, глядя, как отец, растрепанный и жалкий, сидит на песке и грозит ему кулаками, он улыбался насмешливой, обидной улыбкой сильного слабому.

— Проклят ты от меня... вовеки!

Василий так громко крикнул проклятие, что Яков невольно оглянулся в даль моря, к промыслу, точно думал, что там услышат этот крик бессилия.

Но там были только волны и солнце. Тогда он сплюнул в сторону и сказал:

— Кричи!.. Кому досадишь? Себе только... А коли у нас так вышло, я вот что скажу...

— Молчи!.. Уйди с глаз... уйди! — крикнул Василий.

— В деревню я не пойду... буду тут зимовать... — говорил Яков, не переставая следить за движениями отца. — Мне здесь лучше, — я это понимаю, не дурак. Здесь легче... Там ты бы надо мной верховодил, как хотел, а здесь — на-ко выкуси!

Он показал отцу кукиш и засмеялся, не громко, но так, что Василий, снова разъяренный, вскочил на ноги и, схватив весло, бросился к нему, хрипло выкрикивая:

— Отцу? Отцу-то? Убью...

Но, когда он, слепой в своей ярости, подскочил к лодке, Яков был уже далеко от него. Он бежал, и оторванный рукав рубашки неся за ним по воздуху.

Василий бросил в него веслом, оно не долетело, и мужик, снова обессиленный, свалился грудью в лодку и царапал ногтями дерево, глядя на сына, а тот кричал ему издали:

— Стыдился бы! Седой уж, а — из-за бабы — так озверел... Эх ты! А в деревню я не ворочусь... Сам иди туда... нечего тебе тут делать...

— Яшка! молчи! — заглушая его крик, взревел Василий. — Яшка! Убью я тебя... Поди прочь!

Яков пошел не торопясь.

Тупыми, безумными глазами отец смотрел, как он идет. Вот он стал короче, ноги его как бы утонули в песке... он ушел в него по пояс... по плечи... с головой. Нет его... Но через минуту, немного дальше того места, где он исчез, опять сначала появилась его голова, плечи, потом весь он... Он стал меньше теперь... Обернулся и смотрит сюда и что-то кричит.

— Проклят ты! Проклят, проклят! — ответил Василий на крик сына. Тот махнул рукой, снова пошел и... снова исчез за бугром песка.

Василий еще долго смотрел в ту сторону, пока спина его не заняла от неудобной позы, в которой он полулежал, прислонясь к лодке. Разбитый, он встал на ноги и пошатнулся от ноющей боли в костях. Пояс сбился ему

подмышки; деревянными пальцами он развязал его, поднес к глазам и бросил на песок. Потом пошел в шалаш и, остановясь перед углублением в песке, вспомнил, что на этом месте он упал и что если б не упал он, то поймал бы сына. В шалаше все было разбросано. Василий поискал глазами бутылку с водкой и, найдя ее между кулями, поднял. Пробка сидела в горле бутылки плотно, водка не пролилась. Василий медленно выковырял пробку и, сунув горло бутылки себе в рот, хотел пить. Но стекло стучало его по зубам, и водка лилась изо рта на бороду, на грудь.

В голове у Василия шумело, на сердце было тяжело, спину ломила ноющая боль.

— Стар я однако!.. — вслух сказал он и опустился на песок у входа в шалаш.

Пред ним было море. Смеялись волны, как всегда шумные, игривые. Василий долго смотрел на воду и вспомнил жадные слова сына:

«Кабы это все земля была! Да чернозем бы! Да распахать бы!»

Едкое чувство охватило мужика. Он крепко потер себе грудь, оглянулся вокруг себя и глубоко вздохнул. Голова его низко опустилась и спина согнулась, точно тяжесть легла на нее. Горло сжималось от приступов удушья. Василий откашлялся, перекрестился, глядя на небо. Тяжелая дума обуяла его.

... За то, что он, ради гулящей бабы, бросил жену, с которой прожил в честном труде больше полутора десятка лет, — господь наказал его восстанием сына. Так, господи!

Надругался сын над ним, больно рванул его за сердце... Убить его мало за то, что он так надсадил душу своего отца! Из-за чего? Из-за женщины, дрянной, зазорной жизнью живущей!.. Грех было ему, старику, связываться с ней, забыв о своей жене и сыне...

И вот господь, во святом гневе своем, напомнил ему, через сына ударил его по сердцу справедливой карой своей... Так, господи!..

Василий сидел согнувшись, крестился и часто моргал глазами, смахивая ресницами слезы, ослеплявшие его.

Солнце опускалось в море. На небе тихо гасла багряная заря. Из безмолвной дали несясь теплый ветер в мокрое от слез лицо мужика. Погруженный в думы раскаяния, он сидел до поры, пока не уснул.

Через день после ссоры с отцом Яков с партией рабочих отправился на барке под буксиром парохода верст за тридцать от промысла на ловлю осетра. Воротился он на промысел через пять дней один, в лодке под парусом, — его послали за харчами. Он приехал в полдень, когда рабочие, пообедав, отдыхали. Было нестерпимо жарко, раскаленный песок жег ноги, а чешуя и кости рыб кололи их. Яков осторожно шагал к баракам и ругал себя за то, что не надел сапог. Возвращаться на баркас было лень, к тому же он торопился скорее поесть чего-нибудь и увидеть Мальву. За скучное время, проведенное в море, он часто вспоминал ее. Ему теперь хотелось узнать, видела ли она его отца и что он говорил ей... Может быть, он избил ее? Ее побить не вредно, — смирнее будет! А то больно уж задорна да бойка она...

На промысле было тихо и пустынно. Окна в бараках были открыты, и эти большие, деревянные ящики тоже, казалось, изнывали от жары. В приказчиковой конторе, спрятавшейся между бараками, надрываясь, кричал ребенок. Из-за груды бочек доносились чьи-то тихие голоса.

Яков смело пошел на них: ему показалось, что он слышит речь Мальвы. Но, подойдя к бочкам и взглянув за них, он отступил назад и, насупившись, стал.

За бочками, в тени их, лежал вверх грудью, закинув руки под голову, рыжий Сережка. По одну сторону его сидел отец, а по другую — Мальва.

Яков подумал про отца:

«Зачем он тут? Неужто перевелся на промысел со своей спокойной должности для того, чтобы к Мальве ближе быть, а его к ней не подпускать? Ах, чорт! Кабы мать все эти его поступки знала!.. Идти к ним, или не надо?»

— Так!.. — сказал Сережка. — Стало быть — прощай? Ну, что же! Иди, ковыряй землю...

Яков радостно моргнул.

— Иду... — сказал отец.

Тогда Яков смело шагнул вперед и поздоровался:

— Честной компании!

Отец мельком взглянул на него и отвернулся в сторону, Мальва и бровью не моргнула, а Сережка дрыгнул ногой и сказал густым голосом:

— Вот воротился из дальних стран возлюбленный сын наш Яшка! — и своим обыкновенным тоном добавил: — Драть с него шкуру на барабан, как овчину с барашка...

Мальва тихо засмеялась.

— Жарко! — сказал Яков, садясь.

Василий снова взглянул на него.

— А я тебя, Яков, жду, — заговорил он.

Голос его показался Якову более тихим, чем всегда, и лицо было тоже точно новое.

— Я за харчами... — сообщил он и попросил у Сережки табаку на папироску.

— Нет от меня табаку тебе, дураку, — сказал Сережка, не двигаясь.

— Ухожу я домой, Яков, — внушительно произнес Василий, ковыряя песок пальцем руки.

— Что — так? — невинно посмотрел на него сын.

— Ну, а ты... останешься?

— Да, я останусь... Что нам двоим дома делать?

— Ну... я ничего не скажу. Как хочешь... не маленький! Только ты тово... помни, что я недолго протяну. Жить-то, может, и буду, а работать не знаю уж как... Отвык я, чай, от земли... Так ты помни, мать у тебя там есть.

Ему, должно быть, трудно было говорить: слова как-то вязли у него в зубах. Он гладил бороду, и рука его дрожала.

Мальва пристально смотрела на него. Сережка прищурил один глаз, а другой сделал круглым и уставил его в лицо Якова. Яков был полон радости и, боясь выдать ее, молчал, глядя на свои ноги.

— Не забудь же про мать-то... Смотри, один ты у нее, — говорил Василий.

— Чего там? — сказал Яков, поевшись. — Я знаю.

— Ладно, коли знаешь!.. — недоверчиво взглянув на него, сказал отец. — Я говорю только — не забудь, мол.

Василий глубоко вздохнул. Несколько минут все четверо молчали. Потом Мальва сказала:

— Скоро зазвонят на работу...

— Ну, я пойду!.. — поднимаясь на ноги, объявил Василий. И все остальные встали за ним.

— Прощай, Сергей... Случится тебе быть на Волге — может, заглянешь?.. Симбирского уезда, деревня Мазло, Николо-Лыковской волости...

— Ладно, — сказал Сережка, тряхнул ему руку и, не выпуская ее из своей жилистой лапы, поросшей рыжей шерстью, взглянул с улыбкой в его грустное и серьезное лицо.

— Лыково-Никольское — большое село... Далеко его знают, а мы от него — четыре версты, — объяснял Василий.

— Ну, ну... Я забреду, — коли случай будет...

— Прощай!

— Прощай, милый человек!

— Прощай, Мальва! — глухо сказал Василий, не глядя на нее.

Она не торопясь вытерла себе губы рукавом и, закинув ему свои белые руки на плечи, трижды молча и серьезно поцеловала его в щеки и губы.

Он смутился и что-то невнятно промычал. Яков наклонил голову, скрывая усмешку, а Сережка легонько зевнул, глядя в небо.

— Жарко тебе будет идти, — сказал он.

— Ничего... Ну, прощай, Яков!

— Прощай!

Они стояли друг против друга, не зная, что делать. Печальное слово «прощай», так часто и однообразно звучавшее в воздухе в эти секунды, пробудило в душе Якова теплое чувство к отцу, но он не знал, как выразить его: обнять отца, как это сделала Мальва, или пожать ему руку, как Сережка? А Василию была обидна нереш-

тельность, выражавшаяся в позе и на лице сына, и еще он чувствовал что-то близкое к стыду пред Яковом. Это чувство вызывалось в нем воспоминаниями о сцене на косе и поцелуями Мальвы.

— Так про мать-то помни! — сказал, наконец, Василий.

— Да ладно уж! — тепло улыбнувшись, воскликнул Яков. — Ты не беспокой себя... а я уж!..

И он потрянул головой.

— Ну... и все! Живите тут, дай вам господь... не поминайте лихом... Так котелок-то, Серега, в песке я зарыл, под кормой, у зеленой лодки.

— А на что ему котелок? — быстро спросил Яков.

— Он на мое место определен... Туда, на косу! — объяснил Василий.

Яков посмотрел на Сережку, взглянул на Мальву и опустил голову, скрывая радостный блеск в своих глазах.

— Прощайте ж, братцы... иду я!

Василий поклонился им и пошел. Мальва двинулась за ним.

— Я провожу тебя немножко...

Сережка лег на песок и схватил за ногу Якова, тоже было шагнувшего за Мальвой.

— Тпру! Куда?

— погоди! Пусти... — рванулся было Яков.

Но Сережка схватил его за другую ногу.

— Посиди со мной...

— Да ну-у! Чего дуришь?

— Я не дую... А ты сядь!

Яков сел, стиснув зубы.

— Чего тебе надо?

— погоди! Ты помолчи, а я подумаю, потом и скажу...

Он грозно окинул парня своими нахальными глазами, и Яков покорился ему...

Мальва и Василий несколько времени шли молча. Она заглядывала сбоку в лицо ему, а глаза ее странно блестели. А Василий угрюмо нахмурился и молчал. Ноги их вязли в песке, и шли они медленно.

— Вася!

— Что?

Он взглянул на нее и тотчас же отвернулся.

— А ведь это я нарочно поссорила тебя с Яшкой-то... Можно бы и так жить вам здесь, не ссорясь, — говорила она спокойно и ровно.

— Зачем же это ты? — помолчав, спросил Василий.

— Не знаю... Так!

Она пожала плечами, усмехаясь.

— Хорошее сделала дело! Эх ты! — укорил он ее злым голосом.

Она промолчала.

— Испортишь ты мне парня, вконец испортишь! Эхма! Ведьма ты, ведьма... бога не боишься... стыда не имеешь... что делаешь?

— А что надо делать? — спросила она его. Не то тревога, не то досада звучали в ее вопросе.

— Что? Эх ты!.. — вспыхивая острой злобой к ней, воскликнул Василий.

Ему страстно хотелось ударить ее, свалить ее себе под ноги и втоптать в песок, ударя сапогами в ее грудь и лицо. Он сжал кулак и оглянулся назад.

Там, у бочек, торчали фигуры Якова и Сережки, и лица их были обращены к нему.

— Поди прочь, — уйди! Расшиб бы я тебя...

Он почти шептал ей ругательства прямо в лицо. Глаза у него были налиты кровью, борода тряслась, а руки невольно тянулись к ее волосам, выбившимся из-под платка.

Она же смотрела на него спокойно своими зелеными глазами.

— Убить бы мне тебя, потаскуха ты! Погоди... налетит еще... сломят тебе башку!

Она усмехнулась, помолчала, а потом, вздохнув грубо, бросила ему:

— Ну, полно... Прощай!

И, круто повернувшись, пошла назад.

Василий рычал вслед ей и скрипел зубами. А Мальва шла и все старалась попасть своими ногами в ясные глубокие следы ног Василия, оттиснутые в песке, и, попав в этот след, она старательно затираала его своей ногой. Так она медленно шла вплоть до бочек, где Сережка встретил ее вопросом:

— Ну, проводила?

Она утвердительно кивнула ему головой и села рядом с ним. Яков смотрел на нее и ласково улыбался, двигая своими губами так, точно он шептал что-то, слышное только ему.

— Что же, — проводила, жалко стало? — снова спросил ее Сережка словами песни.

— Ты когда пойдешь туда, на косу? — ответила она вопросом, кивая головой в море.

— Вечером.

— И я с тобой...

— Важно!.. Это я люблю...

— И я пойду! — решительно заявил Яков.

— Кто тебя зовет? — спросил Сережка, щуя глаза.

Раздался дребезжащий звон разбитого колокола — призыв к работе. Звуки торопливо неслись в воздухе один за другим и умирали в веселом шорохе волн.

— А вот она позовет! — сказал Яков, вызываясь глядя на Мальву.

— Я? На что ты мне нужен? — удивилась она.

— Будем говорить прямо, Яшка!.. — сурово сказал Сергей, поднимаясь на ноги. — Ежели ты к ней приставать будешь — изобью вдрызг! А пальцем тронешь — убью, как муху! Хлопну по башке — и нет тебя на свете! У меня — просто!

Все лицо его, вся фигура и узловатые руки, потянувшиеся к горлу Якова, очень убедительно говорили о том, как все это просто для него.

Яков отступил на шаг и сдавленно сказал:

— погоди! Ведь она сама же...

— Цыц — и все тут! Что ты такое? Не тебе, собака, барашка поедать: скажи спасибо, коли дадут костей поглотать... Ну?.. Чего буркалы пялишь?

Яков взглянул на Мальву. Зеленые глаза ее усмехались в лицо ему обидной, унижающей усмешкой, и она прижалась сбоку к Сережке так ласково, что Якова в пот бросило.

Они ушли от него рядом друг с другом и, отойдя немного, засмеялись оба громким смехом. Яков крепко втиснул правую ногу в песок и замер в напряженной позе, тяжело дыша.

Вдали по желтым, мертвым волнам песка двигалась маленькая, темная человеческая фигурка; справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, а слева, вплоть до горизонта, лежали пески — однообразные, унылые, пустынные. Яков посмотрел на одинокого человека и, заморгав глазами, потными обиды и недоумения, крепко потер себе грудь обеими руками...

На промысле закипала работа.

Яков слышал сочный, грудной голос Мальвы, сильно кричавшей:

— Кто взял мой нож?..

Волны звучали, солнце сияло, море смеялось...

СКУКИ РАДИ

...Извергая клубы тяжелого, серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И, когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба, — вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-желтая, небо — яркоголубое. И та и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишенным фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты — главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления ее слушающим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно одетых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, равнодушные лица — звонок, свистки — и с грохотом они уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица, и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их сердцах — смутная зависть к людям, которые ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами черную ленту, — она исчезает в золотом море хлеба, — и молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции — добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник — рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука — маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик.

На скамье у двери станции сидит жена начальника, маленькая, толстая женщина, сильно страдающая от жары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда начальник станции говорит, обращаясь к жене:

— А что, Соня, самовар готов?

— Конечно, — лениво и тихо отвечает она.

— Лука! Ты тут, того... подмети полотно и перрон... видишь — сколько нашвыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвей Егорович...

— Да... ну, что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

— По обыкновению, — говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

— А что, Соня, обед готов?

Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

— Ну, что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

— Как всегда...

Уходят с перрона в комнату, где много цветов и мало мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, вокруг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

— Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в желтом? Ядовитая штукенция!..

— Недурна, но одета безвкусно, — отвечает помощник.

Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он кончил гимназию. У него есть тетрадка в черном коленкоре; он записывает в нее разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признаёт его авторитет во всем, что не касается службы, и слушает его внимательно. Особенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

— Разве желтое не к лицу брюнеткам?

— Я говорю о фасоне, а не о цвете, — объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы себе на блюдечко.

— Фасон — это другое дело!.. — соглашается начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изошрены — беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своем великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда; но прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведен. Эти новости не обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснется земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение, возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой

пустоты. Потом солнце прикасается краем к земле и лениво уходит в нее или за нее. В небе еще долго после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но она все бледнеет, и наступают сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит ночь, черная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздается звонок — повестка к поезду; торопливый звук колокола несется в степь и быстро тонет в ней.

Вскоре после звонка из темной дали выбегает красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окруженной тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в деревню за семь верст от станции. Там у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого и степенного стрелочника «подежурить» на станции.

При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке:

— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно...

А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый солдат с круглым, красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

— Хозяйство! — восклицает он, усмехаясь. — Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ах ты птичий губернатор! — презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг нее, целый день, не смолкая, раздается птичий

гам. Плененные солдатом перепела неустанно кричат свое однообразное «подь-полоть», скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, усаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними все свое свободное время и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовет ужом, Гомозова — кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они «бабьи прихвостни» и что следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но, если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

— Гарниза ты серая, крысиный объедок! Что ты можешь понимать, отставной козы барабанщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шел жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его — не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплевываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим... Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди, да не осужден будешь...

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать...

Кроме жены начальника, на станции была еще одна женщина — кухарка. Звали ее Арина; ей было лет под сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом лице блестели узкие испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее нескладной фигуре, толстые

губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать. Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он говорил ей «здорово!» Она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришел в кухню начальника станции и предложил Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то сама понесла их к нему.

— Вот и спасибо! — сказал Гомозов. — Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть — тридцать копеек следует тебе... Верно?

— Да уж так... — ответила Арина.

Гомозов задумался и долго молчал.

— А ты какой губернии? — спросил он, наконец, женщину, все время смотревшую на его бороду.

— Рязанской... — сказала она.

— Издалека! А сюда как же попала?

— А так... одна я... одинокая...

— От этого и дальше можно зайти... — вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачского уезда... — заговорил Гомозов. — Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дети — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так... А я того... заматался с горя. Да-а... Потом пробовал опять устроиться — ан нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со своей дороги... вот и бьюсь третий год уж...

— Плохо, когда нет своего гнезда, — тихо сказала Арина.

— Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?

— Девка...

— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.

— Ей-богу, девка, — уверила его Арина.

— Что же замуж не вышла?

— Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть... да и с лица некрасивая...

— Да-а... — задумчиво протянул Гомозов и, поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом спросился, сколько она получает жалованья.

— Два с полтиной...

— Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что... ты приди-ка вечером за ними... часов этак в десять, а? Я тебе и отдам... чаю попьем, поговорим скуки ради... Оба мы одинокие... приходи!

— Приду, — просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал ее к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа на койке, посмотрел на нее и, подвинувшись к стене, сказал:

— Садись.

А когда она села, объявил ей:

— Ты вот что, — храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

— Чтобы ни одна душа — ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он принимал ее снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

— А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

— Приходи сегодня...

И она покорно являлась к нему с таким серьезным выражением на своем рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так, — это все-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

— А сегодня жарче вчерашнего, — сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

— Это от скуки кажется, что жарче...

— Гм! Пожалуй... действительно... Вот карты хороши в этом случае... но — нас только трое...

Николай Петрович повел плечами и, прищулив глаза, отчетливо произнес:

— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко! — умилился Матвей Егорович. — Как это? Банкротство мысли... да-а! А кто сказал?

— Шопенгауэр, немец, философ...

— Фи-илософ? Мм...

— А что эти философы — в университетах служат? — полюбопытствовала Софья Ивановна.

— То есть как вам сказать? Это не чин, а... так сказать, природная способность... Философом может быть всякий... кто родится с привычкой думать и во всем искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы... но они могут быть и просто так... даже служить на железной дороге.

— И много получают те, которые при университетах?

— Глядя по уму...

— Но, если бы был четвертый, — премило бы мы повинтили! — со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребенок.

— Арина там? — спрашивает Матвей Егорович.

— Конечно... — кратко отвечает ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович...

— Оригинальность — первый оттиск банальности, — как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

— Как? — оживляется начальник.

И, когда Николай Петрович вразумительно повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голоском говорит:

— Как вы хорошо помните то, что читали.... а я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то такое интересное, такое забавное, — а что? ни слова не помню!

— Привычка, — кратко объясняет Николай Петрович.

— Нет, это лучше этого... как его? Шопенгауэра... — улыбаясь, говорит Матвей Егорович. — Выходит, что все новое будет старым!

— И наоборот, ибо один поэт сказал: «Да, экономна мудрость бытия: все новое в ней шьется из старья».

— Фу ты, чорт! Как это у вас... точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеется, его жена мило улыбается, а Николай Петрович польщен и безуспешно хочет скрыть это.

— Кто это сказал насчет банальности-то?

— Барятинский, поэт.

— А другое?

— Тоже поэт — Фофанов.

— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и нараспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двестише.

Скука как бы играет с ними, — на минуту освободит их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи — только солнце.

— Да, так я заговорил об Арине, — вспоминает Матвей Егорович. — Странная эта баба, смотрю я на нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чем-то, не смеется она, не поет, говорит мало... пень какой-то. Но между тем она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребенку...

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услышала его слова. Он знает, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

— Ну, уж ты оставь... ты не все знаешь о ней!

Любви раба,
Я так слаба
В борьбе с тобой,
О демон мой!

— тихонько и речитативом напевает Николай Петрович, отбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.

— Что, что такое? Она... ну, ну, это вы уж врете оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него трясутся и со лба быстро стекают капельки пота.

— Это совсем даже не смешно! — останавливает его жена. — Во-первых, у нее на руках ребенок; во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А почему?

— Да-а, хлеб, действительно, не того... нужно ей сделать внушение! Но, ей-богу! это... этого я не ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, чорт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого чорта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозов... — кратко говорит Николай Петрович.

— Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того — не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами, то серьезно говорит о необходимости сделать влюбленным строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец, он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно... — не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

— Телеграф стучит...

— Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку. Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: «могу ли отправить поезд № 42», а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

— А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки, скуки ради, посмеемся хоть немного...

— Это позволительно!.. — соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.

Им очень скоро представилась возможность посмеяться.

Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них — ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, все шептала про себя молитвы, известные ей.

Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шопотом:

— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!

— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.

— Заперли нас...

— Как так? — спросил он, вскакивая.

— Подошли и... замком...

— Врешь ты! — испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.

— Погляди сам, — покорно сказала она.

Он встал и, задевая за все, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это солдат...

За дверью раздался ликующий хохот.
— Выпусти! — громко попросил Гомозов.
— Что? — раздался голос солдата.
— Выпусти, мол...
— Утром выпустим, — сказал солдат и пошел прочь.
— Дежурство у меня, чорт! — сердито и умоляюще крикнул Гомозов.

— Я подежурю... сиди, знай!..

И солдат ушел.

— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник. — Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальник... что ты ему скажешь? Он спросит — где Гомозов — а? Вот ты и отвечай ему тогда...

— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, — тихо и безнадежно сказала Арина.

— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов. — Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: — Врешь ты!

Она ответила тяжелым вздохом.

— Что же это будет? — спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери. — Срам-то мне какой! А все ты, уродина чортова, все ты это... у-у!

Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же молчала.

Сырая тьма окружала их, — тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щеко-тавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции.

— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов со злобой и презрением. — Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, чорт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я связался с этакой!..

— Я прощения попрошу, — тихо объявила Арина.

— Ну?

— Может, простят...

— Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее. А время шло жестоко медленно. Наконец, женщина с дрожью в голосе попросила его:

— Прости ты меня, Тимофей Петрович!

— Колом бы тебя по башке простить! — зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.

— Господи! хоть бы светало скорее, — тоскливо взмолилась Арина.

— Молчи ты... я те вот засвечу! — пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени все увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.

Гомозов задремал, наконец, и проснулся от крика петуха, раздававшегося рядом с погребом.

— Эй, ты... ведьма! Спишь? — глухо спросил он.

— Нет, — тяжелым вздохом ответила Арина.

— А то бы заснула! — с иронией предложил стрелочник. — Эх ты...

— Тимофей Петрович, — почти взвизгнув, воскликнула Арина, — не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом богом прошу — пожалей! Одна ведь я, одна-то оди-нешенька! И ты мне... родной ты мой — ведь ты мне...

— Не вой — не смей людей-то! — строго остановил Гомозов истерический шопот женщины, несколько смягчавший его. — Молчи уж... коли бог убил...

И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот, наконец, в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребке. Вскоре около погребка раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.

— М-мучители! — замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и напряженное.

— Господи!.. помилуй... — прошептала Арина.

Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок, и раздается строгий голос начальника:

— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну, живо!..

— Иди ты! — вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.

Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:

— С законным браком поздравляю! Пожалуйста! Музыка — играй!

Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.

Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:

— Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

Тимофею да Орина
Сладки речи говорила...

— пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.

— Ну, идите... ну... под руку бери ее!.. — кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя... будет... ах! умру!

За миг свиданья
Терплю страданья!

— пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.

— Ур-ра новобрачным! — скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули «ура», причем солдат кричал ревущим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.

— Мотя, вели им... поцеловаться!.. ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро все грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, цел:

А и густо ты, Орина,
Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.

— Новобрачный удрал, а... она осталась, — кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы — в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.

— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна. — Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.

— Как, как? — переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел время и место вставить маленькую мудрость:

Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно!

— сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил: — Но много смеяться — вредно!

Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед не убил

хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою красавицу.

— По оригинальности — это грехопадение номер первый, — сказал Николай Петрович начальнику.

— Грехопадение и есть, — хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

— Вначале она мне все подмаргивала.

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

— Но «не в шитье была тут сила»... — заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете, из Некрасова — из стихотворения «Нарядная и убогая»... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неутомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту, подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать.

И в то время, как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

— Господи!.. помилуй...

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрекот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной желтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине ее и уж никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества, — никто, никогда...

К вечеру она услышала крики:

— Арина-а! Аришка, чо-орт!..

Один голос был голосом Луки, другой — солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, все сильнее терзавшую ее. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погребца и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй... — вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из веревки, на которой сушила выстиранное ею белье.

Через два дня по запаху труп Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле? Николай Петрович неопровержимо доказал,

что виноват — Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожного мастера было поручено свезти ее в степь и там закопать. Когда же это было исполнено — на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова ее обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетавшими мимо них.

...А зимой, когда по степи с воем и ревом носятся вьюги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими звуками, — обитателям станции живется еще скучнее.

В СТЕПИ

Мы вышли из Перекопа в самом сквернейшем настроении духа — голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжение половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и, когда убедились, наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Куда? Вообще — дальше.

Мы готовы были пойти и во всех отношениях дальше по той жизненной тропе, по которой давно уже шли, — это было молча решено каждым из нас и ясно сверкало в угрюмом блеске наших голодных глаз.

Нас трое; мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра.

Один — солдат железнодорожного батальона, потом — якобы — дорожный мастер, рыжий и мускулистый человек, с холодными, серыми глазами; он умел говорить по-немецки и обладал очень подробным знанием тюремной жизни.

Наш брат не любит много говорить о своем прошлом, всегда имея на это более или менее основательные причины, и потому все мы верили друг другу — по крайней мере, наружно верили, ибо внутренне каждый из нас и сам-то себе плохо верил.

Когда второй наш товарищ, сухонький и маленький человечек с тонкими губами, всегда скептически поджатыми,

говорил о себе, что он бывший студент московского университета, — я и солдат принимали это за факт. В сущности, нам было решительно все равно, был ли он когда-то студентом, сыщиком или вором, — важно было лишь то, что в момент нашего знакомства он был равен нам: голодал, пользовался особым вниманием полиции в городах и подозрительным отношением мужиков в деревнях, ненавидел и ту и других ненавистью загнанного, голодного зверя, мечтал об универсальной мести всем и всему, — одним словом, и по своему положению среди царей природы и владык жизни, и по настроению — был нашего поля ягода.

Третий был я. По скромности, со времен молодых ногтей моих присущей мне, я ни слова не скажу о моих достоинствах и, не желая показаться вам наивным, умолчу о своих недостатках. Но, пожалуй, в виде материала для моей характеристики, я скажу, что всегда считал себя лучше других и успешно продолжаю заниматься этим до сего дня.

Итак, — мы вышли из Перекопа и шли дальше, имея в виду чабанов, у которых всегда можно попросить хлеба и которые очень редко отказывают в этом прохожим людям.

Я шел рядом с солдатом, «студент» шагал сзади нас. На плечах у него висело нечто, напоминавшее пиджак; на голове — острой, угловатой и гладко остриженной — покоился остаток широкополой шляпы; серые брюки в разноцветных заплатках обтягивали его ножки, а к ступням он пристроил веревочками, свитыми из подкладки его костюма, найденное на дороге голенище сапога, назвал это сооружение сандалиями и шагал молча, поднимая много пыли и поблескивая зеленоватыми маленькими глазками. Солдат был одет в красную кумачевую рубаху, которую, по его словам, он «собственноручно» приобрел в Херсоне; сверх рубахи на нем был еще теплый ватный жилет; на голове, по воинскому уставу — «с заломом верхнего круга на правую бровь», — надета была солдатская фуражка неопределенного цвета; на ногах болтались широкие чумачьи шаровары. Он был бос.

Я тоже был одет и бос.

Вокруг нас во все стороны богатырским размахом распростерлась степь и, покрытая синим знойным куполом безоблачного неба, лежала, как громадное, круглое черное блюдо. Серая, пыльная дорога резала ее широкой полосой и жгла нам ноги. Местами попадались щетиновые полосы сжатого хлеба, имевшие странное сходство с давно не бритыми щеками солдата.

Солдат шел и пел сиповатым басом:

— ...И святое воскресение твое поем и хва-алим...

Во время своей службы он был чем-то вроде дьячка батальонной церкви, знал бесчисленное множество тропарей, ирмосов и кондаков, знанием которых и злоупотреблял каждый раз, когда беседа наша почему-либо не вязалась.

Впереди, на горизонте, росли какие-то фигуры мягких очертаний и ласковых оттенков от лилового до нежно-розового.

— Очевидно, это и есть Крымские горы, — сказал «студент».

— Горы? — воскликнул солдат, — больно рано, друг, увидел ты их. Это... облака. Видишь, какие — точно клюквенный кисель с молоком...

Я заметил, что было бы в высшей степени приятно, если бы облака и в самом деле состояли из киселя.

— Ах, дьявол! — выругался солдат, сплевывая. — Хоть бы одна живая душа попалась! Никого... Приходится, как медведям зимой, собственные лапы сосать...

— Я говорил, что надо было к заселенным местам двигаться, — поучительно заявил «студент»...

— Ты говорил! — возмутился солдат. — На то ты и ученый, чтобы говорить. Какие тут заселенные места? Чорт их знает, где они!

«Студент» замолчал, поджав губы. Солнце садилось, облака на горизонте играли разнообразными, неуловимыми словом красками. Пахло землей и солью.

И от этого сухого, вкусного запаха наши аппетиты еще более усиливались.

В желудках сосало. Это было странное и неприятное ощущение: казалось, что из всех мускулов тела соки медленно вытекают куда-то, испаряются и мускулы теряют свою живую гибкость. Ощущение колющей сухости

наполняло полость рта и глотку, в голове мутилось, а перед глазами мелькали темные пятна. Иногда они принимали вид дымящихся кусков мяса, караваев хлеба; воспоминание снабжало эти «виденья былого, виденья немые» свойственными им запахами, и тогда в желудке точно нож повертывался.

Мы все-таки шли, делясь друг с другом описанием наших ощущений, зорко посматривая по сторонам — не видать ли где-либо отары овец, и слушая — не раздастся ли резкий скрип арбы татарина, везущего фрукты на Армянский базар.

Но степь была пуста, безмолвна.

Накануне этого тяжелого дня мы втроем съели четыре фунта ржаного хлеба и штук пять арбузов, а прошли около сорока верст — расход не по приходу! Заснув на базарной площади Перекопа, мы проснулись от голода.

«Студент» справедливо советовал нам не ложиться спать, а в течение ночи заняться... но в порядочном обществе не принято вслух говорить о проектах нарушения права собственности, я молчу. Я хочу быть только правдивым, не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни и даже, когда берут за глотку своего ближнего с явной целью удушить его, — стараются сделать это с возможной любезностью и соблюдением всех приличий, уместных в данном случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости...

Так, глотая голодную слюну и стараясь дружеской беседой подавить боли в желудках, мы шли пустынной, безмолвной степью, в красноватых лучах заката; перед нами солнце тихо опускалось в мягкие облака, щедро окрашенные его лучами, а сзади нас и с боков голубоватая мгла, поднимаясь со степи в небо, суживала неприветливые горизонты.

— Собирайте, братцы, материал для костра, — сказал солдат, поднимая с дороги какую-то чурбашку. —

Придется ночевать в степи — роса! Кизяки, всякий прут — все бери!

Мы разошлись по сторонам дороги, собирая сухой бурьян и все, что могло гореть. Каждый раз, когда приходилось наклоняться к земле, в теле возникало страстное желание упасть и есть землю, черную, жирную, много есть, есть до изнеможения, потом — заснуть. Хоть навсегда заснуть, только бы есть, жевать и чувствовать, как теплая и густая каша из рта медленно опускается по ссохшемуся пищеводу в желудок, горящий от желания впитать в себя что-либо.

— Хоть бы коренья какие-нибудь найти... — вздохнул солдат. — Есть этакие съедобные коренья...

Но в черной вспаханной земле не было никаких кореньев. Южная ночь наступала быстро, и еще не успел угаснуть последний луч солнца, как уже в темносинем небе заблестели звезды, а вокруг нас все плотнее сливались тени, суживая бесконечную гладь степи...

— Брагцы, — вполголоса сказал «студент», — там влево человек лежит...

— Человек? — усомнился солдат. — А чего ему там лежать?

— Иди и спроси. Наверное, у него есть хлеб, коли он расположился в степи.

Солдат посмотрел в сторону, где лежал человек, и решительно сплюнул.

-- Идем к нему!

Только зеленые, острые глаза «студента» могли разобрать, что темная куча, возвышавшаяся сажень в пятидесяти влево от дороги, — человек. Мы шли к нему, быстро шагая по комьям пашни, и чувствовали, как зародившаяся в нас надежда на еду обостряет боли голода. Мы были уже близко, — человек не двигался.

— А может, это не человек, — угрюмо выразил солдат общую всем мысль.

Но наше сомнение рассеялось в тот же момент, ибо куча на земле вдруг зашевелилась, выросла, и мы увидели, что это — самый настоящий, живой человек, он стоял на коленях, простирая к нам руку, и говорил глухим и дрожащим голосом:

— Не подходи, — застрелю!

В мутном воздухе раздался сухой, краткий щелчок.

Мы остановились, как по команде, и несколько секунд молчали, ошеломленные нелюбезной встречей.

— Вот так мерзавец! — выразительно пробормотал солдат.

— Н-да, — задумчиво сказал «студент». — С револьвером ходит... видно, икряная рыба...

— Эй! — крикнул солдат, очевидно, решив что-то.

Человек, не изменяя позы, молчал.

— Эй, ты! Мы не тронем тебя, — дай нам только хлеба — есть? Дай, брат, Христа ради!.. Будь ты, анафема, проклят!

Последние слова солдат произнес себе в усы.

Человек молчал.

— Слышишь? — с дрожью злобы и отчаяния снова заговорил солдат. — Дай, мол, хлеба! Мы не подойдем к тебе... брось нам его...

— Ладно, — кратко сказал человек.

Он мог бы сказать нам «дорогие братья мои!» — и, если б он влил в эти три слова все самые святые и чистые чувства, они не возбудили бы нас так и не очеловечили бы настолько, как это глухое краткое «ладно»!

— Ты не бойся нас, добрый человек, — мягко улыбаясь, заговорил солдат, хотя человек не мог видеть его улыбки, ибо был отделен от нас расстоянием по крайней мере в двадцать шагов.

— Мы люди смирные, — идем из России в Кубань... подшиблись деньгой в дороге, все с себя проели, — а теперь вот уж вторые сутки не жрамши...

— Держи! — сказал добрый человек, взмахнув рукой в воздухе. Черный кусок медькнул и упал неподалеку от нас на пашню. «Студент» бросился за ним.

— Еще держи! Больше нет...

Когда «студент» собрал эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имеем фунта четыре пшеничного черствого хлеба. Он был вывален в землю и очень черств. Черствый хлеб сытнее мягкого: в нем меньше влаги.

— Так... и так... и так! — сосредоточенно распределял солдат куски. — Стой... не ровно! У тебя, ученый, надо ущипнуть кусочек, а то ему мало...

«Студент» беспрекословно подчинился утрате кусочка хлеба золотников в пять весом; я получил его, положил в рот.

И стал жевать, медленно жевать, едва сдерживая судорожное движение челюстей, готовых искрошить камень. Мне доставляло острое наслаждение чувствовать судороги пищевода и понемножку, капельками удовлетворять его. Глоток за глотком, теплые, неописуемо вкусные, проникали в желудок и, казалось, тотчас же превращались в кровь и мозг. Радость, — такая странная, тихая и оживляющая радость, грела сердце по мере того, как наполнялся желудок. Я позабыл о проклятых днях хронического голода, позабыл о моих товарищах, погруженный в наслаждение ощущениями, которые я переживал.

Но когда я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба, то почувствовал, что смертельно хочу есть.

— У него, анафемы, сало там еще осталось или мясо какое-то... — ворчал солдат, сидя на земле против меня и потирая руками желудок.

— Наверное, потому хлеб имел запах мяса... Да и хлеб, наверно, остался, — сказал «студент» и тихонько добавил: — Если бы не револьвер...

— Кто он такой?

— Видно, наш брат Исакий...

— Собака! — решил солдат.

Мы сидели тесной группой, посматривая туда, где сидел наш благодетель с револьвером. Оттуда до нас не доносилось ни звука, ни признака жизни.

Ночь собирала вокруг свои темные силы. Мертвенно-тихо было в степи, — мы слышали дыхание друг друга. Иногда где-то раздавался меланхолический свист суслика... Звезды, живые цветы неба, горели над нами... Мы хотели есть.

С гордостью говорю — я был не хуже и не лучше моих случайных товарищей в эту несколько странную ночь. Я предложил им встать и идти на этого человека. Не нужно трогать его, но мы съедим все, что найдем. Он будет стрелять, — пускай! Из троих попадет только в одного, — если попадет; а если и попадет, так едва ли револьверная пуля убьет насмерть.

— Идем! — сказал солдат, вскочив на ноги.

«Студент» поднялся медленнее его.

И мы пошли, почти побежали. «Студент» держался сзади нас.

— Товарищ! — укоризненно крикнул ему солдат.

Навстречу нам несло́сь глухое бормотанье и резкий звук щелкающего курка. Вот сверкнул огонь, раздался сухой звук выстрела.

— Мимо! — радостно крикнул солдат, одним прыжком достигая человека. — Ну, дьявол, я ж тебе теперь задам...

«Студент» бросился к котомке.

А «дьявол» упал с колен на спину и, разметав руки, хрипел...

— Что за чорт! — изумился солдат, уже поднявший ногу, чтобы дать пинка этому человеку. — Неужто он в себя ахнул? Ты! Что ты? Эй! Застрелился, что ли?

— И мясо, и какие-то лепешки, и хлеб... много, братцы! — раздался ликующий голос «студента».

— Ну, чорт с тобой, издыхай... Едим! — крикнул солдат. Я вынул револьвер из руки человека, который уже перестал хрипеть и лежал теперь неподвижно. В барабане был еще один патрон.

Мы снова ели, ели молча. Человек лежал и тоже молчал, не двигая ни одним членом. Мы не обращали на него внимания.

— Неужто, братцы родные, вы это только из-за хлеба? — вдруг раздался хриплый и дрожащий голос.

Мы все вздрогнули. «Студент» даже поперхнулся и, согнувшись к земле, стал кашлять.

Солдат, прожевав кусок, начал ругаться.

— Собачья ты душа, чтоб те треснуть, как сухой колоде! Шкуру, что ли, мы с тебя сдерем? На кой она нам нужна? Дурье твоё рыло, поганый дух! На-ко! — вооружился и палит в людей! Анафема ты...

Он ругался и ел, отчего ругань его теряла выразительность и силу...

— Погоди, вот мы поедим, так рассчитаемся с тобой, — зловеще пообещал «студент».

Тогда в тишине ночи раздались воющие рыдания, испугавшие нас.

— Братцы... разве я знал? Стрелял... потому что боюсь. Иду из Нового Афона... в Смоленскую губернию... господи! Лихорадка смаяла... как солнце зайдет — беда моя! От лихорадки и с Афона ушел... столярил там... столяр я... Дома жена... две девочки... три года четвертый не видал их... братцы! Всё ешьте... .

— Съедем, не проси, — сказал «студент».

— Господи боже! кабы я знал, что вы мирные, хорошие люди... разве бы я стал стрелять? А тут, братцы, степь, ночь... виноват я?

Он говорил и плакал, вернее — издавал дрожащий, пугливый вой.

— Вот скулит! — презрительно сказал солдат.

— У него должны быть деньги с собой, — заявил «студент».

Солдат прищурил глаза, посмотрел на него и усмехнулся.

— А ты — догадливый... Вот что, давайте-ка костер запалим, да и спать...

— А он? — осведомился «студент».

— А чорт с ним! Жарить нам его, что ли?

— Следовало бы, — сказал «студент», качнув своей острой головой.

Мы сходили за набранными нами материалами, которые бросили там, где остановил нас столяр своим окриком, принесли их и скоро сидели вокруг костра. Он тихо теплился в безветреную ночь, освещая маленькое пространство, занятое нами. Нас клонило ко сну, хотя мы все-таки могли бы еще раз поужинать.

— Братцы! — окликнул столяр. Он лежал в трех шагах от нас, и порой мне казалось, что он что-то шепчет.

— Да? — сказал солдат.

— Можно мне к вам... к огню? Смерть моя приходит... кости ломит!.. Господи! не дойду я, видно, домой-то...

— Ползи сюда, — разрешил «студент».

Столяр медленно, точно боясь потерять руку или ногу, подвинулся по земле к костру. Это был высокий, страшно исхудавший человек; все на нем как-то болталось, болтавшие, мутные глаза отражали сведавшую его боль. Искривленное лицо было костляво и даже при освещении костра имело какой-то желтовато-землистый мертвенный

цвет. Он весь дрожал, возбуждая презрительную жалость. Протянув к огню длинные, худые руки, он потирал костлявые пальцы, суставы их гнулись вяло, медленно. В конце концов на него было противно смотреть.

— Что же ты это — в таком виде — пешком идешь? — скуп, что ли? — угрюмо спросил солдат.

— Посоветовали мне... не езди, говорят, по воде... а иди Крымом, — воздух, говорят. А я вот не могу идти... помираю, братцы! Помру один в степи... птицы расклюют, и не узнает никто... Жена... дочки будут ждать — написал я им... а мои кости дожди будут степные мыть... Господи, господа!

Он завыл тоскливым воем раненого волка.

— О, дьявол! — взбесился солдат, вскочив на ноги. — Чего ты скулишь? Что ты не даешь покоя людям? Издыхаешь? Ну, издыхай, да молчи...

— Ляжемте спать, — сказал я. — А ты, коли хочешь быть у огня, так не вой, в самом деле...

— Слышал? — свирепо сказал солдат. — Ну, и понимай. Ты думаешь, мы возиться с тобой будем за то, что ты в нас хлебом швырял да пули пускал? Кислый чорт! Другие бы, — тыфу!..

Солдат замолчал и вытянулся на земле.

«Студент» уже лежал. Я тоже лег. Напуганный столляр съежился в комок и, подвинувшись к огню, молча стал смотреть на него. Я слышал, как стучали его зубы. «Студент» лег слева и, кажется, сразу заснул, свернувшись в комок. Солдат, заложив руки под голову, смотрел в небо.

— Экая ночь, а? Звезд сколько... — обратился он ко мне. — Небо-то — одеяло, а не небо. Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно и голодно, но свободно уж очень... Нет над тобой никакого начальства... Хоть голову себе откуси — никто тебе слова не скажет. Наголодался я за эти дни, налил... а вот теперь лежу, смотрю в небо... Звезды мигают мне: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся... И на сердце хорошо... А ты, — как тебя? эй, столляр! Ты не сердись на меня и ничего не бойся... Что мы хлеб твой съели, это ничего: у тебя был хлеб, а у нас не было, мы твой и съели... А ты, дикий человек, пули пускаешь... Неужто

ты не понимаешь, что пулей вред человеку можно сделать? Очень я на тебя давеча рассердился и, ежели бы ты не упал, вздул бы я тебя, брат, за твою дерзость. А насчет хлеба — дойдешь ты завтра до Перекопа и купишь там, — деньги у тебя есть, конечно... Давно ты схватил лихорадку-то?

Долго еще в моих ушах гудел бас солдата и дрожащий голос больного столяра. Ночь — темная, почти черная — спускалась все ниже на землю, и в грудь лился свежий, сочный воздух.

От костра исходил ровный свет и живительное тепло... Глаза слипались.

.....
— Вставай! Живо! Идем!

Я с испугом открыл глаза и быстро вскочил на ноги, чему помог солдат, сильно дернув меня с земли за руку.

— Ну, живо! Шагай!

Лицо у него было сурово и тревожно. Я оглянулся вокруг. Всходило солнце, уже розовый луч его лежал на неподвижном, синем лице столяра. Рот у него был открыт, глаза далеко вышли из впадин и смотрели стеклянным взглядом, выражая ужас. Одежда на его груди вся изорвана, он лежал в неестественно изломанной позе. «Студента» не было.

— Ну, загляделся! Иди, говорю! — внушительно сказал солдат, таща меня за руку.

— Он умер? — спросил я, вздрагивая от утренней свежести.

— Конечно. И тебя удушить, так ты умрешь, — объяснил солдат.

— Его — «студент»? — воскликнул я.

— Ну, а кто же? Ты, может? А то я? Вот те и ученый... Ловко управился с человеком... и товарищей своих в рюху всади. Знай я это, я бы вчера этого «студента» убил. Убил бы с одного разу. Трах его кулаком в висок... и нет на свете одного мерзавца! Ведь что он сделал, ты понимаешь? Теперь мы должны так идти, чтобы ни один глаз человеческий не выдал нас в степи. Понял? Потому — столяра сегодня найдут и увидят — удушен и ограблен. И будут смотреть за нашим братом... откуда идешь, где

ночевал? Хотя при нас с тобой и нет ничего... а револьвер-то его у меня за пазухой! Штука!

— Ты его брось, — посоветовал я солдату.

— Бросить? — задумчиво сказал он. — Вещь-то ценная... А может, нас и не словят еще?.. Нет, я не брошу... кто знает, что у столяра оружие было? Не брошу... Он рубля три стоит. Пуля в нем есть... эхма! Как бы эту я самую пулю милому товарищу нашему в ухо выпустил! Сколько он, собака, денег огреб, — а? Анафема!

— Вот те и дочки столяровы... — сказал я.

— Дочки? Какие? А, у этого... Ну, они вырастут, замуж-то не за нас выйдут, об них и разговору нет... Идем, брат, скорее... Куда нам идти?

— Я не знаю... Все равно.

— И я не знаю, и знаю, что все равно. Идем вправо: там должно море быть.

Мы пошли вправо.

Я обернулся назад. Далеко от нас в степи возвышался темный бугорок, а над ним сияло солнце.

— Смотришь, не воскрес ли? Не бойсь, догонять нас не встанет... Ученый-то, видно, со сноровкой парень, основательно управился... Ну, и товарищ! Здорово он нас всадил! Эх, брат! Портятся люди, из года в год все больше портятся! — печально сказал солдат.

Степь, безмолвная и пустынная, вся залитая ярким солнцем утра, развertyвалась вокруг нас, сливаясь на горизонте с небом, таким ясным, ласковым и щедрым светом, что всякое черное и несправедливое дело казалось невозможным среди великого простора этой свободной равнины, покрытой голубым куполом небес.

— А жрать-то хочется, брат! — сказал мой товарищ, свертывая папироску.

— Чего мы сегодня поедим, и где, и как?

Задача!

.....
На этом рассказчик — мой сосед по больничной койке — кончил свою повесть, сказав мне:

— Вот и все. Я очень подружился с этим солдатом, мы с ним вместе дошли до Карсской области. Это был добрый и опытный малый, типичный бродяга. Я уважал

его. До самой Малой Азии шли мы вместе, а там потеряли друг друга...

— Вы вспоминаете иногда о столяре? — спросил я.

— Как видите или — как слышали...

— И... ничего?

Он засмеялся.

— А что я должен чувствовать при этом? Я не виноват в том, что с ним случилось, как вы не виноваты в том, что случилось со мной... И никто ни в чем не виноват, ибо все мы одинаково — скоты.

[«ПЕРВЫЙ РАЗ Я УВИДЕЛ ЭТУ ЖЕНЩИНУ...»]

Первый раз я увидел эту женщину, когда она шла за гробом кого-то, очевидно, близкого ей, — черное облако крепа ниспадало с ее головы на стройную, высокую фигуру, красиво изогнутые губы были крепко сжаты, на ее лице — точно мраморном — сухо горели темные глаза, и вся она показалась мне олицетворением гордого страдания.

Потом я стал встречать ее на берегу моря, в пустынном и угрюмом месте: там лежали один на другом огромные серые камни — остатки осыпавшейся горы, — изрезанные глубокими морщинами, покрытые налетом соли и клочьями мертвых водорослей.

Неподвижно, как изваяние, она сидела среди камней, — здесь безмолвная глубина ее горя выступала предо мною еще ярче, — ветер тихо играл кисеей траура, а к ногам ее, из пустыни моря, одна за другой шли веселые волны и разбивались о камни у ног ее. Иногда я видел на ее лице тяжелые, крупные слезы.

Мне хотелось заговорить с нею, но я не решался, и вот однажды, ярким майским днем, — море помогло мне.

Накануне была сильная зыбь, а в этот день мягкие, гибкие волны шли на берег весело и плавно, украшая угрюмые, серые камни белой пеной, разноцветными брызгами и снова с ласковым шорохом уходя в море.

Волна лениво подошла к берегу, подняла свой курчавый гребень еще выше, на мгновение как бы остано-

лась в шаловливой неподвижности и вдруг, склонясь, гулко разбилась о камни...

Женщина тихо вскрикнула, быстро поднялась на ноги и, улыбаясь, стала встряхивать с платья брызги воды.

Когда она крикнула, — я бросился к ней, но тотчас же остановился, видя, что она не нуждается в помощи.

Она заметила мое движение, — ясная улыбка осветила ее лицо, красиво дрогнули ресницы гордых глаз, и глубоким, грудным голосом она спросила:

— Я испугала вас?

Потом, указывая глазами на новую волну, тихо криво улыбаясь к берегу, она добавила:

— Она так неожиданно высоко плеснула... Извините меня! Я помешала вам...

— Не беспокойтесь, — ответил я, — вы мне не мешали...

— Да нет же... я видела. Это — нехорошо. Не надо мешать человеку, когда он молчит...

— Вы... странно говорите... — промолвил я.

— Я знаю цену этих слов, — ответила она спокойно.

И села выше на камень. Снова лицо ее стало неподвижно, а глаза остановились на чем-то в дали моря, ярко облитой солнцем и пустынной. Там все рождались, одна за другой, веселые, смелые волны и плавно катились на берег, чтоб со смехом и пенем разбиться о серые камни.

— Сударыня! — тихо сказал я, — ничто не обогащает душу человека так, как ее обогащает одиночество, но иногда нет сил пережить свое горе одному... И тогда одиночество истощает сердце, как засуха землю...

Она обернулась ко мне и внимательно, но молча посмотрела мне в лицо печально-темными глазами.

— Я видел вас, когда вы шли за гробом, — смущенно продолжал я, — а здесь — вы плакали...

— О, это был не первый гроб! — сказала она тихо и наклонила голову. — И не так больно хоронить людей на кладбище, как это больно, когда хоронишь их живыми в своем сердце. А ведь случается... вы знаете?

Я знал. Мы оба замолчали.

У наших ног, играя, умирали волны и воскресали вновь, назойливо и жадно кричали чайки, нас обнимал

здоровый, крепкий запах моря, оно сверкало под лучами солнца зелеными и синими огнями, великолепное, могучее...

— Делился ли с вами кто-нибудь счастьем? — вдруг заговорила женщина. — Я думаю — нет. А горем? Вероятно — часто, не так ли? Вот видите...

И снова взгляд ее задумчиво ушел в пустыню моря, где среди белых гребней волн хлопотливо мелькали чайки.

— Мы слишком много говорим о своем горе, мы слишком много жалуемся. Все вокруг нас насыщено нашими стонами... и, умирая, мы на всем оставляем только отпечатки наших личных страданий. Приходят другие люди, они молоды, сильны и смелы, но прежде чем узнать жизнь непосредственно, они отравляются нашим наследством. Мы раскрасили жизнь тусклыми, темными красками и только язвы свои рисуем красиво; мы везде, где могли, — а особенно в поэзии, — выдвинули вперед наши личные неудачи... Те, что идут за нами, видят и слышат все это... и утомляются чужим горем раньше, чем придет свое. А когда оно приходит, — у них уже нет силы сопротивляться ему... и они тоже громко стонут...

Она замолчала и посмотрела в небо, где хлопотливо мелькали чайки...

— Кто уважает человека, тот должен молчать о себе. Кто дал нам злое право отравлять людей тяжелым видом наших личных язв? В древности раненный насмерть гордо молчал, чтобы и стоном своим не дать врагу злой радости... а мы готовы оглушить весь мир жалобным криком, даже когда у нас болят зубы. Нам чуждо великодушные молчания... Моя печаль, быть может, — моя смертельная болезнь... но часто люди болеют и умирают от жадности и от излишеств... мне их не жалко.

Помолчав, она сказала тихо, но внятно:

— Так хотелось бы видеть людей более гордыми... Если б я была волшебницей — каждого новорожденного я наделяла бы великодушием молчания!

Она встала — высокая, стройная, вся в легком черном облаке кисеи. У ног ее покорно и весело разбивались волны, ее лицо было спокойно и глубокие глаза гордо смотрели вдаль.

— Прощайте! — сказала она, кивая головой, и вновь длинные ресницы ее ласково дрогнули.

Я поклонился ей молча.

И она медленно пошла среди серых камней, то появляясь между ними, то исчезая вновь, гибкая, сильная, полная великодушного молчания о своем горе.

Резво и весело одна за другой волны разбивались о камни берега, и воздух, насыщенный бодрым запахом моря, тихо и сонно дрожал от их шумного плеска. Радостно, и щедро, и безмолвно солнце обливало море и землю жгучим плодотворным светом.

ПРОХОДИМЕЦ

I

ВСТРЕЧА С НИМ

...Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стекла пальцем и провозглашал:

— Пустите прохожего ночевать?!

В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к чорту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого — молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:

— Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома...

Я понял ее так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа... Пожалев, что он дома, я пошел к следующему окну.

— Добрые люди! Пустите прохожего ночевать?!

Мне ласково ответили:

— Иди с богом — дальше!

А погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал еще много невеселых звуков, нарушая скорбной музыкой темную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут — осень, люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому

не пускали меня ночевать. Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и, наконец, уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы, — хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжелой тьме.

Но вот я вижу, что в трех шагах от меня возвышается что-то большое и еще более темное, чем тьма. Догадываюсь — это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях; между полом магазина и землей есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться, — стоит только лечь на живот и проползти туда.

Очевидно, судьба хотела, чтобы я провел эту ночь не под крышей, а под полом. Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздается спокойно предупреждающий голос:

— Держите левее, почтенный...

Это было поистине неожиданно.

— Кто тут? — спросил я

— Человек... с палкой!..

— Палка и у меня есть...

— А спички есть?

— И спички.

— Вот хорошо!

Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.

— А что, в деревне не пускают ночевать? — спросил невидимый голос.

— Не пускают, — сказал я.

— И меня тоже не пустили...

Это было ясно, — если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтоб выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден богу, но все-таки я решил крепко держать в руке мою палку.

— Не пустили, черти! — повторил голос. — Дубье! В хорошую погоду пускают, а вот в такую — хоть реви!

— А вы куда идете? — спросил я.

— В... Николаев. А вы?

Я сказал куда.

— Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю.

Спички отсырели; я очень долго и нетерпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот, наконец, вспыхнул маленький огонек, — из тьмы выглянуло бледное лицо в черной бороде.

Большие, умные глаза с усмешкой посмотрели на меня, потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:

— Хотите курить?

Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете ее еще раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:

— Ну, нам, кажется, можно не стесняться, — берите папиросу!

У него в зубах была другая — разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом. Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан веревкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи — «поршни», как их зовут на Дону.

— Странник? — спросил я.

— Пешешествую. Вы?

— Тоже.

Он завозился, брякнуло что-то металлическое, — очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам; но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдает странника, в его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность, и пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов «от писания». Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой «бродячей Руси», — худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же и шел он на Николаев, где нет мощей...

— А откуда шагаете? — спросил я.

— Из Астрахани...

В Астрахани тоже нет мощей. Тогда я спросил его:

— Значит, вы от «моря до моря» ходите, а не по святым местам?

— И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место? Там всегда хорошо кормят... особенно, если со мни-хами в интимность вступить. Наш брат Исакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчет этого?

— Пользуюсь.

— Кормовые места. А откуда идете? Ага! Путина протяженная. Запаливайте спичку, — еще покурим. Когда куришь, как будто теплее становится...

Было действительно холодно: и от ветра, который нахально врывается к нам, и от мокрой одежды.

— Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны... дать?

— Ворону? — спросил я с любопытством.

— А вы их не едите? Напрасно...

Он сунул мне большую краюху хлеба.

— Я не пробовал ворон...

— Нате, попробуйте. Осенью они вкусные. И потом — гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданные тебе рукой ближнего из окна дома его... который всегда, после того, как примешь милостыню, — хочется поджечь!..

Это он резонно говорил, резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления: я знал, что в Одессе зимой «раклы» едят крыс, в Ростове — улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь, а есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении.

— А как же вы ловите ворон? — осведомился я.

— Не ртом, конечно. Их можно убивать палкой или камнем, но вернее — удить! Нужно привязать на конец длинной бечевки кусок сала, мяса или корку хлеба. Ворона схватит, проглотит и — тащи ее! Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром.

— Хорошо бы теперь посидеть у костра! — вздохнул я.

Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб: он с таким болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порою вместе с ним прилетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.

— Скучно лежать молча!.. — сказал мой соночлежник.

— А говорить — холодно, — заметил я.

— А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется!

— Спасибо за совет...

— Вместе, что ли, пойдем? Нам по дороге...

— Пойдемте!

— Так познакомимся... я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов...

Отрекомендовался и я.

— Ну-с, так вот! Теперь спрошу: вы как попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?

— От скуки жизни...

— И это возможно... А вы знаете одно сенатское издание, именуемое: «Справки о судимости»?

— Знаю...

— Ваше имя там напечатано?

Я в то время еще нигде не печатался, о чем и заявил ему.

— И я тоже не пропечатан...

— Но надеетесь?

— Все в руке божией!

— А вы, кажется, веселый человек?

— О чем горевать?!

— Не всякий скажет это, будучи в вашем положении, — усомнился я в искренности его слов.

— Положение — сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Взойдет солнце — ведь оно взойдет? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедим, согреемся... Разве плохо?

— Хорошо! — согласился я.

— Ну вот видите! Все дурное имеет свои хорошие стороны...

— Все хорошее — свои дурные...

— Амины! — тоном диакона возгласил Промтов.

Ей-богу, с ним весело! Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним.

Пока мы беседовали, дождь перестал, тьма незаметно начала таять; уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась и свежесть утра — приятная и бодрящая, когда она застает человека одетым в сухое и теплое платье.

— Не найдем ли мы тут чего-нибудь для костра? — спросил Промтов.

Ползая по земле, мы искали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к своему месту. Отдрав, превратили ее в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли проверить дыру в полу магазина, дабы достать зерен ржи, — ибо, если рожь сварить в воде, — получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно: мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтоб взять ее два-три фунта.

— А вам какое до этого дело? — спросил Промтов.

— Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности...

— Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя! И нужно только потому, что она для всякого другого — чужая...

Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности и что приятность знакомства с ним, наверное, имеет свои неудобства.

Явилось солнце, веселое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зеленой извилистой ленте деревьев вдали от нас.

— Там — река, — сказал мой знакомый.

Я смотрел на него и думал, что ему, должно быть, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, темные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твердой и спорой походке, в ранце из кожи, ловко прикрепленном на спине, во всей его фигуре видна была привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья сноровка.

— Пойдем мы с вами так, — говорил он: — сейчас за рекой, верстах в шести, будет село Манжелея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички... Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о писании с ними — ни слова! Они сами в писании, как дома...

Мы выбрали себе место недалеко от группы осокорей, набрали камней на берегу речонки, мутной от дождя, и на камнях развели костер. Верстах в двух от нас на возвышенности стояла деревня, солома ее крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени. Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые и багряные цвета листвы и нежноголубое небо между нею.

— Я буду купаться, — объявил Промтов. — Это необходимо после такой скверной ночи. Советую и вам. А пока мы освежимся — чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо.

Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И, когда я увидел его обнаженным, грязные лохмотья, сброшенные им с себя, показали мне более гнусными, чем казались до сей поры... Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наше платье, согретое у костра. Потом сели к огню пить чай.

У Промтова была железная кружка; он налил в нее кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но чорт, который всегда готов посмеяться над человеком, дернул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил:

— Спасибо! Пейте сначала вы, я подожду!

Я сказал это в твердой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мною в великодушии и вежливости, — тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал:

— Ну, хорошо..

И поднес кружку к своему рту.

Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его темные глаза. А он прихлебывал чай, жевал хлеб, вкусно чмокая губами, и делал все это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали, я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.

— Что, — засмеялся Промтов, — невыгодно деликатничать-то?

— Увы! — сказал я.

— Ну и прекрасно! Учитесь... Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и говорят, что все люди — братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками...

— Уж будто вы именно так думаете?

— А чего ради я говорил бы не так, как думаю?

— Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был...

— Не пойму я, чем вызвал у вас такое недоверие ко мне!.. — пожал плечами этот волк. — Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своем месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни...

— И мне тоже этого хочется... Скажите мне: кто и что вы? — спросил я у него.

Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:

— Человек никогда точно не знает, кто он... Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает.

— Хотя бы так!

— Ну... думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я — широк... Может быть, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том,

что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри их живет тревожный зуд желания чего-то нового... Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу, и от этого всегда не удовлетворены, несчастны, крупных ничто не удовлетворяет — ни деньги, ни женщины, ни почет... Таких людей не любят: они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство ближних — пятачки, ходовая монета... и вся разница между ними только в годах чеканки. Этот — стерт, тот — поновее, но цена им одна, материал их одинаков, и во всем они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак, — хотя, может быть, я семишник... Вот и все!

Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство, я решил идти за ним, пока не узнаю, — кто он? Было ясно, что это так называемый «интеллигентный человек». Их много среди бродяг, все они — мертвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишенные способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днем своей жизни падают все ниже в грязь и гадость; потом растворяются в ней и исчезают из жизни.

Но у Промтова было что-то твердое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.

— Ну что же? Идем? — предложил он.

— Идем!

Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по ее течению.

— А вы как добываете пропитание? — спросил я Промтова. — Работаете?

— Ра-ботаю? Нет, я до этого не охотник...

— Но как же?

— А — вот увидите!

Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то веселую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твердо, как человек, идущий к цели.

Я смотрел на него, и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне.

...Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на нее она,

пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону, как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточенно лая. Выбегали ее подруги, но они не отличались таким усердием: тьякнут раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, еще более возбуждало рыжую собачонку.

— Видите, какая подлая натура? — сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку. — И ведь лжет она, понимает, что лаять не нужно, она не зла — она труслива, но — желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей... Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами...

— Благодарю, — сказал я.

— Не на чем. Однако мне нужно пострелять...

На его выразительном лице явилась скорбная мина, глаза стали глупыми, весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нем встали стоймя, как плавники ерша.

— Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе, — объяснил он мне свое превращение и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребенка. Промтов поклонился ей и просительно сказал:

— Ненько моя! А дайте ж странным людям хлеба!

— Не прогневайтесь! — ответила женщина, окинув нас подозрительным взглядом.

— Чтoб у тебя в грудях сперло, суча дочка, — сурово пожелал ей мой спутник.

Женщина взвизгнула, как ужаленная, и бросилась к нам.

— Ах вы...

Промтов, не двигаясь с места, смотрел ей в лицо своими черными глазами, и выражение их было дико и зловеще... Баба побледнела, вздрогнула и, что-то пробормотав, быстро пошла в хату.

— Идемте, — предложил я Промтову.

— А вот подождем, пока она вынесет хлеба...

— Она выйдет на нас мужа с вилами.

— Много вы понимаете, — скептически усмехнулся этот волк.

Он был прав, — женщина явилась перед нами, держа в руках полкаравая хлеба и солидный шматок сала. Молча и низко поклонившись Промтову, она просительно сказала ему:

— Пожалуйте, возьмите, человеке божий, не гневайтесь...

— Спаси тебя боже от злого ока, от ворожбы и тряски!.. — внушительно напутствовал ее Промтов. И мы пошли...

— Послушайте, — сказал я, когда мы были уже далеко от хаты, — что это у вас какой странный... чтобы не сказать более, способ прощения?

— Самый верный... Если на бабу стрелнуть хорошенько глазами — она примет за колдуна, испугается и не только хлеба — всю мужнину «кишеню» целиком отдаст. Для чего мне просить и унижаться пред ней, когда я могу приказать? Я всегда думал, что лучше вырвать, чем выпросить...

— А не случилось, что вам вместо хлеба...

— По шее давали? Нет. Сунься-ка ко мне! У меня, батенька, ест с собой магическая бумажка — стоит мне ее показать мужику, и он — раб мой... Хотите, покажу?

Я держал в своих руках эту довольно грязную и измятую бумажку и видел: это было проходное свидетельство, выданное Павлу Игнатьеву Промтову, высланному административным порядком из Петербурга, для следования из Астрахани в Николаев. На бумажке была печать астраханского полицейского правления и соответствующие подписи, — всё как следует...

— Не понимаю! — сказал я, возвращая этот документ в руки собственника. — Каким это случаем вы, высланный из Петербурга, следуете из Астрахани?

Он рассмеялся, всей своей фигурой выражая сознание своего превосходства надо мной.

— А очень просто! Подумайте — меня высылают из Петербурга и, высылая, мне предлагают выбрать — за известными исключениями — место жительства. Я называю Курск, скажем к примеру. Являюсь в Курск, иду в полицию... Честь имею представиться! Курская полиция не может принять меня любезно: у нее своих хлопот — полон рот. Она предполагает, что пред ней ловкий

мазурик, если от него не могли избавиться по силе и при помощи статей закона, а должны были, для его искоренения, прибегнуть к административным мерам. И она всегда рада сбыть меня куда-нибудь — хоть в омут головой! Видя ее затруднения, я прихожу к ней на помощь. «Так как, говорю я, я сам избирал место жительства, то не пожелаете ли вы, чтоб я и еще раз избрал его?» Они рады скачать меня с шеи. Я и говорю, что готов уйти из круга их попечения о неприкосновенности личностей и имущества, но мне, за мою любезность, следует дать на дорогу. Они дают рублей пять, десять, больше и меньше, смотря по настроению и характеру, — всегда дают с удовольствием. Лучше потерять пять целковых, чем приобрести в лице моем лишнее беспокойство, — не так ли?

— Может быть, — сказал я.

— Да уж — именно так! И они снабжают меня бумажкой, совершенно не похожей на паспорт. В различии же этой бумажки с паспортом и заключается ее магическая сила. На ней написано: «Административно высланному из Петербурга!» Я показываю ее старосте, который, по обыкновению, глуп, как пень, он в ней ни дьявола не понимает. Он боится ее: на ней печати. Я говорю ему: «На основании этой бумаги ты должен дать мне ночлег». Он дает. «Должен накормить меня!» Он кормит. Иначе он не может, потому что в бумаге изображено — из Петербурга, административно! Чорт знает, что оно такое — «административно»? Может быть, это значит: послан тайно для расследования насчет кустарных промыслов, подделки фальшивой монеты, тайного винокурения, тайной продажи напитков? Или насчет того — как усердно посещают православную церковь?.. А может быть, что-нибудь касательно земли? Кто разберет, что такое значит — административно? Может быть, я кто-нибудь перереженный?.. Мужик глуп, что он понимает?

— Да, он мало понимает, — заметил я.

— И это очень хорошо! — убежденно заявил Промтов. — Именно таким он и должен быть, и в таком лишь виде он и необходим для всех, как воздух. Ибо — что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь — съедобное животное. Например, — я!

Разве возможно было бы мне пребывание на земле без мужика? Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик!

— А земля?

— Был бы мужик — земля будет! Стоит ему приказать: «Эй ты! Сотвори землю!» И — бысть земля. Он не может ослушаться...

Любил говорить этот веселый пройдоха! Мы давно уже вышли из села, прошли мимо многих хуторов, и уже снова пред нами стояла деревня, вся утопавшая в оранжевой листве осени. Промтов болтал — веселый, как чиж, а я слушал и думал о новом для меня виде паразита, разъедающего мужицкое призрачное благосостояние...

— Послушайте-ка! — вдруг вспомнил я одно обстоятельство. — Мы встретились с вами при таких условиях, которые заставляют меня сильно усомниться в силе вашей бумажки... это как объяснить?

— Э! — усмехнулся Промтов. — Очень просто: я уже проходил по сим местам, а — не всегда, знаете, удобно напоминать о себе...

Его откровенность нравилась мне. Я внимательно вслушивался в развязную болтовню моего спутника, пытаюсь определить, таков ли он, каким себя рисует?

— Вот пред нами деревня, — желаете, я покажу вам действие моей бумажки? — предложил Промтов.

Я отказался от этого опыга, предложив ему лучше рассказать мне, за что именно его наградили бумажкой?..

— Ну, это, знаете ли, длинная история! — махнул он рукой. — Но я расскажу — когда-нибудь. А пока что — давайте отдохнем и закусим. Пищевой снаряд у нас есть в достаточном количестве, значит, идти в деревню и беспокоить ближнего нам пока не требуется.

Отойдя в сторону от дороги, мы уселись на землю и стали есть. Потом, разленившись под теплыми лучами солнца и дуновением мягкого ветра степи, улеглись и заснули... А когда проснулись, солнце, багровое и большое, уже было на горизонте, и на степь ложились тени южного вечера.

— Ну, вот видите, — объявил Промтов, — судьбе угодно, чтоб мы заночевали в этой деревушке...

— Пойдемте, пока еще светло, — предложил я.

— Не бойтесь! Сегодня ночуем под кровом...

Он был прав: в первой же хате, куда мы толкнулись с просьбой о ночлеге, нас гостеприимно пригласили войти.

Хозяин хаты, крупный и добродушный «чоловік», только что приехал с поля, его «жінка» готовила «вечеряти». Четверо чумаzych ребятишек, сбившись в кучу в углу хаты, смотрели оттуда любопытными и робкими глазами. Дородная «жінка» быстро и молча металась из хаты в сени и обратно, внося хлеб, кавуны, молоко. Хозяин сидел против нас на лавке и сосредоточенно тер себе поясницу, кидая на нас вопрошающие взгляды.

Вскоре с его стороны последовал обычный вопрос:

— Где ж вы идете?

— Ходим, добрый человек, от моря до моря, до Киева города!.. — бойко отвечал Промтов словами старой колыбельной песни.

— Чего ж там, у Києви? — подумав, спросил человек.

— А — святые мощи?

Хозяин посмотрел на Промтова и молча сплюнул. Потом, после паузы, спросил:

— А видкиля идете?

— Я — из Петербурга, он — из Москвы, — отвечал Промтов.

— От що? — поднял брови хохол. — А що этот Петербург? Кажуть люди, що він на морі построен... и що его заливає...

Дверь отворилась, и явилось двое хохлов...

— А мы до тебе, Михайло! — объявил один из них.

— Що ж вы до мене?

— Та воно — таке діло... Що се за люди?

— Ось цей? — спросил хозяин, кивая на нас головой.

— Эге ж!

Хозяин помолчал, подумав и покрутив головой, объявил:

— Хиба ж я знаю?

— Мабудь, вы странники? — спросили у нас.

— Эге! — ответил Промтов.

Воцарилось молчание. Три хохла рассматривали нас упорно, подозрительно, любопытно... Наконец, все уселись за стол и начали с треском уничтожать кроваво-красные кавуны...

— Мабудь, который из вас есть письменный? — обратился к Промтову один из хохлов.

— Оба, — кратко ответил Промтов.

— Так не знаете ли вы, часом, що треба делать чоловіку, як в него хребет ноет и зудит до того, что ночью и спать не можно?

— Знаем! — объявил Промтов.

— А що?

Промтов долго жевал хлеб, потом вытирал руки о свои лохмотья, потом задумчиво смотрел в потолок и, наконец, решительно и даже сурово заговорил:

— Нарвать крапивы и велеть бабе на ночь тою крапивой растереть хребет, а потом смазать его конопляным маслом с солью...

— Что ж с того буде? — осведомился хохол.

— А — ничего не будет, — пожал плечами Промтов.

— Ничего?

— Как есть ничего!

— А помочь воно?

— Поможет...

— Спытаю... Спасибо вам...

— На здоровьечко! — пожелал Промтов совершенно серьезно.

Долгое молчание, хруст кавунов, шопот детей...

— А слушайте вы, — заговорил хозяин хаты, — як того... воно не звистно вам... мабудь, краем уха зловили вы в Петербурги або в Москви... насчет Сибири... можно переселяться чи не можно? Бо земскій, — бреше він чи справды, — бачил, що зовсім не можно?

— Не можно! — рубит Промтов.

Хохлы переглянулись друг с другом, и хозяин пробормотал в усы себе:

— Хай им жаба в брюхо влизе!

— Не можно! — вновь объявил Промтов, и вдруг лицо его стало каким-то вдохновенным... — А потому не можно, что незачем ехать в Сибирь, когда везде земли — сколько хочешь!

— Та воно вирно, що для покойників земли везде у волю... для живых бы треба!.. — грустно заявил один хохол.

— В Петербурге решено, — торжественно продолжал Промтов, — всю землю, какая есть у крестьян и у помещиков, отобрать в казну...

Хохлы дико вытаращили на него глаза и молчали. Промтов строго осмотрел их и спросил:

— Отобрать в казну — зачем?

Молчание приняло характер напряженный, и бедняги хохлы, казалось, вот-вот лопнут от ожидания. Я смотрел на них, едва сдерживая злобу, возбужденную издевательством Промтова над бедняками. Но разоблачить пред ними его нахальное вранье — значило бы отдать его на избиение им. Я молчал.

— Та говорите ж, добрый чоловік! — тихо и робко попросил один из хохлов.

— Затем отобрать, чтоб правильно разделить всю землю между крестьянами! Признано там, — Промтов ткнул рукой куда-то вбок, — что истинный хозяин земли есть крестьянин, и вот сделано распоряжение: в Сибирь не пускать, а ожидать раздела...

У одного из хохлов даже кусок кавуна вывалился из руки. Все они смотрели в рот Промтова жадными глазами и молчали, пораженные его дивной вестью. И потом — через несколько секунд — раздалось одновременно четыре восклицания:

— Мати пречиста! — истерически вздохнула «жінка».

— А... мабуть, вы брешете?

— Та говорите ж, добрый чоловіче!

— Ось к чому цей год таки ярки зори! — убедительно воскликнул тот хохол, у которого болел хребет.

— Это — только слух, — сказал я, — может быть, все это окажется брехней...

Промтов с искренним изумлением взглянул на меня и горячо заговорил:

— Как слух? Как так брехня?

И полилась из уст его мелодия наглейшего вранья — сладкая музыка для всех слушателей, кроме меня. Уверительно он сочинял! Мужики готовы были вскочить ему в рот. Но мне было дико слушать эту вдохновенную ложь, она могла накликать на головы простодушных людей большое несчастье. Я вышел из хаты и лег на дворе,

думая, как бы разоблачить скверную игру моего спутника? Потом я заснул и был разбужен Промтовым на восходе солнца.

— Вставайте, идем! — говорил он.

Рядом с ним стоял заспанный хозяин хаты, а котомка Промтова топорщилась во все стороны. Мы простились с ним и ушли. Промтов был весел, пел, свистал и иронически поглядывал на меня сбоку. Я обдумывал речь к нему и молчал, шагая рядом с ним.

— Ну-с, что же вы меня не распинаете? — вдруг спросил он.

— А вы сознаете, что следует? — сухо осведомился я.

— Ну, разумеется... Я понимаю вас и знаю, что вы должны меня шпынять... Даже скажу вам, как вы будете это делать. Хотите? Но — лучше бросьте это. Что дурного в том, что мужики помечтают? Они только будут умнее от этого. А я — выигрываю. Посмотрите, как они туго набили мне котомку!

— Но ведь вы можете подвести их под палку!

— Едва ли... А хотя бы? Какое мне дело до чужой спины? Дай боже свою сберечь в целости. Это, конечно, не морально; но какое мне, опять-таки, дело до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что никакого дела нет!

«Что же? — подумал я, — волк прав...»

— Положим, что они через меня потерпят, но ведь и после этого небо будет голубым, а море — соленым.

— Но неужели вам не жалко...

— Меня не жалеют... Аз есмь перекасти-поле, и всякий, кому ветер бросает меня под ноги, — пинает меня в сторону...

Он был серьезен и сосредоточенно зол, глаза его блестя мстительно.

— Я всегда так действую, а порой и хуже... Одному мужичку в Саратовской губернии от боли в животе я рекомендовал пить настоящее на черных тараканах деревянное масло, — за то, что он был скуп. Да мало ли я наделал злого и смешного во время моих странствий? Сколько я разных нелепых суеверий и мечтаний ввел в духовный оборот мужика... И вообще, я не стесняюсь...

Зачем бы мне это? Ради каких законов, я спрашиваю? Нет законов иных, разве во мне!

Я, слушая его, думал, что с моей стороны будет очень умно, если я вспомню первый псалом царя Давида и сойду с пути этого грешника. Но мне хотелось знать его историю.

Дня три еще провел я с ним и в эти три дня убедился во многом, о чем раньше догадывался. Так, например, мне стало ясно, каким путем в котомку Промтова попали разные ненужные вещи, вроде подсвечника медного, стамески, куска кружев, мониста. Я понял, что рискую ребрами и даже могу попасть туда, куда обыкновенно попадают коллекционеры, подобные Промтову. Нужно было расстаться с ним... Но — его история!

И вот однажды, в день, когда дул свирепый ветер, сбивая нас с ног, и мы с Промтовым зарылись в стог соломы, дабы укрыться от холода, Промтов рассказал мне историю своей жизни...

II

история его жизни

— Ну-с, будем рассказывать, — на пользу и в поучение вам... Начну с папаши. Папаша у меня был человек строгий и благочестивый, достукался к шестидесяти годам до полной пенсии и переехал на жительство в уездный городишко, где купил себе домик... А мамаша была женщина доброго сердца и горячей крови, — так что, может быть, мой-то папаша мне и не отец. Он меня не уважал: за всякую малость ставил в угол, на колени, а то ремнем хлестал. Мамаша же любила меня, и с ней мне хорошо жилось. За каждую записочку, которую она, бывало, пошлет со мной другу своего сердца, — а у нее друзья сердца всегда были, — я получаю от нее должное вознаграждение, а за скромность — особо. Когда папаша уехал, я остался в шестом классе гимназии и вскоре из нее был исключен за то, что перепутал учителей физики — нужно было брать уроки у нашего инспектора, а я брал их у инспекторской горничной. Инспектор на меня за это обиделся и прогнал меня к папаше.

Явился я к нему и рассказываю, что вот, мол, вследствие недоразумений с инспектором исключен я из храма науки. А инспектор-то, оказалось, уже письмом изложил папаше всю суть дела, только умолчал благоразумно о том, что он застал меня на месте преступления, в комнате горничной, и что сам он явился туда ночью и в халате, а входя, шептал сладким голосом: «Дунечка?» Но это уж его дело. Папаша, встретив меня, стал, конечно, ругаться нехорошими словами, мамаша — тоже. Поругали и решили отправить меня во Псков, где у папаши был брат. Сослали меня во Псков; вижу я: дядюшка свирепый и глупый, но кузины хорошенькие, — стало быть, жить можно. Но оказалось, что и тут я не ко двору пришелся: через три месяца турнул меня дядюшка, обвинив в развратном поведении и в дурном влиянии на дочерей его. Снова меня разругали и снова сослали — на этот раз в деревню к тетушке, в Рязанскую губернию. Тетушка оказалась славной и веселой бабой, молодежи у нее всегда была куча! Но в то время все были заражены дурацкой модой читать запрещенные книжки... Буц! И вот меня заперли в острог, где я и просидел, должно быть, месяца четыре. Мамаша письменно сообщает мне, что я ее убил, папаша извещает меня, что я его опорочил, — очень скучные родители были у меня!

— Знаете, если бы человеку было позволено самому себе родителей выбирать, это было бы много удобнее теперешних порядков — верно? Ну-с, выпустили меня из острога, и я поехал в Нижний-Новгород, где у меня сестра замужем. А сестра оказалась обремененной семейством и злой по сей причине... Что делать? На выручку мне явилась ярмарка, — поступил я в хор певцов. Голос был у меня хороший, наружность красивая, произвели меня в солисты, я и пою себе... Вы думаете, я пьянствовал при этом? Нет, я и теперь почти не пью водки, разве иногда, — очень редко, и то как согревающее. Я никогда не был пьяницей, — впрочем, напивался, если были хорошие вина, — шампанское, например. Марсалу дадите в обилии, — непременно упьюсь, ибо люблю ее, как женщин. Женщин я люблю до бешенства... а может быть, я их ненавижу... потому что, взяв что следует с женщины, я сейчас же ощущаю непреодолимое желание сделать ей

какую-нибудь мерзопакость — такую, знаете, чтоб она не боль и унижение чувствовала, а чтоб казалось ей, будто кровь ее и мозг костей ее напитал я отравой, и чтоб всю жизнь гадость этой отравы она носила в себе и чувствовала ее каждую минуту... Н-да! Уж за что я так на них зол — не знаю и не могу объяснить себе этого... Они всегда были благосклонны ко мне, ибо я был красив и смел. Но и лживы они! Впрочем, чорт с ними. Люблю я, когда они плачут и стонут, — смотришь, слушаешь и думаешь — ага! поделом вору и мука!..

— Ну-с, так вот — пою я и ничего себе, весело живу. Является однажды предо мною некий бритый человек и спрашивает: «Играть на сцене не пробовали?» — «Играл в домашних спектаклях...» — «На водевильные роли по двадцать пять рублей в месяц желаете?» Ну, и поехали мы в город Пермь. Играю я, пою в дивертисментах, — наружность — страстного брюнета, прошлое — политического преступника; дамы от меня в восторге. Дали мне вторых любовников, — играю. Пробуйте, говорят мне, героев. Пробую в «Блуждающих огнях» играть Макса, и — сам чувствую — хорошо вышло! Проиграл сезон, на лето составилось превеселое турнэ: играли в Вятке, играли в Уфе, даже в городе Елабуге играли. На зиму опять воротились в Пермь.

— И в эту зиму я почувствовал к людям ненависть и отвращение. Выйдешь, знаете, на сцену, да как сотни дураков и мерзавцев воткнут в тебя свои глаза — по коже пробежит этакая рабья, трусливая дрожь и щиплет тебя, точно ты в муравынную кучу уселся. Смотрят они на тебя, как на свою игрушку, как на вещь, которую купили для своего пользования. В их воле осудить и одобрить тебя... И вот они следят — достаточно ли ты прилежно ломаешься пред ними? И, если найдут, что прилежно, — орут, как ослы на привязи, а ты слушаешь их и чувствуешь себя довольным их похвалой. На время позабудешь, что ты их собственность... потом вспомнишь и за то, что тебе было приятно их одобрение, чуть не бьешь себя по морде...

— До судорог противна была мне эта публика, и часто хотелось плюнуть на нее со сцены, выругать ее самыми похабными словами. Бывало, чувствуешь, как ее

глаза впиваются в тело, точно булавки, и как жадно ждет она, чтобы ты пощekoгал ее... ждет с уверенностью той помещицы, которой дворовые девки на ночь пятки чесали... Чувствуешь это ее ожидание и думаешь, как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу было можно всему первому ряду зрителей носы срезать... Чорт бы их взял!

— Но я, кажется, в лиризм ударился? Так, значит, играю, ненавижу публику и хочу бежать от нее. В этом мне помогла супруга господина прокурора. Она мне не понравилась, а это ей не понравилось. Привела она в движение своего супруга, и очутился я в городе Саранске — точно пылинку ветром унесло меня с берегов Камы. Эхма! Все — как сон, в сей подлой жизни.

— Сижу в Саранске, и сидит со мной молодая жена одного пермяка, купеческого звания. Баба она была решительная и очень любила мое искусство. Вот мы с ней и сидим. Денег у нас нет, знакомств — тоже. Мне скучно, ей тоже. Она мне и стала говорить от скуки, что я ее не люблю. Сначала я это терпел, но потом надоело; я и говорю ей: «Да поди ты от меня ко всем чертям!» — «Так-то?» — говорит. Схватила револьвер, трах в меня — прямо в плечо левое засадила пулю; немножко ниже — и был бы я в раю. Ну, я, конечно, упал. А она испугалась, да со страха-то в колодец и прыгнула. До смерти размокла там.

— А меня водворили в больницу. Ну, разумеется, явились дамы: их хлебом не корми, лишь бы им повертеться около какого-нибудь амурного дела. Вертелись они вокруг меня, пока я не встал на ноги, а когда встал, то определили меня секретарем в полицию. Что ж — состоять при полиции все-таки удобнее, чем под надзором полиции. Вот я и живу месяц, два, три...

— Именно в эти дни, первый раз в моей жизни, испытал я приступ удручающей, коверкающей душу скуки... Это самое мерзостное настроение из всех, человека уродующих... Все вокруг перестает быть интересным, и хочется чего-то нового. Бросаешься туда, сюда, ищешь, ищешь, что-то находишь — берешь и скоро видишь, что это совсем не то, что нужно... Чувствуешь себя внутренне

связанным, неспособным жить в мире с самим собой, — а этот мир всего нужнее человеку! Подлое состояние...

— И довело оно меня до того, что я женился. Такой поступок для человека моего характера только и возможен с тоски или похмелья.

— Жена была дочерью священника; жила она с матерью — отец умер — и пользовалась полною свободой. Имела свой собственный домик, даже можно сказать — домище, имела деньги. Девушка она была красивая, неглупая, веселого характера, но очень любила читать книжки, и это скверно отражалось и на ней и на мне. Постоянно она вылавливала из книжек разные правила жизни: уловит какое-нибудь правило и сейчас с ним ко мне. А я со времен младых ногтей моих морали терпеть не мог... Сначала я посмеивался над женой, а потом стало мне тошно ее слушать... Вижу я, что всегда она щеголяет наряженная в разные книжные выдумки — к женщине вычитанное из книжек идет, как к лакею костюм с барского плеча. Стали мы поругиваться... Познакомился я с одним попом; был там этакий поп — забулдыга, гитарист, певец, — замечательно трепака откалывал и выпить был мастер!.. Для меня он — лучший человек в городе, потому что с ним мне было весело, а жена меня за попа ругает и все хочет втащить в свою компанию из разных книжников и фарисеев. К ней являлись по вечерам все серьезные и «лучшие люди города», как она их называла, — для меня они были серьезны, как подавленные. Я и сам любил читать в то время, но никогда не умел беспокоиться по поводу прочитанного; да и не понимаю, зачем это нужно? А они, — жена и иже с нею, — когда, бывало, прочтут какую-нибудь книжку, так в такое беспокойство приходят, точно каждому из них по сто загноз в кожу попало. По-моему так: книжка? — хорошо! интересная? — еще лучше! Но всякую книжку человек писал, а выше своей головы он не может прыгнуть. Книжки все пишутся для одной цели: все хотят показать, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. И толк будет один, прочитаешь ли сто их или тысячу. Жена пожирала книжки десятками — так что я прямо начал уже говорить ей, что мне жилось бы много лучше, если б я на попе женился. Поп только и спасал меня от скуки, а без него

я бы убежал от жены... Бывало, как только фарисеи к ней — я к попу. Так прожил я года полтора. От скуки стал с попом в церкви служить. То апостол читаю, то, стоя на клиросе, пою: «От юности моя мнози борют мя страсти».

— Много претерпел я за это время и во многом буду оправдан на страшном суде за это терпение. Но вот приехала к попу моему племянница, — приехала потому, что был он вдов, и потому, что его свиньи съели, не совсем съели, а испортили его вид. Он, знаете, упал пьяный на дворе да и заснул, а свиньи пришли во двор и объели ему ухо и еще что-то. Свиньи всякую дрянь едят. От этого ущерба захворал мой поп и призвал племянницу, чтоб она за ним ухаживала, а я за ней. Ну, мы с нею очень ревностно принялись за дело, и с успехом. А жена моя узнала и, конечно, ругается. Что мне делать? И я стал ругаться. Она и говорит мне: «Пошел вон из моего дома!» Я подумал, подумал и мирно ушел — совсем ушел из города. Так и разрешил узы моего брака... если она жива, супруга моя, так наверное уже считает меня благополучно умершим. Никогда не чувствовал я ни малого желания увидеть ее... Думаю, что и она тоже хорошо меня забыла, да живет в мире!

— И вот, снова свободный, прибыл я в город Пензу. Толкнулся в полицию — места нет; туда, сюда — места нет! Поступил в псаломщики, пою и читаю. В церкви опять публика, и снова у меня возникает к ней отвращение. Заработок — мизерный, положение — зависимое. Плохо было мне. Но одна купчиха выручила. Была она женщина толстая, богобоязненная, и жилось ей скучно. Вот она меня и облюбовала для духовного назидания. И стал я к ней ходить, а она меня — кормить. Муж у нее в доме умалишенных пребывал, она одна заправляла большим мучным делом... Вот я остороженько и подъехал к ней: «Трудно, мол, Секлетей Кирилловна?» — «Трудно», — говорит. «Возьмите меня в помощники?» — «Обманешь», — говорит, — и взяла, конечно. Тут я очень хорошо зажил; но город оказался препоганым! Ни театра нет, ни порядочной гостиницы, ни интересных людей... Затосковал я и дядюшке пишу письмо: в течение пятилетнего отсутствия из Петербурга я, мол, очень образу-

мился. Прошу прощения за все, что сделал, больше никогда и ничего не буду делать, а между прочим, спрашиваю — нельзя ли мне в Питере жить? Дядюшка отвечает — можно, но осторожно. Расстался я с купчихой.

— Знаете что — баба она была глупая, жирная и некрасивая. Были у меня любовницы очень бельфамистые, — изящные и умные бабенки были... Н-да. Но с ними я всегда расставался скверно: или я бабу прогоню со злобой и презрением, или баба мне пакость устроит. А эта Секлетей внушила мне уважение к себе своей простотой. Я говорю ей: «Прощай!» — «Прощай, говорит, мой сердечный! Дай тебе бог счастья...» — «Неужто, мол, тебе не жалко расстаться?» — «Как, говорит, не жалко этакое красавца да умницу? Век бы, говорит, не рассталась с тобой, да ведь нужно... я, говорит, тебя понимаю — ты птица вольная; ну, и лети себе с богом!» И горько плачет... «Ну, говорю, прости меня, Секлетей!» — «Что ты, говорит, спасибо я тебе сказать должна, а не прощать тебя». — «Как спасибо, за что спасибо?» — «А как же? — говорит. — Ведь ты какой человек: тебе по миру пустить меня ничего не стоило, вся я в твоих руках была, как ты захотел бы, так и мог меня ограбить, и не помешала бы я тебе, — знал ты это! А ты вот честь честью уходишь! Знаю я, сколько ты нажил у меня за это время — всего около четырех тысяч. Другой бы, говорит, на твоём месте всю кашку слопал, да и чашку о пол...» Н-да-а... вот что она сказала... Эх, милая баба!..

— Расцеловался я с нею и, уважая ее, с легким сердцем и с пятью тысячами в кармане — она неверно сосчитала — явился в Питер. Живу барином, бываю в театре, обзавелся знакомствами, иногда, от скуки, играю на сцене, но больше в карты. Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и, в течение ночи, десять раз умрешь и воскреснешь. Жутко знать, что вот в следующую минуту убьют твой последний рубль и ты — нищий, ступай на улицу — воруй или застрелись. Хорошо также знать, что твой сосед или партнер чувствует по поводу последнего рубля то же самое, щекотливое и жуткое, что ты сам чувствовал незадолго до него. Видеть красные и бледные, возбужденные рожи, трепещущие от страха быть обыгранными и от жадности к деньгам, — смотреть на них и бить

их карты одну за другой — ах, как это волнует кровь!.. Бьешь карту — а точно вырываешь у человека из сердца кусочек горячего мяса с нервами и кровью... Сочно! Этот постоянный риск падения — самое лучшее в жизни, и самая лучшая мысль выражена так:

Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю!

— Великое наслаждение есть в этом... и вообще хорошо себя чувствовать можно только тогда, когда чем-нибудь рискуешь. Чем больше риску, тем больше жизни... Случалось ли вам голодать? Мне случалось не есть по двое суток кряду... И вот, когда желудок начнет есть сам себя, когда чувствуешь, как сохнут, умирая от голода, твои внутренности, — тогда готов за кусок хлеба убить человека, ребенка... на все готов, — в этой готовности к преступлению есть своя особая поэзия... это очень ценное ощущение, и, пережив его, — больше уважаешь себя!

— Но однако продолжим нашу пеструю повесть, она и так уже тянется, как похоронная процессия, в которой я занимаю место покойника. Тьфу! вот дурацкое уподобление влезло в голову. И, пожалуй, оно верно... отчего, впрочем, не становится умнее... У господина Бальзака где-то есть очень верное и меткое выражение: «Это глупо, как факт». Глупо? Ну и пускай! Итак, живу я в Петербурге. Это хороший город, но он стал бы вдвое лучше, если бы половину его жителей утопить в том скверном море, которое бултыхается около него. Живу и совершаю разные поступки, как это и надлежит человеку. Понравился одной даме, и она меня приобрела себе на содержание... Вы на содержании у женщин не состояли? Попробуйте, потому что это интересно, — вы в одно и то же время вещь вашей дамы и владыка ее. Вас купили, как игрушку, но играете купившим — вы. Этот купивший оказывается в ваших руках и в очень смешном положении, — ибо вы всегда можете играть пред ним роль сапога, который хочет быть шляпой и требует, чтоб его носили на голове. Так вот, живу я и живу год, два, три — все идет хорошо, то есть весело. Но тут случилась одна опереточная история. Однажды пришел ко мне некто, очень хороший человек, но занимавшийся дурным де-

лом — политикой, за что, впрочем, и был своевременно и крепко ущемлен. Пришел и говорит: «Достань мне паспорт!» — «Какой?» — «А вот, говорит, так: девица, брюнетка, лет двадцати, среднего роста, все остальное — обыкновенное». — «Зачем?» — «А вот, говорит, есть такая девица, а нужно, чтоб ее не было, так я ее и хочу по чужому документу замуж выдать». Что же? Это дельце веселое, а у моей дамы была как раз подходящая к требованию горничная... Я взял ее паспорт, да и отдал этому шарлатану. Хорошо-с. Проходит длинное время.

— Вдруг — трах! являются два жандарма и говорят — пожалуйста! Я — пожаловал. Некто, седой и вельми свирепый, спрашивает меня: «Вы, говорит, для девицы такой-то паспорт доставали?» — «Верно, вашество, но только не знаю, для этой ли девицы». — «Как так?» А мне приятель девицу-то, действительно, забыл назвать. Свирепый человек мне не верит. «Как же, говорит, вы ее не знаете, а паспорт ей дали?» — «Я не давал ей...» — «А кому?» — «А вот кому...» — «Ага-а, говорит, вот когда он попался! Благодарю за сведения!» И сейчас же отдал приказание забрать моего друга, а меня, пока что, запереть в уютное место. Дня через два дали мне с другом очную ссавку. Он, конечно, подтвердил мои слова... Спрашивают меня, куда я желаю уехать из Питера? Я говорю: «Нельзя ли в Царское Село?» — «Нет, говорят, подальше». — «А в Руссу?» — «Еще подальше». Сторговались мы на Туле. В Тулу, так в Тулу! «Вы, говорит, можете и дальше уехать, если захотите, но сюда в продолжение трех лет не являйтесь. Документы ваши мы пока оставим у себя, на память о вас, а вам — извольте проходное свидетельство до Тулы. Получите и в двадцать четыре часа постарайтесь улепетнуть...» — «Ну, что же? — думаю я. — Надо слушаться начальство, — как его не послушаться?»

— Ну-с, так вот... продал я все свое имущество квартирной хозяйке по ценам пареной репы и иду к моей даме. Не приказала принимать, собака. Захожу еще к двум-трем знакомым, — встречают, точно прокаженного. Плюнул я на всех и пошел в одно богоугодное место, чтоб провести там последние часы моей жизни в Питере. К шести часам утра я вышел оттуда без гроша

в кармане, — дочиста проигрался в карты! Так аккуратно меня один товарищ прокурора обчистил, что я даже в умиление пришел от его таланта, без всякого снисхождения обыграл... да!.. Ну, куда же мне деваться? Пошел я, неизвестно зачем, на Московский вокзал, пришел, потолкался там, вижу, идет поезд в Москву. Вошел в вагон и сел. Проехал две станции, меня с триумфом выгнали. Хотели составить протокол, спросили, кто я, — я показал им свое свидетельство, они и оставили меня в покое. «Идите, говорят, дальше». Иду. Верст десять прошел — устал и чувствую, что надо поесть. Будка. Линейный сторож. Я к нему: «Дай, дружище, кусок хлеба?» Посмотрел на меня он и дал мне не только хлеба, но и молока большую чашку. У него я и ночевал, первый раз по-бродяжьи, на вольном воздухе, на сене, в поле, за будкой. Проснулся на другой день, — солнце сияет, воздух — как шампанское, зелень, птицы. Взял у сторожа еще хлеба и пошел дальше.

— Вы должны понять это: в бродяжьей жизни есть нечто всасывающее, поглощающее. Приятно чувствовать себя свободным от обязанностей, от разных маленьких веревочек, связывающих твое существование среди людей... от всяких мелочишек, до того облепляющих твою жизнь, что она становится уже не удовольствием, а скучной ношей... тяжелым лукошком обязанностей... вроде обязанности одеваться — прилично, говорить — прилично... и все делать так, как принято, а не так, как тебе хочется. При встрече со знакомым нужно, как это принято, сказать ему — здравствуй! — а не — издохни! — как это иногда хочется сказать.

— Вообще — если говорить по правде — так все эти торжественно-дурацкие отношения, что установились между порядочными городскими людьми, — скучная комедия! Да еще и подлая комедия, потому что никто никого в глаза не называет ни дураком, ни мерзавцем... а если иногда это и делается, так только в припадке той искренности, которую называют злобой...

— А на бродяжьем положении живешь вне всей этой канители... То же обстоятельство, что ты без сожаления отказался от разных удобств жизни и можешь существовать без них, как-то приятно приподнимает тебя в своих

глазах. К себе становишься снисходительным без оглядки, — хотя я к себе никогда не относился строго, не одергивал себя и зубы моей совести никогда у меня не ныли, не царапал я моего сердца когтями моего ума. Я, знаете, рано и как-то незаметно для себя твердо усвоил самую простейшую и мудрую философию: как ни живи — а все-таки умрешь; зачем же ссориться с собой, зачем тащить себя за хвост влево, когда натура твоя во всю мочь прет направо? И людей, которые рвут себя надвое, я терпеть не могу... Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривал с такими юродивыми. Спрашиваешь его: «О чем ты, друг, ноешь, зачем ты, брат, скандалишь?» — «Стремлюсь, говорит, к самоусовершенствованию...» — «Чего же, мол, ради?» — «Как так — чего ради? В совершенствовании человека — смысл жизни...» — «Ну, я этого не понимаю; вот в совершенствовании дерева смысл ясен: оно усовершенствуется до пригодности в дело, и его употребят на оглоблю, на гроб или еще на что-нибудь полезное для человека... Ну, хорошо! ты совершенствуешься — это твое дело; но, скажи, зачем ты ко мне пристаешь и меня в свою веру обратить хочешь?» — «А затем, говорит, что ты скот и не ищешь смысла в жизни». — «Да я же нашел его, ежели сознание скотства моего не отягощает меня». — «Врешь, говорит. Коли ты, говорит, сознаешь, ты должен исправиться». — «Как исправиться? Да ведь я живу в мире с собой, ум и чувство у меня едино суть, слово и дело в полной гармонии!» — «Это, говорит, подлость и цинизм...» И вот так рассуждают все они, бывало. Чувствую я, что они и врут и глупы; чувствую это и не могу не презирать их. Потому что — я людей знаю! — если все сегодняшнее подлое, грязное и злое объявишь завтра честным, чистым, добрым — все эти морды, без всякого усилия над собой, завтра же и будут совершенно честными, чистыми и добрыми. Им для этого понадобится только одно — трусость свою уничтожить в себе... Так-то.

— Резко это, говорите? Ничего, сойдет. Пусть резко, зато правильно... Я, видите ли, так полагаю: служи богу или чорту, но не богу и чорту. Хороший подлец всегда лучше плохого честного человека. Есть черное и есть белое, смешай их — будет грязное. Я всю жизнь мою встречал только плохих честных людей, — таких, знаете,

у которых честность-то из кусочков составлена, точно они ее под окнами собирали, как нищие. Это — честность разноцветная, плохо склеенная, с трещинами... а то есть еще честность книжная, вычитанная и служащая человеку, как его лучшие брюки, — для парадных случаев... Да и вообще все хорошее у большинства хороших людей — праздничное и деланное; держат они его не в себе, а при себе, напоказ, для форса друг перед другом... Встречал я людей и по самой натуре своей хороших... но редко они встречаются и почти только среди простых людей, вне стен города... Этих сразу чувствуешь — хорошо! И видишь — родился хорошим... да!

— А впрочем, черт с ними, со всеми — и с хорошими и с плохими! Знать я не хочу Гекубу!

— Я рассказываю вам факты жизни моей кратко и поверхностно, и вам трудно понимать — отчего и как... Да суть не в фактах, а — в настроениях. Факты — одна дрянь и мусор. Я могу много надеть фактов, если захочу... возьму вот нож, да и суну его вам в горло, — будет уголовный факт. А то ткну в себя этот нож — тоже факт будет... вообще, можно делать самые разнообразные факты, если настроение позволяет! Все дело в настроениях: они плодят факты, и они творят мысли, идеалы... А знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних лапах. Подняв голову от земли, он увидел над ней голубое небо и был ослеплен великолепием его ясности. Тогда он, по глупости, сказал себе: я достигну его! И с той поры он шляется по земле с этим костылем, держась при помощи его до сего дня все еще на задних лапах.

— Вы не подумайте, что и я тоже лезу на небо, — никогда не ощущал такого желания... я это так сказал, для красного словца.

— Однако история-то у меня опять в узел захлестнулась. Ничего! Ведь это только в романах клубки событий правильно разворачиваются, а жизнь наша — запутанная мотушка. К тому же, за романы деньги платят, а я даром стараюсь: черт знает для чего!..

— Ну-с, так вот — понравилось мне это хождение, тем более понравилось, что скоро я открыл и средства

к пропитанию. Иду однажды и вижу: вдали красуется усадьба, а навстречу мне двигаются, меж высоких хлебов, три благообразные фигуры — мужчина и две дамы. Мужчина уже с сединой в бороде, в очках и очень благообразный, дамы образа заморенного, но тоже благородного. Сделал я себе рожу страстотерпца и, поравнявшись с ними, попросил у них разрешения зайти в усадьбу ночевать. Разрешили и переглянулись между собой этак многозначительно. Я вежливо поклонился им, поблагодарил и, не торопясь, пошел. А они повернули назад и — за мной. Вступили в разговор — кто, откуда, чей таков? Были они люди темперамента гуманного, образа мыслей либерального и ответы мне сами подсказывали, так что когда я пришел в усадьбу, то оказалось, что наврал им — чорт знает сколько! Будто бы я изучаю и поучаю народ, и якобы душа моя находится в плену разных идей и прочее такое... И, ей-богу, все это оказалось потому только, что они сами хотели, я же лишь не препятствовал им принять меня за то, за что они меня принимали. Когда я сообразил, как трудна та роль, которую я должен был играть для них, мне стало немножко не по себе. Но после ужина понял, что играть эту роль — есть интерес, ибо божественно вкусно они ели! С чувством ели, — ели, как люди образованные. Потом отвели мне комнаточку, мужчина снабдил меня штанишками и прочим — вообще гуманно обошлись со мной. Ну, я им за это и распустил же вожжи моего воображения!

— Царица небесная, как я врал! Что Хлестаков? Идиот Хлестаков! Я врал, никогда не теряя сознания, что вру, хотя и наслаждался тем, как вру. Так я врал, скажу вам, что даже Черное море покраснело бы, если бы оно меня слышало! Эти добрые люди слушали с наслаждением, слушали и кормили меня, и ухаживали за мной, как за родным больным ребенком. А я им за это сочиняю. Вот когдагодились мне книжки, которые я когда-то прочитал, и споры фарисеев жены моей!

— Врать умеючи — высокое наслаждение, скажу я вам. Если врешь и видишь, что тебе верят, — чувствуешь себя приподнятым над людьми, а чувствовать себя выше людей — удовольствие все-таки. Овладеть их вниманием и мыслить про себя: «дурачье!» Одурачить человека

всегда приятно. Да и ему, человеку-то, тоже приятно слышать хорошую ложь, которая гладит его по шерстке. И, может быть, всякая ложь — хороша, или же, наоборот, все хорошее — ложь. Едва ли на свете есть что-нибудь более стоящее внимания, чем разные людские выдумки: мечты, грезы и прочее такое. К примеру, возьмем любовь: я всегда любил в женщинах как раз то, чего у них никогда не было и чем я обыкновенно сам же их награждал. Это и было лучшее в них. Бывало, видишь свежую бабеночку и сейчас же соображаешь — обнимать она должна так, целовать она должна — этак. Раздетая она такова, в слезах такая-то, в радости — вот какая. Потом незаметно уверишь себя, что все это у нее есть, — именно так есть, как ты того хочешь... И разумеется, по ознакомлении с нею, какова она есть на самом деле, торжественно садишься в лужу!.. Но это неважно — ведь нельзя же быть врагом огня только за то, что он иногда жжется, нужно помнить, что он всегда греет, — так ли? Ну вот... По сей причине и ложь нельзя называть вредной, поносить ее всячески, предпочитать ей истину... еще неизвестно ведь — что она такое, эта истина, никто не видал ее паспорта... и, может быть, она, по предъявлении документов, чорт знает чем окажется...

— А все-таки я, как Сократ, философствую, вместо того, чтобы делом заниматься...

— Врал я тем добрым людям даже до истощения фантазии и, когда сознал себя в опасности стать скучным для них, — ушел далее, прожив у них три недели. Ушел, хорошо снабженный для пути, и вот направляю стопы мои к ближайшей станции, дабы от нее ехать до Москвы. От Москвы до Тулы доехал даром, по недосмотру кондукторов.

— И вот я в Туле перед лицом тамошнего полицмейстера. Смотрит он на меня и спрашивает: «Чем же вы здесь намерены заняться?» — «Не знаю», — говорю. «А за что, говорит, вас удалили из Петербурга?» — «Я и этого не знаю». — «Очевидно, говорит, за какие-нибудь дебоши, кодексом уголовным не предусмотренные?» — пронизательно допрашивает он. Но я остаюсь непроницаем. «Неудобный вы человек», — говорит он. «У всякого, мол, своя специальность, господин

хороший!» Подумал он, подумал, да и предлагает мне: «Так как вы, говорит, сами избирали место жительства, то, если вам у нас не нравится, вы можете уйти дальше. Есть другие города, например, Орел, Курск, Смоленск... Ведь вам все равно, где жить? Не угодно ли, я выдам вам дальнейшее проходное?.. Нам очень приятно будет не беспокоиться о вашем здоровье. У нас такая масса хлопот... а вы, говорит, извините за откровенность, кажется человеком, вполне способным усилить хлопоты полиции... даже как бы нарочно для этой цели созданным». — «Так-с, мол, но мне и здесь нравится...» — «Ну, говорит, желаете, я вам трешницу на дорогу дам?» — «Дешево, мол, труды ваши цените... Уж лучше позвольте мне остаться под покровительством тульских законов». Но он меня упорно не хочет... Сообразительный был человек! Ну, я взял с него пятнадцать рублей да и пошел в Смоленск город. Видите? Всякое скверное положение человека имеет в себе возможность лучшего. Это я говорю на основании солидного опыта и по силе моей глубокой веры в изворотливость человеческого ума. Ум — это сила! Вы человек молодой еще; и вот я говорю вам: верьте в ум — и никогда не пропадете! Знайте, что каждый человек содержит в себе дурака и мошенника: дурак — его чувство, а мошенник — ум. Чувство потому глупо, что оно прямо, правдиво и не умеет притворяться; а разве можно жить и не притворяться? Необходимо притворяться; даже из жалости к людям это нужно, потому что люди всегда жалости достойны... а больше всего именно тогда, когда они других жалеют...

— Итак, пошел я в Смоленск, чувствуя, что тверда земля подо мной, и зная, что, с одной стороны, я всегда могу рассчитывать на поддержку гуманных людей, с другой — на поддержку полиции. Первым я нужен для проявления их чувств, а вторым — я не нужен; поэтому те и другие должны платить мне от изытков своих.

— Явился в Смоленск, и так как уже было холодно, то решил зазимовать. Живо нашел добрых людей и к ним пристроился. Ничего себе, — провел зиму не скучно. Но вот настала весна, и — верите ли? — потянуло меня! Хочется бродяжить... Кто мне мешает? Пошел и снова

шлялся целое лето, а на зиму попал в город Елизаветград. Попал и никак не могу присноровиться к чему-нибудь! Бился, бился, наконец, нашел мой путь! В репортеры местной газеты завербовался, — дело маленькое, но свободное и дает некоторый корм. Потом познакомился с юнкерами — есть в этом городе кавалерийское училище — и, познакомившись с ними, устроил картеж. Хороший картеж вышел: за зиму-то я около тысячи рублей наколотил. И вновь весна пришла. Она застала меня с деньгами, в джентльменском виде.

— Куда пойду? В город Славянск на воды. Там удачно играл до августа, а в этом месяце принужден был выехать. Зимовал в Житомире с одной бабочкой — порядочная дрянь была, но — бесподобной красоты баба!

— Прожил я таким манером годà моего изгнания из Питера и поехал туда вновь. Чорт его знает почему, но он всегда тянул меня к себе. Приехал джентльменом, со средствами. Отыскиваю знакомых, и что же оказывается? Похождения мои среди либеральных людей Московской губернии им известны. Всѐ знают: и как я у Ивановых в усадьбе три недели жил, питая их голодные души плодами моей фантазии, и как я с Петровыми поступил, и как я m-те Васильеву избидел. Ну что же? Стало быть, так нужно. Если семь дверей закрылись перед тобой — открывай другие десять... Но — не повезло мне! Очень я старался о том, чтобы создать себе устойчивое положение в обществе, и не мог! Не то я сам за эти три года утратил мою способность уживаться с людьми, не то люди стали за это время более пройдохами. И вот, когда мне пришлось особенно туго, дернул меня чорт предложить мои услуги сыскному отделению. Предложил я себя в качестве агента по надзору за игорными домами. Приняли. Условия хорошие. К сей тайной профессии присоединил еще явную: стал заниматься репортажем в одной газетине. Давал ей уличную хронику, а иногда сочинял и фельетоны. А потом играл. И увлекся я этой игрой, — до того увлекся, что доносить-то о ней по начальству и забыл. Совершенно забыл, знаете, что это есть моя обязанность. И когда проиграюсь, вспомню: а ведь надо донести! Но нет, думаю себе, сначала отыграюсь, а потом донесу. Откладывал я, таким образом, исполне-

ние обязанности очень долго, до поры, пока однажды меня на месте преступления за карточным столом не зацепила полиция. Конечно, осрамили меня полицейские публично, признав за своего. А на другой день позвали куда следует, сделали очень свирепое внушение, сказали мне, что у меня нет совсем совести, и выслали из столицы... опять выслали! Без права въезда в течение десяти лет.

— Шесть лет я путешествую и, ничего себе, не жалуюсь богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно... и разнообразно. В общем, это веселая, птичья жизнь. Только зерен иногда не хватает... но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей — это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы, — это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят, но — и в хороших гостиницах блохи водятся... Зато вы можете идти направо, налево, вперед, назад, всюду, куда вас влечет, а если не влечет никуда, — запасись от мужика хлебом, — он добр и всегда даст, — запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь...

— Где я не был? Был в толстовских колониях и у московских купчих на кухнях кормился. Живал в Киево-Печерской лавре и на Новом Афоне. Был в Ченстохове и Муроме. Порой мне кажется, что всякую тропинку Российской империи уже второй раз попираю я стопами моими. И как только представится мне случай отремонтировать внешность — катну я за границу! В Румынию дерну, а оттуда — все пути открыты. Ибо в России — уже скучно мне. И в ней — «все, что мог, я уже совершил».

— Думаю, что, в самом деле, за эти шесть лет много я совершил. Сколько слов красивых наговорил я, какие чудеса рассказывал! Придешь, знаете, в деревню, попросишься на ночлег и, когда тебя накормят, — заведешь волюнку своей фантазии! Может быть, я даже секты новые основал, ибо — много, очень много говорил от писания. А мужик к писанию чуток и на двух словах может построить такое новейшее вероучение, что — ах ты мне!..

А сколько сочинил я законов о наделах и переделах земли!.. Да, много влил я фантазии в жизнь.

— Да, вот так я и живу... Живу и верую: пожелаю я оседлости, и — будет! Ибо у меня есть ум и меня ценят бабы. Вот приду я в город Николаев и пойду в Николаевскую слободу, где живет дочь одного николаевского солдата. Женщина она вдовая, красивая и зажиточная. Приду я и скажу ей: «Капочка! а ну-ка, топи баню! Омой меня и одень, аз же пребуду с тобой даже от луны и до луны». Она все сейчас мне сделает... И если завела она без меня любовника себе — прогонит его. И я проживу у нее месяц и более — сколько захочу! Жил я у нее в третьем году два месяца зимы, в прошлом — даже три месяца... прожил бы всю зиму, если б она была поумнее, а то очень уж скучно с ней. Кроме своего огорода, который дает ей до двух тысяч в год, знать ничего не хочет баба.

— А то пойду на Кубань, в станицу Лабинскую. Там есть казак Петр Черный, и он меня считает святым человеком, — многие меня считают человеком праведной жизни. Многие простые и верующие люди говорят мне: «Возьми, батюшка, вот это и поставь свечу угоднику, когда будешь у него...» Я беру. Я ценю верующих людей и не хочу обидеть их гнусной правдой, сказав им, что на искреннюю лепту их не свечу для угодника, а табаку для себя я куплю...

— Есть также много прелести и в сознании своей отчужденности от людей, в ясном понимании высоты и прочности той стены прегрешений против них, которую я сам свободно построил. И много сладкого и острого в постоянном риске быть разоблаченным. Жизнь — игра! Я ставлю на свою карту все — то есть нуль — и всегда выигрываю... без риска проиграть что-нибудь иное, кроме жизни моей. Но я уверен, что, если меня когда-нибудь будут бить, — меня не изувечат, а убьют. На это нельзя обижаться, и было бы глупо этого бояться.

— Ну-с, так вот, молодой человек, я рассказал вам свою историю. И даже с походом рассказал, ибо в моей истории была и философия. И — знаете? Мне нравится то, что я рассказал. Мне кажется, что я порядочно рассказал. Пойду дальше, — весьма вероятно, что я тут мно-

тое сочинил, но, ей-богу, если я наврал, — я наврал в фактах. Вы смотрите не на них, а на мой способ изложения — он, уверяю вас, с подлинным души моей верен. Я дал вам жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины...

— А впрочем, зачем я вам сказал это?.. Затем, дорогой мой, что чувствую я — вы мало верите мне... Рад за вас. Так! Не верьте человеку! Ибо всегда, когда он о себе рассказывает, — он лжет! Лжет в несчастьи, чтоб возбудить к себе более сострадания, в счастье — чтоб ему более завидовали, во всех случаях — чтобы увеличить внимание к себе.

ХОРОШИЙ ВАНЬКИН ДЕНЬ

Эскиз

... Проснувшись, Ванька запустил обе руки в свои волнистые, русые вихры, прилежно почесался, и круглая рожа его расплылась в широкую сияющую улыбку. Его щеки, приподнятые улыбкой кверху, округлились, как два румяные яблока, около голубых глаз собрались лучистые складки, и умильно прищуренные глаза, сверкая из двух узких щелочек, осветили всю его молодую жилистую фигуру светом гордости и счастья...

Вышел в люди!

Третьего дня Ванька, придя из деревни, порядился в подмастерья к маляру Филимонову, у которого раньше прожил четыре лета в учениках, — порядился за целые тридцать рублей в лето! Вчера он получил треть денег в задаток, шесть рублей отослал домой, купил за рубль восемь гривен гармонию, — потому что как же можно мастеровому человеку без гармонии жить? — купил жилетку за три четвертака, а остальные деньги обрек на «прогул». Сегодня — праздник, и Ванька намерен должным образом отпраздновать свое повышение.

Он вскочил с нар и стал обувать сапоги. Вчера вечером он их смачно намазал дегтем, и теперь от них идет этакий задорный запах, от которого даже в носу щиплет; они стали мягкие, легкие и чуть ли не сами собой вскочили Ваньке на ноги. Обувшись, он взглянул на нары, где

в разнообразных позах раскинулось шесть тел, а в самом углу, свернувшись в калачик, спал ученик Гришка, отбывавший второй год ученья. Ванька сделал строгое лицо и, подойдя к нему, дернул его за ногу.

— Ты, дьяволенок! Дрыхни!

— А? — сонно спросил Гришка.

— Иди воды налей в рукомойник... Заспался...

— Счас... — пообещал Гришка и, поджав ногу, заснул.

Новый подмастерье еще строже сдвинул брови и опять протянул руку к ноге ученика... Но вдруг смешливо фыркнул, махнул рукой и пошел в угол мастерской. Там над грязной лоханью висел глиняный умывальник, похожий на человеческую голову, повешенную за уши. Воды в нем было много, и Ванька, с удовольствием фыркая и отдуваясь, полными пригоршнями стал плескать ее себе на лицо. Потом он отпер свой сундучишко, стоявший под нарами, достал оттуда рушник, новую ситцевую рубашу, жилет и гармонию, вытер лицо и руки, причесался, надел рубашу, жилет и захотел узнать — каково он теперь выглядит? Но зеркала у него не было. Это обстоятельство заставило Ваньку несколько секунд задумчиво простоять среди мастерской, после чего он нашелся — вышел в сени и там, открыв кадку с водой, наслаждался отражением своей круглой довольной рожи. Оказалось, что нужно еще раз причесаться. Он исполнил это и снова задумался — что же теперь делать? Идти в трактир? Но еще рано, и трактиры по случаю праздника должны быть закрыты... Он сел на лавку под окном и посмотрел на двор.

Двор был грязный, сплошь заваленный всяким хламом, но все это было облагорожено ярким блеском весеннего солнца, и оно действительно поманило Ваньку вон из низкой комнаты с серыми от сырости стенами, вон — на воздух и на свет. Он взял подмышку гармонию, надел картуз и вышел из мастерской, решив дожидаться у ворот, когда проснутся товарищи, и вместе с ними идти пить чай...

Степенно усевшись на лавке у ворот, Ванька положил гармонию себе на колени, а она при этом как-то просительно пискнула, точно говорила:

— Поиграй!

У Ваньки не нашлось резона отказать гармонике в ее желании, — в нем широкой волной переливалось доброе и живое чувство радости, охота заиграть и запеть на всю улицу; он взял гармонику в руки и бойко извлек из нее переливчатый аккорд.

Хорошо!

Он улыбнулся задорным звукам и, перебирая пальцами по клавишам, вполголоса стал подпевать:

Д' и оженала молодца
Да чужа дальняя сторона-а
И чу-ужа дальняя сторонка...

— Фармазон! — раздался резкий возглас. — Обедня еще идет, а ты уже дьявола тешишь... Экий бусурман некрещеный!

Это ругалась стряпка Тимофеевна, высунув красное толстое лицо из окна над головой Ваньки.

В другое время он сцепился бы с Тимофеевной зуб за зуб, но сегодня у него не было такого желания, хотя эта баба много горьких обид нанесла ему в ту пору, когда он был еще учеником.

— Али еще не отошла? — изумился он, поднимая вверх улыбавшееся и немного сконфуженное лицо.

— Не отошла! Ишь выпялился, ни свет ни заря... Где бы в церковь сходить...

Окно закрылось...

Ванька с сожалением взглянул на гармонию и живо сообразил, что если он пройдет в конец улицы и там сядет на Фроловском пустыре, то может играть сколько душе угодно — никто ему не помешает. Поправив картуз на голове и сунув гармонию подмышку, он двинулся вдоль по улице неторопливой походкой гуляющего человека, гордо неся свою голову, степенно поглядывая по сторонам, а внутри его все играло и вздрагивало в страстном желании вырваться наружу в песне, в смехе, в пляске — как-нибудь и в чем бы то ни было — лишь бы вырваться.

Вот идет навстречу ему старуха-нищая, стуча костылем по тротуару, изогнутая в дугу, обвешанная лох-

мотями. Ванька, поравнявшись с ней, спрашивает ее, сунув руку в карман своих штанов:

— Копеечка есть у тебя, бабушка?

— Есть, родимый, есть, — торопливо отвечает старуха.

— Ну-ка давай ее... а это тебе, для праздника, семишник...

И он дает ей две копейки, дает и с чувством довольства и радости слушает добрые пожелания, которыми старуха устилает ему путь.

На крыльце одного дома лежит большая серая длиннордья собака — Ванька чувствует неодолимую охоту приласкать ее... Он складывает губы трубой, протягивает к собаке руку и, щелкая пальцами, посвистывает ей:

— Фью, фью! Цы! Подь сюда... Барбос! Дружок! Славный пес... ну — фью, фью!

Но собака не расположена любезничать с Ванькой; она косит на него глаза, скалит зубы и урчит.

— Дура! — говорит ей Ванька, проходя мимо собаки, но он нимало не обижен ее поведением.

Телега ломового извозчика, нагруженная какими-то бочками, вывернувшись из переулка и задела колесом за тумбу. Извозчик, восседая на бочках, бьет лошадь вожжами и безнадежно ругается. Ему лень слезть на землю, хотя положение дела и требует его присутствия на ней. Но Ванька сегодня готов помогать всем людям на свете: ему приятно жить в этот ясный день, и он, не думая, желает быть для всех приятным...

— Вороти левее, дядя! — советует он извозчику, кладет гармонию на тумбу и хватается за телегу, изо всей силы пихая ее в сторону.

— Спасибо! — говорит извозчик, оскалив зубы. — Молодчага ты, парень!

— Вали, поезжай! — отдуваясь от напряжения, говорит Ванька.

Вот он приходит на пустырь. Там толпа ребятишек играет в бабки. Ванька рад их видеть и в то же время чувствует, что неловко так прямо сесть да и заиграть, при мальчишках. Надо хоть поговорить с ними, что ли... И, присмотревшись к ходу игры, он уже командует мальчишкам:

— А ты, картуз, с навеса-то не бей, это не порядок! Бей в разрез, чтобы, значит, — битка в кон, — бабки в бег... Вот... Ну-ка, рыжий, пометься хорошенько... р-раз! Ловко! Двух цен вышиб... ай да рыжий! Ну-ка ты теперь... а ты не нашагивай, шагай в меру, на что прискакиваешь? Вот те и мимо дал!

Ребятишкам нравится Ванькино участие в их игре, они видят в нем знатока дела и внимательно прислушиваются к его замечаниям, один из них даже решается отдать под его опеку свои действия, начинает спрашивать его.

— Куда мне катить? Остаться у кона?

Ванька серьезно рассматривает его битку, находит ее легкой, выбирает другую. Потом советует, как надо целить в кон.

— Ты левый глаз прищурь, руку вытяни по правому глазу, потом размахнись ей и, когда она в одну точку с глазом встанет, — пускай битку! Понял?

Других ребятишек тоже интересуют его уроки, и, окружая его, они наперебой спрашивают у него советов. Он никому не отказывает и, чувствуя себя хозяином положения, становится внушительно серьезным. Но вспомнив, что уже в мастерской, наверное, встали и пора идти в трактир пить чай, он оставляет мальчишек и вновь идет по улице, углубленный в мечты о том, как он будет сидеть в трактире и слушать «машину». Она играет одну очень хорошую, но трудную музыку, которую куда как хорошо бы перенять и изобразить на гармонике!..

После полуден Ванька снова на улице. Заломив картуз на затылок, с лицом, красным от оживления и нескольких рюмок водки, выпитых давеча в трактире, Ванька шествует с гармонией в руках и с могучей радостью в сердце, — с радостью, которую он должен сдерживать, ибо у нее нет выхода, не во что отлиться, — шествует и смутно ждет чего-то очень хорошего и от себя и от людей. Он не пьян, но считает нужным показывать, что немножко «клюкнул», — это придает человеку больше шика и удалства. Он пошатывается на ногах, щурит глаза и часто, размашистым движением руки, поправляет картуз на го-

лове, сбивая его все более на затылок. Ему хочется петь, и он затягивает высоким фальцетом:

И уж ты, с-сад ли, м-мой сад!
Да сад зеле-ененький..

Но суровый полицейский солдат, стоящий среди улицы, против такого развлечения.

— Эй ты!.. — говорит он Ваньке и внушительно грозит ему пальцем.

Ванька обрывает песню и двигается на полицейского с добродушной рожей, вопрошая его:

— Нельзя рази?

Полицейского подкупает эта праздничная фигура своим юным довольством, и он отечески внушает:

— На улицах пение не дозволяется...

— Не дозволяется? — переспрашивает Ванька.

— Никак нельзя... Ступай домой... а то иди за город и там — можешь...

— За городом?

— Вот... Вон иди за кладбище и — вали там...

— Там, стало быть, можно?

— Сколько хошь...

— Ну... благодарю! Спасибо... угостить папироской? Желаете?

— Нам нельзя... на посту мы...

— А то — извольте...

— Не надо... иди себе тихо... иди.

— Могу... я понимаю — строгость! — говорит Ванька, хмуря брови, и мирно отходит от полицейского.

Но как же и чем ему выразить бушевавшее его чувство жизни? Отойдя несколько сажен, он снова вполголоса начинает напевать:

На том ли поле серебристом
Стояла дева пред лу-уной
И увер-ряла небо — чистым
Хр-рани до гроба свой покой..

Вспомнив о полицейском, он оглядывается назад и видит, что страж укоризненно кивает ему головой. Тогда Ванька кричит ему, приставив ко рту кулак:

— Не буду больше... не буду!

И, махнув рукой, некоторое время идет молча, чувствуя стеснение и чего-то желая.

Вот маленькая бакалейная лавочка. Ванька фертом входит в нее и вежливо говорит:

— Дозвольте папирос...

— Каких вам?..

— Каких? В... пять копеек десяток!

— Вот извольте — «Ласточка»!!

— «Ласточка»? Хорошие?

— Самые лучшие...

— Беру... А теперь дозвоьте... полфунта орехов.

— Каких — кедровых, волоцких, простых?

— Какие лучшие... которые скуснее...

— Это волоцкие, — решает лавочник.

— Дозвольте полфунта волоцких...

У него есть папиросы, да и орехов он совсем не хочет, но нужно же что-нибудь делать!

А тут, покупая, по крайней мере хоть с человеком говоришь...

Из такого же мотива Ванька заходит в портерную и выпивает там бутылку пива. Но в портерной пусто, скучно и душно. Несколько ошалевший от пива, он снова шагает по улице и чувствует, что теперь уже ему можно и не притворяться пьяным — и так хорошо его пошатывает. В голове у него туман, и на сердце уже менее ясно... А все-таки хочется петь.

Он приснаравливает гармонику и играет на ней знакомые мотивы, то и дело сбиваясь с одного на другой. Но и это не удовлетворяет его... Тогда он начинает подыгрывать на губах:

Ти-рли-рлю-та, ту-та-ту-та...

Это ему нравится, и он победоносно смотрит вокруг себя. Но он находится на какой-то глухой улице, на ней всего двое или трое прохожих... Даже и домов нет — одни заборы... а вон железная решетка, за ней — газон, за газоном и группой деревьев — большое белое здание с массой окон... Ванька мельком вспоминает, что это здание — институт и что два года тому назад он красил в нем полы...

Он идет дальше... и в душу ему змеей вползает скука, губительница людей... Он чувствует это и делает усилие

изгнать ее. Гармоника растягивается в его руках во всю длину мехов и пронзительно, крикливо поет забористые аккорды, а Ванька уже с яростью подпевает:

Ти-рли-рлю-та, ту-та-ту-та —
И шел я и мимо института!..

Слова эти являются у него совершенно неожиданно, и он сначала даже изумлен ими... но после краткой паузы Ванька вдохновенно и во все горло орет:

Ти рли-рлю, та-ту-та-ту-т —
Стоит крепко д'института!

Это кажется Ваньке ужасно смешным, он открывает рот и, прижав гармонию к животу, — хохочет во всю емкость своих легких, хохочет над своим творчеством, и долго он хохочет, прижавшись спиной к забору и покачиваясь на ногах...

Заходит солнце, бросая на белую штукатурку домов розовый отблеск; бесшумно стелются по улице тени...

Идут парами гуляющие, постукивая о тротуары тростями, в сыром весеннем воздухе звучит смех и говор... И рыдающий голос Ваньки громко возглашает:

— Я сам м-мастер... а ты дерешься... Можешь ты это... а?

Ванька является в улицу из какого-то узкого переуллка, является растрепанный, развинченный и, очевидно, глубоко оскорбленный. Издали кажется, что он на каждом шагу своего пути преодолевает некоторые, ему одному видимые, препятствия, — так высоко он поднимает ноги и так часто сворачивает в сторону с прямой линии... Из уст его медленно исходят горькие упреки по чьему-то адресу, а слова его так же путаются, как и ноги...

М-мороз трешит, и вью-га воет,
И тройка к-ковей у ворот —
Лува сия-ит..

— Ты чего орешь? — строго спрашивает Ваньку какой-то барин, высокий и в фуражке с красным околышем.

Ванька тарашит на него глаза и объясняет:

— Я пою, ваша степенс... по случаю праздника... и как теперь я — ма-астер... фью! будет уж! шабаш! я теперь — сам мастер!

Ванька с гордостью колотит себя кулаком в грудь и вдруг со слезами в голосе кричит:

— Но он меня — за волосы...

— А вот я тебя — в полицию отправлю! — сурово восклицает барин.

— Не надо! — отрицательно качает головой Ванька. — Я больше не буду... я понимаю — порядок! И... я уйду. Что такое? Разве я — что-нибудь могу?..

«ВСТРЯСКА»

Страничка из Мишкиной жизни

...Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряженного внимания, смотрел очарованными глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец цирковой публики.

Окутанное пышными складками розового и желтого атласа тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на темном фоне арены, принимало различные позы: то легкие и грациозные, то уродливые и смешные; оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на публику, ожидая от нее рукоплесканий. Она не скупилась и дружно поощряла его искусство громким смехом, криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался, кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком; при каждом движении его золотые блески, нашитые на атласе, сверкали, как искры, а мальчик с галереи жадно следил за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия свои черные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого удовольствия.

— Фот так! — ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через стул.

— И фот так... — Он вспрыгнул на спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неесте-

ственно изогнулся, упал и, съжившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что, казалось, будто стул ожил и гонится за ним. Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлеченный его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей рожице все гримасы уморительно подвижного, набеленного лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в кучерском костюме, с боков тоже давили его. На галерее было душно; грудь, прижатая к дереву перил, болела, ноги ныли от усталости и полученных толчков, но — как ловок и красив этот клоун, и как люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста возвышалось до благоговейного чувства, он молчал, когда публика громко выражала свои одобрения клоуну, молчал и порой вздрагивал от желания самому быть там, на арене, кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни веселых лиц и внимательных глаз, устремленных на него. Сильное, но смутное чувство, властно охватившее мальчика, было, в общем, темным чувством — оно не ожидало, а подавляло своей силой, в нем было много грусти и зависти, еще более обострившихся каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том, что все это, красивое и приятное, как сон, должно скоро кончиться и опять ему придется идти домой, в темную и грязную мастерскую...

А клоун встал на четвереньки, одну ногу вытянул и, прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и хрюканьем скрылся, возбудив в публике дружный хохот. Следующим номером программы была борьба двух атлетов, потом выехала на лошади барыня в длинном черном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведро, за ней вышли трое акробатов... было и еще много разных «номеров», но из них внимание маленького зрителя заняли только двое артистов, еще более маленьких, чем он сам. Исполнив трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не заглушевали того впечатления, которое оставил клоун.

Когда представление кончилось и публика с шумом стала расходиться — мальчик с галереи все еще медлил уходить и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там

явился какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой в зубах.

— Это и есть самый он... клоун-то, — сказал бородатый человек и, широко улыбаясь, добавил: — Очень я его хорошо знаю... хоша он и обрядился в настоящее...

Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то приказывая людям в красных мундирах, суевившимся по ней. Это — блестящий, ловкий клоун? И мальчик разочарованно тряхнул головой — не понравилось ему, что такой удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный барин. Вот если б он, Мишка, был клоуном, он так бы и ходил по улицам в ярком, широком атласном костюме с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел из цирка, решительно недовольный этим неприятным превращением артиста в обыкновенного человека.

Длинная улица лежала пред мальчиком; по обеим сторонам ее, как две нити крупных огненных бус, протягивались в даль фонари, оживленно и безмолвно состязаясь с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролетов. Вспоминая выходы клоуна, мальчик улыбался, а иногда, перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на ступеньку крыльца, вполголоса восклицал:

— Фот так! И фот так!..

И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки, потешавшие публику, мальчик порой останавливался пред окнами магазинов и серьезно подолгу рассматривал свое отражение на стекле.

Удовлетворенный видом своей исковерканной гримасами скуластой рожицы с маленькими, живыми, черными глазами, он весело подпрыгивал и свистал. Но уже в нем являлось нечто портившее ему настроение — память, оживленная боязнью наказания, чувством, которое постоянно жило в худой груди Мишки, — память упорно восстанавляла пред ним завтрашний день — тяжелый, суетливый день!

Завтра утром он проснется, разбуженный сердитым окриком кухарки, и пойдет ставить самовар для мастеров. Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди мастерской и станет будить мастеров, а они будут ругать

его и лягаться ногами... Пока они пьют чай — он должен прибрать их постели, вымести мастерскую, потом, выпив стакан холодного и спитого чая, он достанет из угла мастерской большую каменную плиту, положит ее на табурет и с пирамидальным камнем в руках усядется растирать краски. От возни тяжелым камнем по плите у него заболят, зануют и руки, и плечи, и спина. После обеда около часа отдыха, он уберет со стола и, свернувшись где-нибудь в углу, — заснет, как котенок... а разбудят его пинком. Может быть, его заставят чистить пемзой доски, зашпаковать иконы, и он, кашляя и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так весь день, до ужина...

Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего он всегда с нетерпением ждал, — это приказание бежать куда-нибудь — к столяру за досками для икон, в москательную лавку, в кабак за водкой... А самым неприятным и даже страшным для него было копотливое и требовавшее большой осторожности поручение заготовить яичных желтков для красок *. Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок в другую, а он то портил яйцо, раздавливая в нем желток, то сливал белок в чашку с желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить. За это — били.

Скучную и нелегкую жизнь изживал он...

... Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома, окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно, как кошка. Проникая во двор таким необычным путем, он избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы ему дворник за беспокойство отворить калитку, — ведь всегда приятно получать одним подзатыльником меньше против того, сколько вам их назначено — от судьбы. А кроме этого, Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал самые укромные уголки двора — этим он выигрывал у хозяина несколько лишних минут сна, ибо

* Краски, которыми пишут большинство икон, разводятся на желтке яиц.

поутру, для того, чтоб разбудить Мишку, — сначала нужно было найти его. И теперь он тихо пробрался в угол двора, там в узкой дыре между поленицей дров и стеной погреба зарылся в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине и несколько секунд смотрел в небо. В небе сверкали звезды... Они напомнили Мишке золотые блески на атласном костюме клоуна, он зажмурил глаза, улыбнулся сквозь дрему и, беззвучно, одними губами, повторив: «Фот так...», — уснул крепким детским сном.

...Проснуться его заставило странное ощущение: ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой все тело. Он с испугом открыл глаза.

— Чертенюк! — укоризненно говорила кухарка, дергая его за ногу: — Опять ты спрятался? Вот я уже — погоди! — скажу хозяйке...

— Это я, тетенька Палагея, не прятался, — вот, ей-богу, не прятался! — И Мишка, вскочив на ноги, убежденно перекрестился.

— Черти тебя спрятали?

— А я пришел и было везде заперто... дядя Николай стал бы ругаться, — ну я — махать через ворота... — скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тетеньки Палагеи.

— Иди, иди, шишига, ставь самовар-от, ведь уж скоро шесть часо-ов...

— Это я чичас! — с полной готовностью воскликнул Мишка и, довольный тем, что так дешево отделался, сломя голову побежал в кухню.

Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от старости, пузатого ветерана с исковерканными боками, Мишка вступил в беседу с кухаркой.

— Ну уж в цирке вчера — ах тетенька! здорово представляли! — шуря глаза от удовольствия, сказал он.

— Я тоже было хотела пойти, — угрюмо отозвалась кухарка и со злым вздохом добавила: — Да разве у нас вырвешься!

— Вам нельзя, — серьезно сказал Мишка, и так как он был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным вздохом, — пояснил свои слова: — Потому вы вроде как на каторге...

— То-то что...
— А уж был там паяц один... ах и шельма!
— Смешной? — заинтересовалась кухарка оживлением Мишки.

— Тонсь просто уморушка! Согнет он какой-нибудь крендель — так все за животики и возьмутся! — живо описал Мишка, держа в руках пучок зажженной лучины.

— Ишь ты... люблю я этих паяцев... клади лучину-то в самовар — руки сожжешь.

— Фюить! Готово!.. Рожа у него — как на пружинах... уж он ее и так кривит и эдак... — Мишка показал, как именно паяц кривит рожу.

Кухарка взглянула на него и расхохоталась.

— Ах ты... таракан ты... ведь уж перенял! Ступай убирать мастерскую-то, ангилютка.

— И фот так! — пискливо крикнул Мишка, исчезая из кухни, сопровождаемый добродушным смехом Палагеи. Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях к кадке с водой и, глядя в нее, проделал несколько гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам рассмеялся.

...Этот день стал для него роковым днем и днем триумфа. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне, воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, пискливую речь и все, что врезалось в его память. Мастеров томила скука, они рады были и той незатейливой забаве, которую предлагал им увлеченный Мишка, они поощряли его выходки и к вечеру уже звали его — паяц.

— Паяц! На-ко вымой кисти!

— Паяц! Принеси лазури!

И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по мастерской, все более входя в роль потешника, гримасничая и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных поощрений, обычных в его жизни. Но — чем выше встанешь, тем хуже падать, это ведь известно...

Вечером, пред концом работы, один из мастеров, писавший поясной образ св. великомученика Пантелеймона, подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил икону, еще сырую, на окно; Мишка, кривляясь, схватил

образ и... смазал пальцем краску с ящичка в руке св. целителя... Бледный от испуга, он молча и вопросительно взглянул на мастера.

— Что? Дорвался? — ехидно спросил тот.

— Я нечаянно-о... — тихо протянул Мишка.

— Дай сюда...

Мишка покорно отдал ему икону и потупился.

— Давай башку!

— Господи! — умоляюще взвыл Мишка.

— Ну?!

— Дяденька! я...

Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе. Потом он, не торопясь, запустил ему пальцы своей левой руки в волосы на затылке снизу вверх и начал медленно поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя ноги и поджал руки, точно он думал, что от этого тело его станет легче, и с искаженным от боли лицом повис в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв его левой рукой на пол-аршина от пола, взмахнул в воздухе правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз. Это называется «встряска», она выдирает волосы с корнями и от нее на затылке является опухоль, которая долго заставляет помнить о себе.

Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской смеялись над ним.

— Ловко кувыркнулся, паяц!

— Это, братцы, воздушный полет.

— Ха-ха-ха! Мишка, а ну-ка еще посартоморталь!

Этот смех резал Мишке душу и был намного острее боли от «встряски». Ему приказали подняться с пола и накрывать на стол для ужина. В кухне его ждало еще огорчение. Там была хозяйка — она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая:

— А ты, чертенок, спи, где велят, а не прячься, не прячься, не прячься.

Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт движениям хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание укунить эту руку.

...Через час он лежал на своей постели, под столом в мастерской, сжавшись в плотный маленький комочек так,

точно он хотел задавить в себе боль и горечь. В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд у стены. Их темные лики смотрели сурово и внушительно в торжественной безмятежности своей славы, лунный свет придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и оживляя складки тяжелых риз на их раменах.

Без дум, весь поглощенный чувством обиды, мальчик покорно ожидал, когда это чувство затихнет... а блестящие краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем вечере, о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые так свободно прыгают, так веселы и красивы...

...И вот он видит арену цирка и себя на ней, с необычайной легкостью он совершал самые трудные упражнения, и не усталостью, а сладкой и приятной негой они отзывались в его теле... Гром рукоплесканий поощрял его... полный восхищения пред своей ловкостью, веселый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца... чтоб завтра снова проснуться на земле от пинка.

ДРУЖКИ

Одного из них звали Пляши-нога, а другого — Уповающий; оба они были воры.

Жили они на окраине города, в слободе, странно разметавшейся по оврагу, в одной из ветхих лачуг, слепленных из глины и полусгнившего дерева, похожих на кучи мусора, сброшенные в овраг. Воровать дружки ходили в ближайшие к городу деревни, ибо в городе воровать трудно, а в слободке у соседей украсть было нечего.

Оба они люди скромные: стащат кусок полотна, армяк или топор, сбрую, рубаху или курицу и уже долго потом не посещают деревню, в которой им удалось что-нибудь «слямзить». Но, несмотря на такой умный образ действий, подгородные мужики хорошо знали их и грозились, при случае, избить до смерти. Однако такого случая не представлялось мужикам, и кости двух друзей были целы, хотя уже лет шесть кряду друзья слушали угрозы мужиков.

Пляши-нога был человек лет сорока, высокий, сутулый, худой и жилистый. Он ходил, опустив голову к земле, заложив за спину длинные руки, шагая неторопливо, но широко, и на ходу он всегда оглядывался по сторонам озабоченно прищуренными, беспокойно зоркими глазами. Волосы на голове он стриг, бороду брил; густые, сивые солдатские усы закрывали ему рот, придавая лицу его ошестинившееся, суровое выражение. Левая нога

у него, должно быть, была вывихнута или сломана и срослась так, что стала длиннее правой; когда он, шагая, поднимал ее, она у него подпрыгивала в воздухе и виляла в сторону; эта особенность походки и дала ему прозвище.

Уповающий был старше товарища лет на пять, ниже ростом, шире в плечах. Он часто и глухо кашлял, лицо его, скуластое, обросшее большой черной с проседью бородой, покрывала болезненная желтизна. Глаза у него большие, черные, а смотрели виновато, ласково. На ходу он складывал губы сердечком и тихо насвистывал песню, печальную, всегда одну и ту же. На плечах у него болталась короткая одежина из разноцветных лохмотьев — что-то похожее на ватный пиджак; а Пляши-нога ходил в длинном сером кафтане, подпоясанном кушаком.

Уповающий был крестьянином, его товарищ — сын пономаря, бывший лакей и маркер. Их всегда видели вместе, и крестьяне говорили при виде их:

— Опять дружки появились — гляди в оба!

А дружки шли где-нибудь проселочной дорогой, зорко поглядывая по сторонам и избегая встреч. Уповающий кашлял и насвистывал свою песню; а нога его товарища плясала в воздухе, как бы стремясь оторваться и убежать в сторону с опасного пути своего хозяина. Или они лежали где-нибудь на опушке леса, во ржи, в овраге и тихо разговаривали о том, как украсть, чтобы поесть.

Зимой даже и волки, — более приспособленные к борьбе за свою жизнь, чем два друга, — плохо живут. Тощие, голодные и злые, они рыскают по дорогам, и хотя их убивают, но — боятся: у них есть когти и зубы для самозащиты, сердца их ничем не смягчены. Последнее очень важно, ибо для того, чтобы побеждать в борьбе за существование, человек должен иметь или много ума, или сердце зверя.

Зимой дружкам приходилось плохо; зачастую оба они выходили по вечерам на улицы города и просили милостыню, стараясь не попадаться на глаза полиции.

Очень редко удавалось им украсть что-нибудь; ходить по деревням неудобно и холодно, и на снегу оставались следы, да и бесполезно посещать деревни, когда все в них заперто и занесено снегом. Много сил теряли товарищи зимой, борясь с голодом, и, может быть, никто не ждал весны так жадно, как они ждали ее...

Но вот, наконец, подходила весна. Они, истощенные, полубольные, вылезали из своего оврага, радостно смотрели на поля, где с каждым днем быстрее таял снег, являлись бурые проталины, лужи блестели, как зеркала, и весело журчали ручьи. Солнце лило на землю свои теплые ласки, оба друга грелись в его лучах, рассуждая о том, как скоро просохнет земля и когда, наконец, можно будет идти по деревням «стрелять». Часто Уповающий, страдавший бессонницей, будил своего друга ранним утром и радостно объявлял ему:

— Эй! Вставай — грачи прилетели!

— Прилетели?

— Ей-богу! Слышишь, галдят?

Выйдя из своей лачуги, они со вниманием и подолгу следили, как черные вестники весны вили новые гнезда, исправляли старые, наполняя воздух громким, озабоченным криком...

— Теперь за жаворонками очередь, — говорил Уповающий, принимаясь чинить старую, полусгнившую сеть.

Являлись жаворонки; товарищи шли в поле, ставили сеть на одной из проталин и, бегая по полю, мокрые и грязные, гнали под сеть голодных и утомленных перелетом птиц, искавших корма на сырой, только что освободившейся из-под снега земле. Наловив птичек, они продавали их по пятаку и гривеннику за штуку. Потом являлась крапива, которую они собирали и тащили на базар торговкам овощами. Почти каждый день весны давал им что-нибудь новое, — новый, хотя и маленький заработок. Они умели всем пользоваться: верба, щавель, шампиньоны, земляника, грибы — ничто не миновало их рук. Солдаты выходили на стрельбу, — друзья, после окончания стрельбы, рылись в валах, отыскивая пули, которые потом продавали по двенадцати копеек за фунт. Все эти занятия, хотя и не позволяли друзьям умереть

с голоду, но очень редко давали им возможность насладиться чувством сытости, — приятным чувством полноты желудка и горячей работой его над проглоченной пищей.

Однажды, в апреле, когда на деревьях еще только наливаются почки и леса стоят подернутые сизым сумраком, а на бурых, жирных полях, облитых солнцем, чуть-чуть пробивается трава, — друзья шли по большой дороге, шли и, куря самодельные папиросы из махорки, разговаривали.

— Все гуще ты кашляешь!.. — спокойно предупреждал Пляши-нога товарища.

— Это — наплевать!.. Вот солнышком меня подогреет — и я оживу...

— Мм... А то, может, сходить бы тебе в больницу...

— Ну! На что она мне? Коли помереть надо, и так помру.

— Это конечно...

Они шли мимо берез по тракту, и березы бросали на них узорчатые тени своих тонких ветвей. Воробьи прыгали по дороге, оживленно чирикавая.

— Ходить ты плохо стал, — помолчав, заметил Пляши-нога.

— Это оттого, что душит меня, — объяснил Уповающий. — Воздух теперь густой, жирный, ну и трудно мне глотать его.

Он остановился, кашляя.

Пляши-нога стоял рядом с ним, курил и неопределенно смотрел на него. Уповающий трясся в припадке кашля, тер грудь руками; лицо у него стало синим.

— Здорово продрало дыхалки-то, — сказал он, перестав кашлять.

Пошли дальше, спугивая воробьев.

— Теперь мы двигаем на Мухину!.. — заговорил Пляши-нога, бросив папироску и сплюнув. — Обойдем ее по задворкам, — может, что накроем... Дальше — Сивцовой рощей на Кузнечиху... С Кузнечихи на Марковку свернем... да и домой...

— Верст тридцать ходу будет, — сказал Уповающий.

— Лишь бы не даром...

Влево от дороги стоял лес, темный и неприветливый; среди его голых ветвей еще не было видно ни одного зеленого пятна, ласкающего глаз. По опушке бродила маленькая мохнатая и взъерошенная лошаденка с подведенными боками; ребра на ее остоле вырисовывались так же выпукло, как обручи на бочке. Товарищи остановились и долго смотрели, как она медленно переступала ногами, наклоняя морду к земле, и, забирая губами желтые былинки, тщательно жевала их истертыми зубами.

— Тоже отошала!.. — заметил Уповающий.

— Тпрусень, тпрусень! — поманил Пляши-нога.

Лошадь взглянула на него и, отрицательно качнув головой, снова опустила ее к земле.

— Не хочет к тебе, — пояснил Уповающий ее утомленное движение.

— Идем!.. Ежели ее — татарам отвести — рублей семь дадут, пожалуй!.. — задумчиво проговорил Пляши-нога.

— Не дадут. Чего в ней!

— А кожа?

— Кожа? Так разве за кожу столько дадут? Трешницу за кожу.

— Н-ну!

— А что? Ведь у нее какая кожа? Портянка старая, а не кожа...

Пляши-нога взглянул на товарища и, остановясь, сказал:

— Ну?

— Хлопотно!.. — нерешительно откликнулся Уповающий.

— Чего там?

— Опять же следы... Земля сырая... видно будет, куда повели...

— Лапти наденем ей...

— Как хошь...

— Айда! Загоним ее в лес и там в овраге дождемся ночи... А ночью выведем и сгоним к татарам. Тут недалеко — версты три...

— Что ж? — кивнул головой Уповающий, — пойдем! Синица в руки... Только бы не того...

— Ничего не будет! — уверенно сказал Пляши-нога.

Они свернули с дороги и, оглядываясь по сторонам, пошли к лесу. Лошадь посмотрела на них, фыркнула, взмахнула хвостом и снова принялась щипать блеклую траву.

На дне глубокого лесного оврага было сыро, тихо и сумрачно. Журчание ручья носилось в тишине грустной жалобой. С крутых склонов оврага свешивались вниз голые ветви орешника, калины, жимолости; кое-где из земли беспомощно торчали корни, вымытые весенней водой. Лес был еще мертв; сумрак вечера увеличивал безжизненное однообразие его красок, унылое молчание, притаившееся в нем, наполняло его мрачным и торжественным покоем кладбища.

Дружки давно уже сидели в тишине и сыром сумраке, под группой осин, съехавших вместе с огромной глыбой земли на дно оврага. Маленький костер ярко горел перед ними, и они, грея над огнем руки, понемногу подбрасывали в него сучья, заботясь о том, чтобы огонь все время горел ровно и костер не давал дыму. Неподалеку от них стояла лошадь. Они окутали ей морду рукавом, оторванным от лохмотьев Уповающего, и привязали ее за повод к стволу дерева.

Уповающий, сидя на корточках, задумчиво смотрел в огонь и насвистывал свою песню; его товарищ, нарезав пучок ивовых прутьев, плел из них корзину и, занятый своим делом, молчал.

Унылая мелодия ручья и тихий свист бездельного человека жалостливо плавали в безмолвии вечера и леса; иногда потрескивали сучья в огне, потрескивали и шипели, точно вздыхая, как бы сочувствуя жизни двух людей, более мучительной, чем их смерть в огне.

— Скоро мы пойдем? — спросил Уповающий.

— Рано еще... Стемнеет совсем, тогда и пойдем!.. — ответил Пляши-нога, не поднимая головы от своей работы.

Уповающий вздохнул и закашлялся.

— Ты что, озяб, что ли? — спросил его товарищ после долгой паузы.

— Не-е... скушно мне чего-то... Сердце сосет...

— Болезнь...

— Надо быть, она... А может, что другое.

Пляши-нога сказал:

— А ты не думай...

— Про что?

— Да про все...

— Видишь ты, — вдруг оживился Уповающий, — не могу я не думать. Смотрю я на нее, — он махнул рукой на лошадь, — тоже и у меня была такая... Замухрышка она, а в хозяйстве — первый винт! У меня одно время даже пара была... здорово я в ту пору работал.

— А что выработал? — холодно спросил Пляши-нога. — Не люблю я этого в тебе... Заведешь волюнку и охаешь — а к чему?

Уповающий молча бросил в огонь горсточку мелко изломанных сучьев и стал смотреть, как искры летели кверху и гасли в сыром воздухе. Глаза у него часто мигали, по лицу бегали тени. Потом он повернул голову туда, где стояла лошадь, и долго разглядывал ее.

Она стояла неподвижно, как вкопанная в землю; голова ее, обезображенная повязкой, была понуро опущена.

— Рассуждать надо просто, — сурово и внушительно говорил Пляши-нога. — Наше житье: день да ночь — и сутки прочь! Пища есть — хорошо; нет — попищи-попищи, да и перестань... А ты как начнешь — слушать скверно. От болезни это у тебя.

— Должно быть, от болезни, — согласился Уповающий; но, помолчав, прибавил: — А может, — от слабого сердца.

— И сердце слабое от болезни, — категорически заявил Пляши-нога.

Он перекусил зубами прут, взмахнул им, со свистом разрезал воздух и строго сказал:

— Я вот здоров — и нет у меня ничего такого!

Лошадь переступила с ноги на ногу; затрещал какой-то сучок; в ручей посыпалась земля, вводя новые ноты в его тихую мелодию. Потом откуда-то вспорхнули две птички и полетели вдоль оврага, беспокойно цыркая. Уповающий посмотрел вслед им и тихо заговорил:

— Какие это птички? Ежели скворцы, нечего им делать в лесу... Надо полагать, что это свиристели...

— А может быть, клесты, — сказал Пляши-нога.

— Клестам рано быть. И опять же он, клест, в сосновом лесу вьется. Здесь ему нечего делать... А это не иначе как свиристели...

— Ну, и пускай их!

— Конечно, — согласился Уповающий и почему-то тяжело вздохнул.

В руках Пляши-ноги работа подвигалась быстро: он уже сплел дно корзины и ловко выводил бока. Он резал прутья ножом, перекусывал их зубами, гнул, вязал, быстро перебирая пальцами, и посапывал носом, ошетилив усы.

Уповающий смотрел то на него, то на лошадь, точно окаменевшую в своей понурой позе, то в небо, уже почти ночное, но без звезд.

— Хватится мужик лошади, — вдруг заговорил он странным голосом, — а ее и нету... Туда-сюда — нет лошадки!

Уповающий развел руками. Лицо у него было глупое, а глаза так часто мигали, точно он смотрел на что-то ярко вспыхнувшее пред ним.

— Это ты к чему? — сурово спросил Пляши-нога.

— Вспомнил я одну историю... — виновато сказал Уповающий.

— Какую?

— Да — так тут... случилось тоже вот, что лошадь увели... у моего шабра, — Михайлой его звали... большой такой был мужик... рябой.

— Ну?

— Ну, — увели... На озимях паслась она и — нет ее! Так Михайла-то, как понял, что обезлошадел, да как грохнется наземь, да как завоет! Ах ты, братец ты мой, как это он завыл тогда!.. И упал... ровно ему ноги переломило.

— Ну?

— Ну... долго он, этак-то...

— А тебе что?

Уповающий при резком вопросе товарища отодвинулся от него и робко ответил:

— Да я так это — вспомнилось... Без лошади — зарез мужику.

— Вот что я тебе скажу, — строго начал Пляши-нога. в упор глядя на Уповающего, — ты это брось! Из та-

кого твоего разговора толку не будет... Понял? Шабер! Михайла!

— Да ведь жалко, — возразил Уповающий, поводя плечами.

— Жалко? Небось, нас никому не жалко.

— Это что говорить!..

— Ну, и молчи... Скоро идти нам надо.

— Скоро?

— Ну да...

Уповающий подвинулся к костру, помешал в нем палкой и, искоса взглянув на Пляши-ногу, вновь погруженного в работу, тихо и просительно сказал:

— Давай лучше бросим ее...

— Этакая подлая у тебя натура! — со скорбью воскликнул Пляши-нога.

— Да ей-богу! — тихо и убедительно говорил Уповающий. — Ты подумай, ведь опасно! Ведь версты четыре надо тащиться с ней... А как татары-то не возьмут? Тогда что?

— Это мое дело!

— Как хошь! Только лучше бы ее отпустить... Вон она какая дохлая!

Пляши-нога молчал, только пальцы его двигались быстрее.

— Сколько за нее дадут? — тянул Уповающий тихо, но упрямо. — А теперь время самое хорошее... Сейчас будет темно, — пошли бы мы вдоль оврага и вышли к Дубёнкам... гляди, и поймали бы что-нибудь сподручное.

Монотонная речь Уповающего, сливаясь с журчанием ручья, сердила прилежного Пляши-ногу.

Он молчал, сцепив зубы, и от раздражения прутья ломались под его пальцами.

— Теперь бабы холсты белят...

Лошадь громко вздохнула и завозилась. Окутанная тьмой, она стала еще более уродливой и жалкой. Пляши-нога поглядел на нее и сплюнул в костер...

— Живность теперь тоже на свободе... гуси...

— Скоро ты весь вытечешь? — зло спросил Пляши-нога.

— Ей-богу!.. Ты не сердись, Степан, на меня... Бросим ее к лешему! Право!

— Ты жрал сегодня? — крикнул Пляши-нога.

— Не... — сконфуженно ответил Уповающий, испуганный его криком.

— Ну, и чорт с тобой! Сохни!.. А мне наплевать...

Уповающий молча посмотрел на него — он, собрав в кучу прутья, связывал их в снопик и сердито сопел. От костра на лицо его падал отблеск, усатое лицо было красно, сердито.

Уповающий отвернулся и тяжело вздохнул.

— Мне, я говорю, наплевать, — делай, как знаешь, — злобно, осипшим голосом заговорил Пляши-нога. — А только я тебе говорю, что, ежели ты так будешь крутить, — я тебе не компания! Ладно уж, будет! Знаю я тебя... вот что...

— Да — чудака-человек...

— Больше никаких!

Уповающий съезжился и закашлял; потом, тяжело дыша, он сказал:

— Ведь я почему? Потому, что опасно с ней...

— Ладно! — сердито крикнул Пляши-нога.

Он поднял прутья, вскинул их к себе на плечо, взял подмышку недоделанную корзину и встал на ноги.

Уповающий тоже встал, посмотрел на товарища и тихими шагами пошел к лошади.

— Тпру!.. Христос с тобой... не бойсь!.. — раздался в овраге его глухой голос. — Стой!.. Ну, иди! Н-но, дура-а!

Пляши-нога смотрел, как его товарищ возился около лошади, раскручивая тряпку с ее морды, и усы вора вздрагивали.

— Иди, что ли! — сказал он, двигаясь вперед.

— Иду, — ответил Уповающий.

И, пробираясь сквозь кусты, они молча пошли вдоль оврага среди ночной тьмы, наполнившей его до краев.

Лошадь тоже пошла за ними.

Потом сзади их раздался плеск воды, заглушивший мелодию ручья.

— Ишь ты, дура, — в ручей оступилась!.. — сказал Уповающий.

Пляши-нога сердито сапнул носом.

Во тьме и угрюмом молчании оврага раздавался тихий шорох кустов, медленно уплывая вдаль от того места,

где красная кучка углей костра сверкала на земле, как чей-то чудовищный глаз, злой и насмешливый...

Взошла луна.

Ее прозрачное сияние наполняло овраг дымчатым сумраком; повсюду упали тени; лес стал гуще, тишина в нем полнее и строже. Белые стволы берез, посеребренные луной, рисовались на темном фоне дуба, вяза и кустарника, как восковые свечи.

Дружки молча шагали по дну оврага; идти им было трудно: ноги то скользили, то глубоко вязли в грязи. Уповающий дышал часто, в груди у него свистело, хрипело и взвизгивало. Пляши-нога шел впереди; тень его высокой фигуры падала на Уповающего.

— Иди вот! — вдруг заговорил он ворчливо и обиженно. — А куда идти? Чего искать?

Уповающий вздохнул и промолчал.

— Ночь теперь короче воробьиного носа... придем в деревню к свету... И как идем? Ровно барыни... прогулку делаем...

— Тяжело мне, брат!.. — тихо сказал Уповающий.

— Тяжело? — иронически воскликнул Пляши-нога. — А почему?

— Дышать мне очень неспособно... — ответил больной вор.

— Дышать? А отчего неспособно?

— От болезни...

— Врешь! От глупости твоей.

Пляши-нога остановился, обернулся к товарищу и, помахав пальцем под носом у него, добавил:

— От твоей глупости дышать ты не можешь... да! .
Понял?

Уповающий низко опустил голову и виновато сказал:

— Конечно...

Он хотел еще что-то сказать, но закашлялся, оперся дрожащими руками о ствол дерева и кашлял долго, топчась ногами на одном месте, взмахивая головой, широко раскрывая рот.

Пляши-нога пристально смотрел в его лицо, осунувшееся, землистое и зеленоватое от лунного света.

— Всех ты леших в лесу перебудуешь!.. — угрюмо сказал он наконец.

А когда Уповающий откашлялся и, закинув голову, вздохнул, он тоном приказа предложил ему:

— Отдохни!

Они сели на сырую землю, в тень кустов. Пляши-нога свернул папиросу, закурил, посмотрел на ее огонь и медленно начал:

— Ежели бы у нас дома была какая-нибудь еда... то можно бы нам и воротиться домой...

— Это — верно!.. — согласился Уповающий.

Пляши-нога искоса взглянул на него и продолжал:

— Но как дома у нас ничего — должны мы идти...

— Надо... — вздохнул Уповающий.

— Хоша идти нам и некуда, потому толку никакого не будет... Глупы мы, главная причина! До того мы глупы...

Сухой голос Пляши-ноги резал воздух и, должно быть, причинял большое беспокойство Уповающему: он все возился на земле, вздыхал и странно урчал.

— А жрать мне хочется — страсть как! — закончил Пляши-нога укоризненно звучащую речь.

Тогда Уповающий решительно встал на ноги...

— Куда? — спросил Пляши-нога.

— Идем.

— Чего ты так? Вспорхнул...

— Идем!

— Пойдем... — Пляши-нога тоже встал. — Только без толку...

— Ладно, — что будет! — махнул рукой Уповающий.

— Расхрабрился!

— А как? Пилил ты меня, пилил, корил, корил, — господи!

— А зачем поступаешь зря?

— Зачем?

— Н-да!

— Да ведь мне, чай, жалко?

— Чего? Кого?

— Кого! Человека, чай...

— Человека? — протянул Пляши-нога. — Натe — возьмите, понюхайте да бросьте!.. Ах ты, добрая душа! Да он кто тебе, человек-то? Понимаешь ты это? Он вот поймает тебя за шиворот да, как блоху, — под ноготь!

В ту пору ты его и пожалей... да! Тогда ты ему и обнаружь глупость-то свою. Он тебя за твою жалость — семью муками измучает. Кишки твои все на руку себе навертит... по вершку в час жилы из тебя вытянет... Ах ты — жалость! Ты моли бога, чтобы без всякой жалости просто прикокнули тебя и шабаш! Эх ты! Чтоб тебя дождем размочило! Жалость... тьфу!

Он был возмущен, этот Пляши-нога. Его голос, резкий, полный иронии и презрения к товарищу, гулко носился по лесу, и ветки кустов с тихим шорохом качались, как бы поддакивая суровым, верным словам.

Уповающий медленно шагал дрожащими ногами, сунув руки в рукава своей куртки и опустив голову низко на грудь.

— Погоди! — сказал он наконец. — Чего уж? Я поправляюсь... Вот придем в деревню... я и пойду... один пойду... ты не ходи совсем. Стяну — что первое под руку попадет... и домой!.. Придем — лягу я! Трудно мне...

Он говорил задыхаясь, с хрипом, с клокотанием в груди. Пляши-нога подозрительно взглянул на него, остановился, хотел что-то сказать, — махнул рукой и, ничего не сказав, опять пошел...

Долго шли молча.

Пели петухи где-то близко; собака провыла; потом печальный звук сторожевого колокола прилетел из дальней сельской церкви и утонул в молчании леса... Большим черным пятном в мутный лунный свет ринулась откуда-то большая птица, и в овраге зловещим звуком проплыл свист крыльев.

— Ворон... а то грач, — заметил Пляши-нога.

— Вот что... — заговорил Уповающий, тяжело опускаясь на землю, — иди ты, а я тут останусь... не могу я больше, — душит, — в голове круженье...

— Ну, — вот те раз! — недовольно сказал Пляши-нога. — Неужто так-таки не можешь?

— Не могу...

— С праздником! Тьфу!

— Ослаб я совсем...

— Еще бы! не жрамши шляемся с утра.

— Нет, это уж — шабаш мне! Вон она, кровища-то, как хлещет!

И Уповающий поднял к лицу Пляши-ноги свою руку, выпачканную чем-то темным. Тот покосился на руку и пониженным голосом спросил:

— Что же будем делать?

— Иди ты, — а я останусь... Отлежусь, может...

— Куда я пойду? В деревню если — сказать им — человеку, мол, плохо...

— Смотри, побьют.

— Это — как есть... Им только попадись!..

Уповающий откинулся на спину, глухо кашляя и выплевывая изо рта целые шматки крови...

— Идет? — спросил Пляши-нога, стоя над ним, но глядя в сторону.

— Шибко идет, — еле слышно сказал Уповающий и закашлялся.

Пляши-нога цинично и громко ругнулся.

— Хоть бы позвать кого!

— Кого? — грустным эхом повторил Уповающий.

— А может, ты — встал бы, да и пошел — поменьше?

— Нет уж...

Пляши-нога сел около головы товарища и, обняв колени руками, стал смотреть ему в лицо. Грудь Уповающего подымалась неровно, с глухим хрипом, глаза провалились, губы как-то странно растянулись и как бы пристали к зубам. Из левого угла рта по щеке ползла живая, темная струйка.

— Все еще течет? — тихо спросил Пляши-нога, и в тоне его вопроса было что-то близкое к почтению.

Лицо Уповающего дрогнуло.

— Течет... — раздался слабый хрип.

Пляши-нога наклонил голову к коленям и замолчал.

Над ними висела стена оврага, изборожденная глубокими рытвинами от весенних потоков. С вершины ее смотрел в овраг косматый ряд деревьев, освещенных луной. Другой скат оврага, более пологий, весь порос кустарником; кое-где из его темной массы вздымались серые стволы, и на их голых ветвях ясно были видны гнезда грачей... И овраг, облитый луной, был похож на скучный сон, лишенный красок жизни; а тихое журчание ручья

еще более усиливало его безжизненность, оттеняя тоскливую тишину.

— Умираю!.. — еле слышно шепнул Уповающий и вслед за тем громко и ясно повторил: — Умираю я, Степан!

Пляши-нога дрогнул всем телом, завозился, засопел и, подняв голову с колен, смущенно, тихонько, точно боялся помешать чему-то, заговорил:

— А ты не того, — не бойся! Может, это так просто, — ничего, брат!

— Господи Иисусе Христе!.. — тяжело вздохнул Уповающий.

— Ничего! — шептал Пляши-нога, наклонясь над его лицом. — Ты поддержишься немного... Может, пройдет...

Уповающий начал кашлять; в груди у него явился новый звук — точно мокрая тряпка шлепалась об его ребра. Пляши-нога смотрел на него и шевелил усами. Откашлявшись, Уповающий начал громко и прерывисто дышать — так, точно он из всех сил бежал куда-то. Долго он дышал так, потом заговорил:

— Прости, Степан, — коли что я... за лошадь вот... прости, браток!..

— Ты меня прости!.. — перебил Пляши-нога его речь и, помолчав, добавил: — Я, — куда я теперь пойду? И как быть?

— Ничего! дай тебе гос...

Он охнул, не dokonчив слова, и замолчал.

Потом начал хрипеть... Вытянул ноги... Одну из них отвел в сторону...

Пляши-нога, не мигая, смотрел на него. Проходили минуты, длинные, как часы.

Вот Уповающий приподнял голову; но она у него тотчас же бессильно упала на землю.

— Что, брат? — наклонился к нему Пляши-нога. Но он не отвечал уже, спокойный и неподвижный.

Посидел еще немного около товарища Пляши-нога, а потом встал, снял шапку, перекрестился и медленно пошел вдоль оврага. Лицо у него обострилось, брови и усы ошетинились, шагал он так твердо, точно бил землю ногами, точно больно сделать ей хотел.

Уже светало. Небо серое, неласковое; в овраге царила угрюмая тишина; только ручей вел свою однообразную, тусклую речь.

Но вот раздался шорох... Должно быть, ком земли покатился на дно оврага. Проснулся грач и, тревожно крикнув, полетел куда-то. Потом синица прозвенела. В сыром, холодном воздухе оврага звуки жили недолго — родятся и тотчас же исчезнут...

ФАРФОРОВАЯ СВИНЬЯ

...Она стояла на каминной доске, рядом со старинными часами, была очень хорошо'сделана и считала себя лучше всех в кабинете.

Ее ближайшим соседом был бронзовый Меркурий; он помещался на мраморном утесе, в который был вделан циферблат часов. Тут же находился маленький чортик из папье-маше, гипсовый бюст Гейне и две вазы с высушенными цветами. Все они давно уже стояли на каминной доске, прекрасно знали друг друга и, когда в кабинете никого не было, — вступали в беседу друг с другом. В эту ночь у них не было никакого основания отступить от усвоенной ими привычки...

Как только горничная погасила лампу и ушла, свинья недовольно сказала:

— Фи-и, как я не люблю света!..

— Каждый раз вы с этого начинаете, — заметил ей чортик из папье-маше.

— Ну так что же? А все-таки я повторяюсь не так часто, как часы, — возразила свинья.

— Ба! Часы! — воскликнул бюст Гейне. — Вы знаете, господа, ведь они скоро отметят людям наступление нового и последнего в столетии года!..

— Как это важно! — пренебрежительно отозвалась свинья. — Точно они не делают этого каждый год...

— И каждый год есть последний в столетии, — сказал чортик.

— Так, так! — сказали часы.

— А смешная это привычка у людей — ежегодно в конце декабря воображать, что, пока они существуют на земле, возможно что-нибудь новое, — проговорил бюст Гейне.

— Это вы о чем? — спросила свинья, — она была не из догадливых.

— Да об этом, новом годе...

— Да, да! — воскликнула свинья.

— А это, знаете, просто объясняется, — сказал чортик. — Люди несчастны и ленивы, сделать что-нибудь новое сами они не могут, а жить — скучно! И вот они представляют себе, что новое может явиться на земле помимо их усилий...

— Люди ленивы — это так! — докторально подтвердила свинья. — Они потому и несчастны, что ленивы... и потом — ведь они еще и глупы... А в сущности — так просто быть счастливым! Что такое счастье? Довольство собой... и ничто иное...

— О? — воскликнул бюст Гейне. — А знаете, сударыня: тот, кого я изображаю, пожалуй, не согласился бы с вами...

— Ну, уж я не знаю, кого вы там изображаете... полагаю, однако, что всякий должен быть самим собой и — только. И уверена, что если б соловьи захотели быть свиньями, они стали бы смешными, но не лучше.

— Гм! — сказал бюст Гейне, — однако, если б я был только самим собою, то, наверное, не имел бы такой красивой формы... ведь я — просто гипс...

— Это хорошо, что вы скромны и сознаете свои недостатки, — благосклонно одобрила свинья бюст Гейне. — Но что же мешает вам сделаться свиньей... если вы довольны тем, что вы есть?

— Я, право, не думаю, что... это лучше...

— Фу, какой вы... глупый! Уже походить на простую свинью очень приятно, а если кто сравнится со мною, — тот достиг возможного на земле совершенства. Мы, йоркширские свиньи — я ведь йоркширской породы, — вы это знаете?

— О, да! Вы частенько говорите нам о вашей генеалогии...

— Так, так! — сказали часы.

— Мы, йоркширские свиньи, давно уже выработали себе... э... так сказать, prospect жизни... Это очень просто, хотя чрезвычайно умно...

— Вот о чем вы еще никогда не говорили... — заметил чортик, усмехаясь.

— Мы, йоркширские свиньи, всегда были такими, какой вы видите меня, — важно говорила фарфоровая свинья. — Это потому, что мы, прежде всего, убеждены в пользе и необходимости хорошего питания. Обмен соков важнее обмена мыслей — и что такое живая, хорошая мысль? Анализируйте ее... хотя бы у человека, совершенного в моем смысле, и, я уверена, — вы всегда найдете в ней немножко хорошего ростбифа, две-три капли красного вина, спаржу, трюфели, свежую дичь, наконец — шампанское, которое дает ей блеск и игру... Следующее за питанием место нужно отдать идеям... мы живем в такое время, когда явиться в общество без какой-нибудь идеи так же неприлично, как без галстука... И вот что особенно важно и требует много вкуса и ума — это умение выбирать хорошие, удобные идеи... Дело, видите ли, в том, что многие из них ядовиты и отравляют самочувствие. Вообще же, — и это самое лучшее, — нужно стараться иметь идеи *при* себе, но отнюдь не *в* себе, — к сожалению, это не всем доступно... да. Для употребления в обществе следует выбирать идеи простые, здоровые... например: дважды два — четыре, голодный — должен есть, наука — всеильна, личность — должна быть свободна, но в разумных пределах, бить блох — жестоко, но не безнравственно... и так далее в этом духе. В сущности, это даже и не идеи, а... так себе, но, во всяком случае, это нечто необходимое для порядочного человека, и без таких формул его никто не признает за образованного и развитого... Говорить же о всем этом нужно с... твердостью и так, будто кроме вас никто не знает того, о чем вы говорите, хотя бы говорили о недостигаемости небес... Впрочем, о небесах самое лучшее совсем не говорить... дело в том, что никто из нас, йоркширских свиней, не видел их, и, право, я не уверена в том, что они существуют... Однажды, впрочем, кто-то из наших видел в луже отражение чего-то... пустого... знаете — совершенно пустого —

может быть, это и есть небеса?.. Если так, то — какая в них польза? И что можно сказать о них?.. Намеченные мною темы для разговоров в обществе, при умении располагаться ими, — самые удобные темы... и решительно никогда никого и ни к чему не обязывают... Если важно кушать и иметь при себе порядочные идеи — это сразу приведет вас к равновесию духа и тела. Корень же счастья именно в этом равновесии... Я, конечно, говорю все это применительно к людям, потому что мы, йоркширские свиньи, совершенно не нуждаемся в идеях... с нас довольно убеждения в том, что именно мы — соль земли и опора... э... и вообще — опора, устои, так сказать, или иначе — столпы... Само собою разумеется, что, при таком самочувствии, мы не можем позволить себе заниматься такими пустяками, как ожидание чего-нибудь нового... нового года, например...

— А ведь вы, сударыня, имеете взгляд и нечто, как говорится, — заметил чортик, усмехаясь. — И право, если б вы не были фарфоровой, вам следовало бы заняться сочинением книг...

Свинья подозрительно хрюкнула и сказала:

— Не знаю, что это такое... книги? Никогда не пробовала! Это что-нибудь вроде квашеной капусты?

— Не всегда, — кратко заметил чортик.

— Смотрите-ка! — воскликнул бюст Гейне. — Смотрите, какие сегодня черные тени падают от часовых стрелок на циферблат! Что бы это значило?

— Ох! Это постоянно бывает пред новым годом, — тихо ответила минутная стрелка. — Это не тени... то есть это не простые тени, а отражение того, что не сделано людьми в течение года... Вот оно сгустилось и следует за нами, замедляя наше движение...

— Ничего не понимаю! — воскликнула свинья.

— Я говорю, что за нами следует отражение того, что необходимо было совершить людям и что не совершено ими...

— Так, так, — подтвердили часы.

— Терпеть не могу философии, иносказаний и прочей чепухи, — объявила свинья.

— Давно уже, — говорила часовая стрелка, — давно уже на земле нет часов, верных движению жизни. Все

часы отстают, ибо тяжело и трудно им идти вровень с течением времени, слишком много часы людей содержат в себе и влачат за собою несделанного, нерешенного...

— Так, так, — равнодушно подтвердили часы.

— Жизнь идет к своей цели и требует деяний от людей, а люди, в плену своей лени, задерживают темп ее... Необходимые деяния уже созрели, но не свершены, ибо нет рук для работы дружной и святой, — для работы над расширением жизни... и отстают люди от жизни...

— Нет, как они глупы! — сказала свинья.

— Это кто же, сударыня? — спросил чортик.

— Ну, разумеется, люди! Кто же еще может быть глуп? Люди... Вот видите — часы отстают. Но тем не менее люди встретят новый год ровно в двенадцать часов! А? Каково?

— Но, может быть, они отстают на несколько минут? — сказал бюст Гейне.

— Мы, например, отстают слишком на столетие, — спокойно сказала минутная стрелка.

— Вот видите? — с радостью воскликнула свинья. — И, остав на столетие, люди встретят новый год в убеждении, что это... какой они ждут год?

— Девяносто девятый... — сказал чорт.

— Однако! Я не думала, что люди так давно живут на земле! Быть может, они потому и глупы, что так стары, а? Ну жизнь у них! Какая скучная жизнь! Какая... несчастная жизнь!

— О Эллада! — воскликнул Меркурий. Он хотя и был бронзовый, но знал, что изображает бога, и в беседах этой компании принимал участие лишь тогда, когда она злила его. — О Эллада! Как низко пала жизнь! Как упрощенно ничтожна жизнь на земле! Даже свиньи судят о ней, и в их суждениях — увы! — я слышу голос правды...

— Позвольте однако! — гордо сказала свинья. — Что такое — «даже свиньи»? Как это вы, забракованный бог, смеете говорить — «даже свиньи»?! Могу вас уверить, заштатная вы фигура, что мы, йоркширские...

В этот момент дверь кабинета открылась, и в него вошел человек со свечой в руках. При людях и свете

фигурки на каминной доске не разговаривают, считая это неудобным, и ссора Меркурия со свиньей оборвалась в начале.

А человек, вошедший в кабинет, был такой толстенький, румяный, и он, очевидно, только что покушал и музыкально рыгал. Стоя перед столом, он обрезывал сигару и говорил:

— И — не лю...блю п'се-мистов!.. Что т-такое? Р-раз...ве ж-жизнь? п'лха? Пу-устяки-и! Мы встр'чаем последний год столетия... та-ак сказать... с нау-укой в руках... со... со... свет-чем науки... Л-лучи Рен...тгена... жид...кий воздух, синематогр-графф... какие картинки! Особенно к-когда она, ш-шельма, садится в ванну... мм... хе, хе, хе! И говорят — жизнь идет м-мерзко? Кто говорит? Кто-о это говоритт?.. А! я знаю!.. это говорит Филипп Федорович!.. А отчего Филипп Фед...рвич говорит — жизнь п'лха? Оттого, что он имеет плохой желу-удок и не... и не... получил к рождеству награды... ясно-о! — Эй! Д-дуня! Ду-уня! Дайте м-мне сельтер-рской... воды...

КАИН И АРТЕМ

Каин был маленький юркий еврей, с острой головой, с желтым худым лицом; на скулах и подбородке у него росли кустики рыжих жестких волос, и лицо смотрело из них точно из старой, растрепанной плюшевой рамки, верхней частью которой служил козырек грязного картуза.

Из-под козырька и рыжих, точно выщипанных бровей сверкали маленькие серые глазки. Они очень редко оставались подолгу на одном предмете, но всегда быстро бегали из стороны в сторону и всюду сеяли улыбки — робкие, заискивающие, льстивые.

Каждый, кто видел эти улыбки, сразу понимал, что основное чувство человека, который так улыбается, — боязнь пред всеми, боязнь, через секунду готовая повыситься до ужаса. И поэтому каждый, если ему было не лень, усиливал злыми насмешками и щелчками это всегда напряженное чувство еврея, пропитавшее собою не только его нервы, но, казалось, и складки парусиновой одежды, — она, облекая от плеч до пят его костлявое тело, тоже вечно трепетала.

Имя еврея было Хаим, но его звали Каин. Это проще, чем Хаим, это имя более знакомо людям, и в нем есть много оскорбительного. Хотя оно и не шло к маленькой, испуганной, слабосильной фигурке, но всем казалось, что оно вполне точно рисует тело и душу еврея, в то же время обижая его.

Он жил среди людей, обиженных судьбой, а для них всегда приятно обидеть ближнего, и они умеют делать это, ибо пока только так они могут мстить за себя. А обижать Кайна было легко: когда над ним издевались, он только виновато улыбался и порой даже сам помогал смеяться над собой, как бы платя вперед своим обидчикам за право существовать среди них.

Жил он торговлей, конечно. Он ходил по улицам с деревянным ящиком на груди и тонким голосом кричал:

— Вак-ша! Спичкэ! Булавкэ! Шпилькэ! Голантегейного товаг-у! Разный мьелкий товаг-у!

Еще одна черта: уши у него были большие, оттопыренные, и они постоянно прядали, как у пугливой лошади.

Торговал он на Шихане, — в местности, где отложилась городская голь и рвань — разные «забракованные люди». Шихан — узкая улица, застроена старыми, высокими домами; в них помещались ночлежки, трактиры, хлебопекарни, лавки с бакалеей, старым железом и разной рухлядью; их населяли воры и приемщики краденого, мелкие торгаши и торговки съестным. В этой улице всегда было много тени, много грязи и пьяных; летом в ней всегда стоял густой запах гниения и перегорелой водки. Солнце, точно боясь осквернить свои лучи грязью, только ранним утром осторожно и ненадолго заглядывало в эту улицу.

Она расположилась по склону горы, недалеко от берега большой реки, и постоянно была полна судорабочими, матросами с пароходов, крючниками. Они тут пьянствовали и наслаждались по-своему, и тут же, в укромных уголках, воры дожидались их опьянения. Около тротуаров улицы стояли корчаги торговых пельменями, лотки пирожников и торговцев «требухой». Толпы рабочего люда с реки жадно пожирали горячую пищу, пьяные дико пели песни и ругались, продавцы звонко зазывали покупателей, хваля свои товары; грохотали телеги, с трудом пробираясь сквозь группы людей, толпившихся в улице, покупающих или продающих, в ожидании работы или удачи. Хаос звуков вихрем носился в узкой канаве улицы, разбиваясь о грязные стены ее зданий.

В этой канаве кипящей грязи, полной оглушающего шума и циничных речей, всегда шныряли и возились

дети, — всех возрастов, но одинаково грязные, голодные и развращенные. Они бегали тут с утра до вечера, существуя за счет доброты торговки и ловкости своих рук, а ночью спали где-нибудь в стороне — под воротами, под ларем пирожника, в углублении подвального окна. С рассветом эти тощие жертвы рахитизма и скрофулеза уже были на ногах, чтобы снова воровать вкусные куски пищи, выпрашивать негодные для продажи. Чьи это были дети? Всех...

В этой улице изо дня в день и бродил Каин, выкрикивая свои товары и продавая их женщинам улицы. Они занимали у него на несколько часов двугривенный с обязательством уплатить двадцать две копейки и всегда аккуратно платили. Вообще, у Каина были в улице большие дела: он покупал у загулявших рабочих рубахи, картузы, сапоги и гармоники, у женщин — юбки, кофты, грошковые украшения, потом променивал эти вещи или продавал их с гривенником барыша. И ежечасно подвергался насмешкам, побоям, а иногда его даже обирали. Он не жаловался на все это, а лишь улыбался трагически кроткими улыбками.

Бывало, захваченный в одном из темных углов улицы двумя-тремя молодцами, доведенными голодом или похмельем до готовности хоть на убийство, еврей, сбитый на землю кулаком или ужасом, сидел у ног своих грабителей и, трепещущий, судорожно роясь в карманах, умолял их:

— Господа-а! Добрые господа! Не берите всех... Как я буду торговать?

И худое лицо его все дрожало от бесчисленных улыбок.

— Ну, не пищи! Давай только тридцать копеек...

Эти добрые господа хорошо понимали, что не следует вырывать у коровы все вымя для того, чтоб достать молоко.

Случалось, он вставал с земли и шел рядом с ними по улице, балагурия и улыбаясь; они тоже снисходительно разговаривали и посмеивались над ним, все держали себя просто и открыто. Каин после такого события казался еще более худым и — только.

С кагалом он, должно быть, жил не в ладу. Очень редко видели его рядом с единоверцем, и всегда было заметно, что единове́рец относится к Каину свысока и презрительно. Был в у́лице слух, будто бы на Каина наложен «херем», и одно время уличные торговки называли его проклятым.

Едва ли это было верно, хотя за Каином и водились несомненные признаки еретичества: он не соблюдал суббота и употреблял в пищу «некошерное» мясо. К нему приставали, прося и требуя объяснить, как он смел есть то, что запрещено его верой? Он сжимался в комок, улыбался и отшучивался или убегал, никогда ничего не рассказывая о вере и обычаях евреев.

Даже несчастные детишки этой улицы преследовали его, бросая ему в ящик и спину комья грязи, корки арбузов и всякую дрянь. Он старался остановить их ласковыми словами, но чаще убегал от них в толпу, куда они не шли за ним, боясь, что там их растопчут.

Так день за днем жил Каин, всем знакомый и всеми гонимый, торговал, дрожал от страха, улыбался, и вот — однажды судьба тоже улыбнулась ему...

В каждом уголке жизни есть свой деспот. На Шихане эту роль играл красавец Артем, колоссальный детина, с головой в густой шапке кудрявых черных волос. Эти мягкие волосы причудливыми кольцами сыпались ему на лоб, спускаясь до прелестных бархатных бровей и огромных карих глаз, продолговатых, всегда подернутых какой-то маслянистой влагой. Нос у него был прямой, антично правильный, губы красные, сочные, прикрытые большими черными усами; все его круглое, чистое, смугловатое лицо было на диво правильно и красиво, глаза, подернутые туманом, очень шли к нему, как бы дополняя и объясняя его красоту. Широкогрудый, высокий и стройный, всегда с улыбкой на губах, он был на Шихане грозой мужчин и радостью женщин. Большую часть дня он проводил лежа где-нибудь на солнечном припеке — массивный, ленивый, впивающий воздух и солнечный свет медленными вздохами, от которых его могучая грудь вздымалась высоко и ровно.

Ему было лет двадцать пять. Года три тому назад он явился в город с артелью крючников-промзинцев¹ и после навигации остался зимовать, поняв, что может и не работая приятно жить на средства своей силы и красоты. И вот с той поры он превратился из деревенского парня и крючника в любимца торговки пельменями, лавочницы и иных женщин Шихана. Этот род занятий позволял ему иметь пищу, водку и табак всегда, когда он желал; больше он ничего не умел желать и — так жил.

Женщины ругались из-за него, дрались; на замужних сплетничали мужьям, мужья и возлюбленные жестоко били их, — Артем был равнодушен ко всему этому, он грелся на солнце, потягиваясь, как кот, и ждал, когда в нем зародится одно из немногих доступных ему желаний.

Обыкновенно он лежал на горе, в которую упиралась улица. Тут прямо перед собой он видел реку, за ней, вплоть до горизонта, широко расстилались луга, кое-где на их ровном зеленом ковре лежали серые пятна — это деревни. Там — всегда тихо, ясно, зелено... А повернув голову влево, он видел свою улицу от начала до конца, в ней кипела шумная жизнь; всматриваясь в ее темную суету, он различал фигуры знакомых людей, слышал голодный рев и, может быть, думал о чем-нибудь. Вокруг него, по горе, рос густой бурьян, торчали одиноко чахлые березы, обломанные кусты бузины, — тут золоторотцы переживали похмелье и играли в карты, чинили платье или отдыхали от работы и драк.

Среди них Артем был на дурном счету. Он неодолимо силен и часто озорничал, а потом очень уж легко он добывал свой хлеб. Это возбуждало зависть; и к тому же он редко делился с кем-либо своей добычей. Вообще товарищеские чувства в нем были не развиты, и он не тяготел к общению с людьми. Если к нему приходили и начинали говорить с ним, он отвечал охотно, но сам не начинал разговора; если у него просили денег на похмелье — он давал, но по собственному почину никогда не угощал зна-

¹ Промзино — село Симбирской губ., откуда выходят на Волгу лучшие, то есть сильнейшие крючники.

комых. А среди них вошло в обычай каждую добытую копейку пропивать и проедать в компании.

Сюда, в кусты, к Артему являлись посланники любви — в виде оборванной и чумазой девочки из улицы или такого же чумазого мальчика. Это очень юные люди, лет семи-восьми, редко — десяти, но они всегда проникнуты сознанием глубокой важности возложенного на них поручения, говорят они вполголоса, и на их рожицах мина таинственности...

— Дяденька Артем, тетка Марья велела тебе сказать, что муж у нее уехал, так чтобы ты сегодня нанял лодку да в луга бы с ней поехал...

— Та-ак, — лениво тянет Артем, и его прекрасные глаза мутно улыбаются.

— Непременно чтобы...

— Могу... А... вот что... это — какая она, тетка-то Марья?

— Лавочница, чай, — укоризненно говорит посланец.

— Лавочница... н-да? Это — которая рядом с железной лавкой?

— Чай, рядом-то с железной лавкой Анисья Николаевна... что уж!

— Ну-ну, я, брат, ведь знаю... Я ведь это так... Для шутки говорю!.. будто позабыл... а ведь я Марью знаю.

Но посланец не уверен в этом, он хочет хорошо исполнить свое поручение и настоятельно объясняет Артему:

— Марья — это которая маленькая, румяная, рядом с рыбой...

— Ну-ну!.. Которая рядом с рыбой. Вот! Чудашка ты!.. ведь я разве спутаю? Ладно, скажи ей, Марье, — еду. Едет, мол. Иди!

Тогда посланец корчит сладчайшую рожу и тянет:

— Дяденька Артем, дай копеечку!

— Копеечку? А коли нету ее? — говорит Артем, засовывая обе руки разом в карманы своих шаровар. И всегда находит какую-нибудь монету. Радостно усмехаясь, посланец мчится возвестить влюбленной печеночнице об исполненном поручении и с нее тоже получить награду. Он знает цену денег и нуждается в них не только потому, что голоден, но и потому, что он курит папиросы, пьет водку и имеет свои маленькие сердечные дела. На другой

день после такой сценки Артем еще более, чем всегда, недоступен впечатлениям бытия и еще более красив своей редкой красотой могучего, но смиренного животного. Так тянулось это сытое, почти бессознательное существование, спокойное, несмотря на множество ревнивцев, ревнивиц и завистников, спокойное потому, что оно охранялось страшной силой Артемова кулака.

Но иногда в карих глазах красавца сгушалось что-то грозное, темное; его бархатные брови сурово сдвигались, смуглый лоб разрезывала глубокая морщина. Он вставал и шел из своего логовища в улицу, и чем ближе он подходил к ее суете, тем более округлялись зрачки его глаз, чаще вздрагивали тонкие ноздри. На левом плече у него висит желтая куртка из крестьянского сукна, правое покрыто рубахой, и сквозь нее видно, какое это могучее плечо. Сапог он не любил и ходил всегда в лаптях; белые онучи, красиво перекрещенные оборами, рельефно обрисовывали икры ног. Шел он медленно, как большая грозная туча...

Улица знает его повадки и уже по лицу видит, чего ей ждать от Артема. Раздается предупреждающий шопот: — Артем идет!..

Красавцу торопливо очищают дорогу, отодвигая в сторону лотки с товарами, корчаги с горячим, заискивающе улыбаются ему, кланяются... Он же идет среди знаков внимания к нему и боязни пред его силой, идет угрюмый, молчаливый, дико прекрасный, как большой зверь.

Вот его нога задевает за лоток с рубцом, печенкой, легким — и все это летит на грязную мостовую. Торговец отчаянно вскрикивает и ругается.

— А ты что стоишь на дороге? — спокойно, но зловеще спрашивает Артем.

— Какая тебе, быку, тут дорога? — воет торговец.

— А ежели я тут хочу идти?

Под скулами Артема вздуваются большие желваки, и глаза у него — как раскаленные докрасна гвозди. Торговец видит это и бормочет:

— Узка тебе улица-то...

Артем медленно двигается дальше. Торговец идет в трактир, берет там кипятку, моет в нем свой товар и через пять минут снова кричит на всю улицу:

— Пичонка, лехко, сердце горяче! Матрос! Иди на почине — язык отрежу! Тетка, купи горло! Кому нужно сердце горяче? Пичонка, лехко!

Волнуется гул голосов и тяжелый запах гнили, водки, пота, рыбы, дегтя, луку.

Люди расхаживают по мостовой, мешая двигаться лошадям, кричат, торгуются, смеются. Высоко над ними — голубая лента неба, мутная от пыли и грязи, поднятой на воздух этой улицей, в которой даже тени от домов кажутся сырыми и пропитанными грязью...

— Голантегейного товаг-у! Ниткэ! Иголкэ! — возглашает Каин, следя за Артемом, страшным для него более, чем для других.

— Пироги со грушай, покупай да кушай! — звонко заливается молодая пирожница.

— Луку, зеленого луку-у!.. — вторит ей другая.

— Ква-ас! Ква-ас! — силло квакает низенький и толстый старик с красным лицом, сидя в тени кадки своего товара.

А человек, известный в улице под странным прозвищем Драного Жениха, продает какому-то судорабочему грязную, но крепкую рубаху со своего плеча и убедительно кричит ему:

— Ду-убина! Где ты купишь за двугривенный такую парадную вещь? Ведь в такой рубахе купчиху сватать можно! С миллионами, — чо-орт!

Вдруг сквозь общий дикий, но гармоничный рев и вой прорезывается звенящая нота детского голоса:

— Подай-те, Хри-ста ра-ди, копе-ечку... си-ро-те оди-нокому... ни отца нету, ни матери...

Странно и чуждо всему звучит в этой улице имя Христа.

— Артюша! Поди-ка сюда! — ласково восклицает бойкая солдатка Дарья Громова, торгующая пельменями. — Где ты пропадаешь? что нас забываешь?

— Много продала? — спокойно спрашивает Артем и легким толчком ноги опрокидывает ее товар. Пельмени, желтые и скользкие, ползут по камням мостовой, и от них идет пар, а Дарья, готовая драться, яростно кричит:

— Бесстыжие твои зенки! Гра-абитель! Как тебя земля-то носит, верблюд астраханский!

Над ней хохочут, — все знают, что она простит это Артему.

А он все так же медленно двигается дальше, толкая всех, налезая на людей грудью, наступая им на ноги. И впереди него быстро, как змея, ползет предостерегающий шопот:

— Артем идет!

В этих двух словах даже тот, кто впервые слышит их, чувствует угрозу и уступает Артему дорогу, осторожно поглядывая на мощную фигуру красавца.

Вот Артем встречает одного из знакомых босяков. Они здороваются, Артем так сжимает своей железной лапой руку знакомого, что тот кричит от боли и ругается. Тогда Артем сжимает ему пальцами плечо или как-нибудь иначе причиняет боль и молча, спокойно наблюдает, как человек стонет и охает под его рукой, задыхается от боли и шепчет:

— Пусти, палач!..

Но палач неумолим, как судьба.

Каин тоже нередко попадал в жестокие руки Артема, который играл им, как ребенок букашкой.

Это своеобразное поведение силача называлось на Шихане «Артюшкин выход». Оно создавало ему массу врагов, но они не могли сломить его чудовищной силы, хотя и пробовали. Так однажды подобрались семеро здоровых молодцов, одобренные всей улицей, они решили поучить и усмирить Артема. Двое из них очень дорого заплатили за эту попытку, остальные отделались легко. Другой раз лавочники — оскорбленные мужья — порядили знаменитого городского силача-мясника, не раз выходившего победителем из борьбы с атлетами-циркастами. Мясник взялся за крупное вознаграждение избить Артема до полусмерти. Их свели, и Артем, никогда не отказывавшийся драться «по охоте», вышиб мяснику руку из ключицы и ударом «под душу» уложил его на месте без сознания. Это еще выше подняло престиж Артемовой силы и, конечно, еще более создало ему врагов.

А он попрежнему продолжал свои «выходы», сокрушая все и всех на своем пути. Какие чувства выражал он так? Быть может, это была месть городу и порядкам его

жизни со стороны человека полей и лесов, оторвавшегося от своей почвы; быть может, он смутно чувствовал, как город губит его, заражая своим ядом его тело и душу, и, чувствуя это, он так боролся с роковой силой, порабовавшей его. Его «выходы» заканчивались иногда в участке, где полиция относилась к нему лучше, чем к другим людям из Шихана, удивляясь его баснословной силе, забавляясь ею, зная, что он — не вор и не способен быть вором — глуп для этого. Но чаще после «выхода» Артем шел в какой-нибудь притон, и там его брала на свое попечение одна из женщин, влюбленных в него. После своих подвигов он был мрачен и капризен, в глазах у него сгущалось что-то дикое, и неподвижностью своей физиономии он походил на идиота. Какая-нибудь промасленная до костей торговка, ядреная баба бальзаковского возраста, ухаживала за ним с видом собственности этого зверя и с чувством страха перед ним.

— Может, пивка заказать еще пару, Артюша? Али наливочки какой? А покушать ты не желаешь ли чего? И чтой-то ты у меня сегодня такой неудалой...

— Отвяжись!.. — глухо говорил Артем, и она на несколько минут переставала суетиться около него, а потом снова принималась спаивать красавца, ибо она уже знала, что трезвый Артем был скуп на ласки.

И вот судьбе, часто слишком шутилой, угодно было, чтобы этот человек и Каин столкнулись.

Случилось это так.

Однажды после «выхода» и обильной пирушки, сопровождавшей его, Артем со своей дамой, пошатываясь, шел к ней в гости узким и пустынным переулком подгородной слободки. Его ждали тут. Несколько человек бросились на него и тотчас же сбили его с ног. Ослабленный вином, он защищался плохо, и тогда эти люди чуть ли не в продолжение целого часа вымещали на нем бесчисленные обиды, понесенные ими от него. Спутница Артема убежала, ночь была темна, место пустынно, — у них были все удобства для полного расчета с Артемом, и они действовали, не щадя своих сил. А когда, уставшие, они кончили, на земле лежало два неподвижных тела: одно —

красавца Артема, а другое — человека, имя которому было Красный Козел.

Посоветовавшись, что им делать с этими телами, молодцы решили: Артема спрятать под разбитую ледоходом беляну, лежавшую на берегу реки кверху дном, а Красного Козла взять с собой.

Когда Артема потащили по земле к берегу, он очнулся от боли, но, догадавшись, что положение мертвого теперь для него выгоднее, молчал, сдерживая боль. Его тащили, ругали и хвастались друг перед другом ударами, нанесенными силачу. Артем слышал, как Мишка Вавилов говорил товарищам, что он все норовил бить Артема пинками под левую лопатку, чтобы разорвалось сердце. А Сухоплюев рассказывал, что он бил все по животу, потому что, если испортить человеку кишки, еда ему не пойдет на пользу, и сколько бы он ни ел — силы у него не будет. Ломакин тоже заявил, что он два раза вспрыгивал ногами на живот Артему. Так же блистательно отличились и все другие, о чем они, хвастаясь, говорили все время, пока не пришли к беляне и не засунули под нее Артема. Он слышал все их речи и слышал, как они, уходя, единогласно решили, что теперь уже ему, Артему, не встать на ноги.

Вот он остался один, во тьме, на куче сырого мусора, набросанного под беляну в половодье волнами реки. Ночь была свежая, майская, и эта свежесть то и дело возвращала Артему сознание. Но когда он пробовал сползти к реке, то снова падал в обморок от страшной боли во всем теле. И снова приходил в себя, терзаемый болью, томимый страшной жаждой. Река как бы дразнила его бессилие, тихо плескаясь о берег, где-то тут, близко к нему. Всю ночь он провел в этом положении, боясь стоять и двигаться.

Но однажды, очнувшись, он почувствовал, что с ним случилось что-то хорошее, очень облегчившее его боли. Он с трудом мог открыть один глаз и едва шевелил разбитыми, опухшими губами. Был день, потому что через щели барки проникали под нее лучи солнца, они создали вокруг Артема мглу. Потом кое-как он поднял руку к лицу и ощупал на нем мокрые тряпки. Тряпки же

лежали на груди у него и на животе. Он был совершенно раздет, и холод уменьшал его муки.

— Пить бы! — выговорил он, смутно догадываясь, что около него должен быть кто-то. Дрожащая рука протянулась через его голову и сунула в рот ему горлышко бутылки. Бутылка плясала в руке подававшего ее, была Артема по зубам. Выпив воды, Артем захотел узнать, кто тут около него, но попытка повернуть голову не удалась ему, вызвав боль в шее. Тогда, хрипя и заикаясь, он начал говорить:

— Водки... в нутро бы стакан... И снаружи вытереть... Тогда бы я... встал, чай...

— Вста-ать? Вы не можете встать. Вы же весь синий и пухлый, как утопленник... А водка — это можно, водка есть... я имею целую бутылку водки...

Говорили тихо, робко и очень быстро. Артем знал этот голос, но не помнил, кому он принадлежит, — которой из женщин.

— Давай, — сказал он.

И опять кто-то, очевидно избегавший его глаз, протянул ему бутылку сзади через голову. Артем, с усилием глотая водку, смотрел одним глазом в сырое и черное днище беляны, поросшее грибами.

Отпив более четверти бутылки, он вздохнул глубоко и облегченно и с хрипом в груди заговорил слабым голосом, лишенным оттенков:

— Чисто меня отделили... Но погоди... встану я! Тогда — держись...

Ему не отвечали, но он слышал шорох — точно кто-то отскочил от него — и затем стало тихо, только волны плескали да где-то далеко пели «дубинушку» и ухали. Пронзительно взвизгнул свисток парохода, взвизгнул, оборвался и через несколько секунд мрачно загудел, точно навсегда прощался с землей... Артем долго ждал отклика на свои слова, но под беляной было тихо, и ее тяжелое днище, пропитанное зеленоватой гнилью, качалось над его головой, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, точно желая с размаха упасть и раздавить его насмерть.

Артему стало жалко себя. Он проникся ясным сознанием своей почти детской беспомощности, и вместе с тем

ему стало обидно за себя. Его, такого сильного, такого красивого, так изувечили, обезобразили!.. Слабыми руками он начал ощупывать ссадины и опухоли на лице и груди у себя, а потом с горечью выругался и заплакал. Он всхлипывал, шмыгал носом, ругался и, еле двигая веками, выжимал слезы, наполнявшие его глаза. Они, крупные и горячие, лились по его щекам, текли ему в уши, и он чувствовал, что от слез внутри его как бы что-то прочищается.

— Ладно!.. Погодите!.. — бормотал Артем сквозь рыдания.

И вдруг услышал, что где-то близко и точно передразнивая его — тоже раздаются заглушаемые рыдания и шопот.

— Кто это? — грозно спросил он, хотя ему было страшно чего-то.

Ему не ответили на вопрос.

Тогда, собрав все силы, Артем повернулся на бок, зверем зарычал от боли, приподнялся на локти и увидел во мгле маленькую фигурку, сжавшуюся в комок у борта беляны. Обняв свои колени длинными и тонкими руками, этот человек прижал к ним голову, а его плечи дрожали; Артему показалось, что это подросток-парнишка...

— Иди сюда!

Тот не послушался, продолжая трястись, как в лихорадке. У Артема от боли и страха пред этой фигурой помутилось в глазах, и он завыл:

— Иди-и!

В ответ ему посыпался целый град дрожащих, торопливых слов:

— Что же я вам сделал худого? За что вы на меня кричите? Разве я не вымыл вас водой, и не напоил, и не дал вам водки? Не плакал я, когда вы плакали, и не было больно мне, когда вы стонали? О бог мой и господь мой! Даже и доброе мое только муки несет мне! Что я сделал худого душе вашей или телу вашему? Что могу я сделать вам худого — я! я! я!

И, оборвав свою речь тремя воплями, этот человек замолчал, схватился за голову руками и стал раскачиваться из стороны в сторону, сидя на земле.

— Каин? Это... ах, ты!

— Ну и что?

— Ты? Ну-у! Все это — ты? А-яй! Ты поди сюда. Ну, — чужак ты!

Артем растерялся от неожиданности и вместе с тем почувствовал, что в нем вспыхнула какая-то радость. Он засмеялся даже, когда увидел, как еврей на четвереньках робко ползет к нему и как боязливо мигают маленькие глазки на смешном лице, знакомом Артему.

— Смело иди! Ей-богу, не трону! — счел он нужным ободрить еврея.

Каин подполз к его ногам, остановился и стал смотреть на них с такой боязливой и просительной улыбкой, точно ждал, что они растопчут его истощенное страхом тело.

— Ну!.. вот так ты! И все это ты делал? Кто тебя прислал — Анфиса? — допрашивал Артем, едва ворочая языком.

— Я сам пришел!

— Са-ам? Врешь!

— Я не вру, не вру! — быстро зашептал Каин. — Я сам пришел — пожалуйста, поверьте мне! Я расскажу, как я пришел. Вот слушайте, — я узнал об этом в Гробиловке... Я пью чай и слышу: Артема ночью забили до смерти. Я не верю — пхэ! Разве можно вас и забить до смерти? Я посмеиваюсь себе. «О, думаю, глупые люди! Этот человек — как Сампсон, кто из вас может одолеть его?» Но они всё приходят и говорят: забили, забили! И ругают вас, и смеются... Все рады... и я поверил. И узнал, что вы — тут... Уже приходили сюда смотреть на вас и говорили, что мертвый вы... Я пошел и пришел, и увидел вас... вы стонали. Я думал, видя вас, — самого сильного человека в свете — вот убили его!.. Такая сила, такая сила. Мне стало — извините — жалко вас! Я подумал, что нужно омыть вас водой... и сделал так, а вы от этого стали оживать... Я обрадовался этому... ох, как я рад был этому... вы не верите мне, да? Потому что — я жид? да? Но нет, вы поверьте... я скажу вам, почему я обрадовался и что думал... я скажу правду... вы не рассердитесь на меня?

— Вот те крест!.. убей меня гром! — с силой побожился избитый красавец.

Каин подвинулся еще ближе к нему и еще понизил свой голос.

— Вы знаете, как хорошо мне жить? Вы знаете это, да? Разве — извините — я не терпел от вас побоев? И разве вы не смеялись над пархатым жидом? Что? Это — правда? А! Вы извините мне мою правду, вы поклялись. Не сердитесь! Я только говорю, что вы, как и все люди, гоняли жидов... За что, а? Разве жид не сын бога вашего и не один бог дал душу вам и ему?

Каин торопился, бросал вопрос за вопросом, не ожидая ответов на них; в нем вдруг заклокотали все те слова, которыми он отмечал в своем сердце нанесенные ему обиды и оскорбления; ожили в нем все они и вот лились из его сердца горячим ручьем. Артему было неловко перед ним.

— Слышь, Каин, — глухо сказал он, — брось это! Я тебя... ежели я тебя пальцем теперь трону... или кто другой — разобью в куски! Понял?

— Ага! — торжествуя, вскричал Каин и даже чмокнул языком. — Вот! Вы предо мной виноваты... извините! Не рассердитесь на меня за то, что знаете, что виноваты предо мной! Я говорю — виноваты, но ведь я знаю, о! я знаю, вы меньше других виноваты!.. Я понимаю это! Все они только на меня плюют своей скверной слюной, вы же — на меня и на всех их! Вы многих обижали хуже, чем меня... Я тогда думал: «Вот этот сильный человек бьет и оскорбляет меня не за то, что я жид, а за то, что я, как все они, не лучше их и среди них несу свою жизнь...» И... я всегда со страхом любил вас. Я смотрел на вас и думал, что и вы можете разорвать пасть льва и избить филистимлян... Вы били их... и я любил смотреть, как вы делали это... И мне тоже хотелось быть сильным... но я — как блоха...

Артем хрипло засмеялся.

— Вот уж верно — как блоха!..

То, что говорил ему Каин, он почти не понимал, но ему было приятно видеть около себя маленькую фигурку еврея. И под возбужденный полушопот Каина в нем медленно слагались свои думы:

«Сколько теперь часов? Чай, поди-ка, около полудня. А ни одна, небось, не идет навестить мила друга... А вот

жид пришел... помог, говорит — люблю, а я его обижал, бывало... Силу хвалит... Вернется ли она? Господи, кабы вернулась!»

Тяжело вздыхая, Артем представлял себе своих врагов, избитых им и вот так же опухших, как он. И они так же, как он, будут валяться без сил где-нибудь... Но к ним придут свои, товарищи, а не жид...

Артем взглянул на Каина, и ему показалось, что у него в горле и во рту горько. Он сплюнул, тяжело вздохнул.

А Каин все говорил, возбужденный, с перекошенным от волнения лицом и вздрагивая всем телом.

— И когда вы заплакали — я тоже заплакал... Так жалко сделалось мне вашей силы...

— А я думаю, кто это дразнится?

— Я всегда любил вашу силу... И я молил бога: предвечный бог наш на небе и на земле и в выси небес отдаленных! Пусть будет так, что я буду нужен этому сильному человеку! Пусть я заслужу пред ним, и да обратится сила его в защиту мне! Пусть за нею я буду сохранен от гонений на меня, и гонители мои да погибнут от силы этой! Так я молился, и долго так просил я господа моего, пусть он создаст мне защитника из сильнейшего врага моего, как он дал в защитники Мардохею царя, победившего все народы... И вот вы плакали, и я плакал... и вдруг вы закричали на меня, и молитвы мои пропали...

— Да разве я знал, — чудак ты, — виновато пробормотал Артем.

Но Каин едва ли слышал его слова. Он раскачивался, взмахивал руками и все шептал страстным шопотом, в котором звучали радость, и надежда, и обожание силы этого человека, и страх.

— Наступил мой день, и вот я один около вас... Все бросили вас, а я пришел... Ведь вы выздоровеете, Артем? Это не опасно вам? И воротится к вам ваша сила?

— Подымусь... не крушись!.. А тебя за доброту буду беречь, как малого ребенка...

Артем чувствовал, что понемногу ему становится лучше, — тело ноет меньше и в голове яснее. Нужно заступиться за Каина пред людьми — что, в самом деле? Вон он какой добрый и открытый, — прямо все говорит,

по душе. Подумав так, Артем вдруг улыбнулся — давно уже его томило какое-то неопределенное желание, и вот теперь он понял его.

— А ведь это я есть хочу! Ты бы, Каин, добыл чего поесть?

Каин вскочил на ноги так быстро, что едва не ударился о копани беляны. Лицо его положительно преобразилось: что-то сильное и вместе с тем детски ясное явилось в нем. Артем, этот сказочный силач, просит есть у него, Каина!

— Я сделаю вам все, все! Оно уже есть, вот тут, в углу!.. Я припас — я знаю! Когда кто болен, он должен есть... ну да! И я, когда шел сюда, то истратил целый рубль.

— Сосчитаемся! Я те — десять отдам!.. Мне ведь это можно... Не свои у меня. Скажу — дай! — и даст...

Он добродушно засмеялся, а Каин при этом смехе еще более просиял.

— Я знаю... Вы скажите, что вы хотите? Я все сделаю, все!

— А... уж коли так... вытри ты меня водкой! Есть не давай, а сначала вытри... можешь ты?

— А почему не могу? Как лучший доктор сделаю!

— Вали! Потрешь меня, я и встану...

— Вста-анете? Ох, нет, не можете вы встать!

— Я те покажу, как не могу! Здесь, что ли, я ночевать-то буду? Чудила ты... А ты вот вытри меня, да и беги-ка в слободу к пирожнице Мокевне... И скажи ей, что я к ней в сарай переберусь на житье... постлала бы там соломы, что ли! У нее я отлежусь... вот! За все про все я тебе заплачу... ты не сумлевайся!

— Я верю, — говорит Каин, наливая водки на грудь Артема, — я верю вам больше, чем себе... Ах, я знаю вас!

— У-у! Три, три... Ничего, что больно... три, знай! А-а-а!.. Вот, вот, вот!.. — рычал Артем.

— Я пойду для вас и утоплюсь... — объяснялся Каин.

— Так, так, так... Плечо-то, плечо валяй... Ах, черти! А все баба виновата. Не будь бабы, был бы я трезв... а к трезвому ко мне — сунься-ка!

Каин, входя в роль слуги, объявил:

— О, женщины! Это — все грехи мира... у нас, евреев, есть даже такая утренняя молитва: «Благословен ты, предвечный боже наш, царь вселенной, за то, что не сотворил меня женщиной...».

— Ну? Неужто? — воскликнул Артем. — Так-таки прямо и молитесь богу? Ишь ведь вы какие... Что же она, баба? Она только глупая... а без нее — нельзя!.. Но чтобы так уж, даже богу молиться... это не тово... обидно ведь ей, бабе-то! Она тоже чувствует...

Он лежал неподвижный и огромный — еще более увеличенный опухольями, а Каин, маленький, хрупкий, задышавшись от усилий, возился около него, со всей силой растирая ему грудь, живот, возился и кашлял от запаха водки.

По берегу реки то и дело проходили люди, слышался говор, шаги. Беяна лежала под песчаным обрывом, более сажени высотой, и сверху ее было видно только с самого края обрыва. От реки ее отделяла узкая полоса песку, забросанная разным мусором. Под нею было еще грязно. Но сегодня она возбуждала в людях большой интерес. Каин и Артем заметили, что около нее то и дело проходят, садятся на ее дно, стучат ногами в борта... На Каина это дурно подействовало. Он перестал говорить и, молча ерзая около Артема, пугливо и жалобно улыбался.

— Вы слушаете?..

— Слышу, — довольно усмехнулся силач. — Понижаю... хотят сообразить, скоро ли я буду снова в силе... ведь им надо это знать... чтобы ребра припасти свои... Черти! Обидно им, чай, что не издох я... Работишка-то их даром пропала...

— А знаете что? — зашептал ему на ухо Каин, с мимикой ужаса и предостережения на своем лице. — Знаете? Вот я уйду, и вы останетесь один... они тогда придут к вам и... и...

Артем раскрыл рот и выпустил из груди целый залп хриплого смеха.

— Ах ты — фигура! Так ты думаешь — это они тебя, что ли, боятся? Ах ты!..

— А! Но я могу быть свидетелем.

— Они тебе дадут тукманку... вот ты и свидетель!.. на том свете.

Страх Каина был разогнан смехом Артема, и место страха в узкой груди еврея заняла твердая и радостная уверенность. Теперь его, Каинова, жизнь пойдет иной чередой, теперь у него есть мощная рука, которая всегда отведет от него удары людей, безнаказанно истязавших его...

Прошло около месяца.

Однажды в полдень, — час, когда жизнь Шихана принимает особенно напряженный характер, сгущается и вскипает, когда торговцев съестным окружают толпы пристанских и судовых рабочих с пустыми желудками и вся улица наполняется теплым запахом вареного испорченного мяса, — в этот час кто-то вполголоса крикнул:

— Артем идет!..

Несколько оборванцев, праздно толкавшихся в улице, ожидая случая чем-нибудь поживиться, быстро исчезли куда-то. Обыватели Шихана с тревогой и любопытством, искоса, исподлобья стали смотреть в ту сторону, откуда раздавалось предостережение.

Артема давно ждали с глубоким интересом, горячо обсуждая, — каков-то он появится?

Как и раньше, Артем шел среди улицы, шел своей обыкновенной медленной походкой сытого человека, делающего прогулку. В его наружности не было ничего нового. Как всегда, пиджак висел у него на одном плече, картуз был надет набекрень... И черные кудри рассыпались по лбу, как всегда. Большой палец правой руки он заткнул за пояс, левая была глубоко засунута в карман шаровар, грудь богатырски выпячивалась вперед. Только его красивое лицо стало как бы осмысленнее, — это всегда бывает после болезни. Он шел и отвечал на приветствия и поклоны ленивыми кивками головы.

Улица провожала его тихим шопотом изумления и восхищения пред несокрушимой силой, выдержавшей смертельные побои. Много было людей, говоривших об его выздоровлении со злобой: они презрительно ругали тех, что не сумели отбить легкие Артему. Ведь не может быть такого человека, которого нельзя было бы изувечить до смерти!.. Другие с удовольствием строили предположения

о том, как силач расправится с Красным Козлом и его товарищами. Но сила обаятельна тем более, чем крупнее она, и большинство находилось под влиянием Артемовой силы.

Артем вошел в Грабиловку — клуб Шихана.

Когда его высокая и мощная фигура встала на пороге трактира, в длинной и низкой комнате с кирпичным сводчатым потолком гостей было немного. При виде Артема среди них раздались два-три восклицания, родилось суетливое движение, кто-то шарахнулся в дальний угол этого склепа, сырого, прокопченного дымом махорки, пропитанного грязью и плесенью.

Артем медленно обвел глазами трактир и на ласковое приветствие буфетчика Савки Хлебникова ответил вопросом:

— Каин не был?

— Должен скоро быть... Его время близко...

Артем подошел к столу у одного из окон, спросил чаю и, положив на стол свои громадные руки, равнодушно осмотрел публику. В трактире было человек десять; они сбились в кучу около двух столов и оттуда наблюдали за Артемом. Когда глаза их встречали взгляд красавца, они заискивающе улыбались, очевидно, желая вступить в беседу с Артемом, но тот смотрел на них тяжело и угрюмо. И все молчали, не решаясь заговорить с ним. Хлебников, возясь за буфетом, напевал что-то под нос себе и лисьими глазами посматривал вокруг.

С улицы в окна лился гулкий шум, влетали резкие ругательства, божба, выкрики торговцев. Где-то близко с дребезгом свалились бутылки, разбиваясь о камни мостовой. Артему стало скучно сидеть в этом душном погребе...

— Ну, вы, волки, — вдруг громко и медленно заговорил он, — вы чего присмирели? Пялят зенки и молчат...

— Можем и говорить, ваша грозность! — сказал Дранный Жених, вставая и идя к Артему.

Это был тощий человек в парусиновой куртке и солдатских штанах, лысый, остробородый, с маленькими красными глазами, ехидно прищуренными.

— Хворал ты, говорят? — спросил он, усаживаясь против Артема.

— Ну?

— Ничего... Не видать было долго... Спросишь — а где Артем? Говорят, заболеть изволил...

— Так... Ну?

— Еще — ну? Поедем дальше... Что у тебя болело-то?

— А ты не знаешь?

— Разве я тебя лечил?

— Все врешь ведь, собака, — усмехнулся Артем. — И зачем врешь? Ведь знаешь правду?

— Знаю, — сказал Жених, тоже усмехаясь.

— Так чего же врешь-то?

— Стало быть, так умнее...

— Умнее. Эх ты!.. огарок!

— Да — ведь скажи тебе правду-то, так ты, пожалуй, рассердишься...

— Наплевать мне на тебя!

— И на том спасибо! А ты с выздоровлением водкой меня не угостишь?

— Спроси...

Жених спросил полбутылки водки и оживился.

— Экая у тебя жизнь легкая, Артем!.. Всегда есть деньги...

— Ну, так что?

— Ничего... Выручают тебя бабы, проклятые!

— А на тебя и не смотрят.

— Нам — где уж! У нас не такие ноги, чтобы ходить по твоей дороге, — вздохнул Жених.

— Потому баба любит здорового человека. Ты что? А я — чистый человек...

В таком тоне Артем постоянно беседовал с золоторотцами. Его равнодушный, ленивый и густой голос придавал особую силу и тяжесть его словам, и всегда они были грубы, обидны. Быть может, он чувствовал, что эти люди во многом хуже его, но во всем и всегда умнее.

Явился Каин с ящиком своих товаров на груди, с желтым ситцевым платьем, переброшенным через левую руку. Сдавленный обычным ему чувством страха, он стал в дверях, вытянул шею и с беспокойной улыбкой оглянул внутренность трактира, но, увидев Артема, весь просиял радостью. Артем смотрел на него и широко улыбался, шевеля губами.

— Айда ко мне! — крикнул он Каину и, обращаясь к Жениху, насмешливо приказал ему:

— А ты — пошел прочь! Дай человеку место...

Рыжая, щетинистая рожа Жениха на момент одеревенела от удивления, он медленно поднялся со стула, посмотрел на товарищей, изумленных не менее его, на Каина, бесшумно и осторожно подходившего к столу... и вдруг озлобленно плюнул на пол:

— Тьфу!

После чего медленно и молча ушел за свой стол, где тотчас же раздался глухой шопот, в котором были ясно слышны ноты насмешки и злобы. Каин все улыбался растерянно, радостно и в то же время искоса и с тревогой скашивал глаза в сторону обиженного Жениха и его компании.

А Артем добродушно говорил ему:

— Ну, давай чай пить, что ли, купец... Пирога надо купить, — будешь пирог есть? Ты чего туда глядишь?.. А ты плюнь на них, не бойся... Ну-ка, вот я им проповедь скажу...

Он встал, движением плеч сбросил куртку на пол и подошел к столу недовольных. Высокий и мощный, выпячивая вперед грудь, разминая плечи и всячески рисуясь своей силой, он стоял перед ними с усмешкой на губах, а они, замерев в осторожных позах, молчали, готовые бежать.

— Ну, — начал Артем, — что вы урчите?

Ему хотелось сказать что-нибудь страшно сильное, но слов не было у него, и он остановился...

— Глаголь сразу! — махнул рукой Дранный Жених, скривив губы. — А то лучше отстань от нас во все четыре стороны, богава дубина!..

— Молчи! — повел бровями Артем. — Озлился, — зазорно тебе, что я с жидом дружбу веду, а тебя прогнал... Я всем вам говорю, — он лучше вас, жид-то! Потому в нем доброта к человеку есть... а у вас нету ее... Он только замученный... Вот теперь я беру его под свою руку... и ежели какая-нибудь кикимора обидит его — держись тогда! Прямо говорю — не бить, а мучить буду...

У него дико вспыхнули глаза, жилы на шее вздулись и ноздри задрожали.

— Что побили меня пьяного — это мне нипочем! Силы мне не убавили, только сердце пуще ожесточили... Так и знайте! За Каина, за всякое обидное слово ему — на-смерть буду увечить. Так всем и скажите...

Он вздохнул во всю грудь, точно тяжесть с себя сбросил, и, повернувшись к ним спиной, пошел прочь.

— Здорово пущено! — вполголоса воскликнул Дранный Жених и скорчил унылую рожу, глядя, как Артем усаживается против Каина.

Каин сидел за столом, бледный от волнения, и не отводил от Артема расширенных глаз, полных чувства, не изъяснимого словами.

— Слыхал? — строго спросил его красавец. — Вот... Так и знай, как кто заденет тебя, беги ко мне и говори. Я сейчас приду и развинчу ему кости...

Еврей бормотал что-то, — молился богу или благодарил человека. А Дранный Жених и его компания, пошептавшись друг с другом, один за одним стали выходить из трактира. Жених, проходя мимо стола Артема, напевал себе под нос:

Кабы к моему уму
Прибавили денег тьму,
Ай, хорош бы я был, —
Без просыпу я бы пил...

— и, взглянув в лицо Артему, неожиданно dokonчил песню своими словами, скорчив рожу и в такт притопывая ногой:

Дураков бы всех скупил,
Да в Черном море утопил —
Вот как!

— и быстро юркнул в дверь.

Артем выругался и оглянулся вокруг. В полутемном, закопченном и пахучем склепе осталось только трое людей — он, Каин против него и Савка за буфетом.

Лисьи глазки Савки встретились с тяжелым взглядом Артема, и длинное лицо его приняло выражение сладчайшего благочестия.

— Превосходно и великолепно поступил ты, Артем Михайлыч! — говорил он, поглаживая бороду. — Совсем по завету евангельскому... Как в притче о самарянине ми-

лосердном... Во гною и струпьях был Каин-то... А вот ты не побрезговал.

Артем слушал не его слова, а эхо их. Оно, отражаемое сводчатым потолком трактира, плавало в его пахучем воздухе и, густое такое, лезло в уши. Артем молчал и тихонько тряс головой, точно желая отогнать от себя эти звуки. А они всё плавали и вклеивались в его уши, раздражая его. Было душно и скучно. Какая-то странная тяжесть легла на сердце Артема.

Он упорно смотрел на Каина. Обжигаясь, дуя на блюдечко, еврей, наклонив голову, пил чай, и блюдечко тряслось в его руках. Иногда Артем ловил на своем лице скользкий взгляд Каина, и силачу от этого взгляда становилось еще скучнее. Глухое чувство недовольства чем-то росло в его груди, глаза его темнели, он дико осматривался вокруг себя. В голове его, как жернова, ворочались думы без слов. Раньше они не посещали его, но вот во время болезни пришли. И не отходят...

Окна с железными решетками, в них льется с улицы оглушающий шум. Тяжелые массы камня висят над головой; липкий от грязи, покрытый сором кирпичный пол... И этот маленький, оборванный, запуганный человек... Сидит, дрожит, молчит... А в деревнях скоро косьба начнется. Уже за рекой, против города, трава в лугах почти по пояс. И, когда оттуда пахнет ветер, запахи приносит он заманчивые...

— Что ты молчишь, Каин? — недовольно заговорил Артем. — Али все еще боишься меня? Эх, растерянный ты человек!..

Каин поднял голову и странно закачал ею, а лицо у него было сконфуженное и жалкое.

— А что мне говорить? И каким мне языком говорить с вами? Этим, — еврей высунул кончик языка, показывая его Артему, — которым я со всеми другими людьми говорю? Разве мне не стыдно с вами этим языком говорить? Вы думаете, я не понимаю, что вам тоже стыдно сидеть рядом со мной? Что я, и что вы? Вы, Артем, великая душа, вы — как Иуда Маккавей!.. Что бы вы сделали, если бы знали, зачем господь сотворил вас? А! никто не знает великих тайн творца, и никто не может угадать, зачем дана ему жизнь. Вы не знаете, сколько дней и ночей моей

жизни думал я, зачем мне жизнь? Зачем дух мой и ум мой? Что я людям? Плевальница для ядовитой слюны их. А что мне люди? Гады, уязвляющие душу мою... Зачем я живу на земле? И зачем только несчастья знаю я... и в солнце нет луча для меня!

Он говорил эти слова страстным полушопотом, и — как всегда в минуты возбуждения его истстрадавшей души — все лицо его дрожало.

Артем не понимал его речи, но слышал и видел — что-то Каин жалуется. От этого Артему стало еще тяжелее.

— Ну вот, опять ты за свое! — с досадой мотнул он головой. — Ведь я же тебе сказал — заступлюсь!

Каин тихо и горько засмеялся.

— Как вы заступитесь за меня пред лицом бога моего? Это он гонит меня...

— Ну, это — конечно. Против бога я не могу, — простодушно согласился Артем и с жалостью посоветовал еврею: — Ты уж терпи!.. Против бога — ничего не поделаешь.

Каин посмотрел на своего заступника и улыбнулся — тоже с жалостью. Так сначала сильный пожалел умного, потом ум пожалел силу, и между двумя собеседниками пронеслось некоторое веяние, немного сблизившее их.

— А ты женатый? — спросил Артем.

— О, у меня большая семья для моих сил, — тяжело вздохнул Каин.

— Ишь ты! — сказал силач. Ему трудно было представить себе женщину, которая любила бы Каина, и он с новым любопытством посмотрел на него, такого хилого, маленького, грязного.

— У меня было пять детей, теперь — четыре. Одна девочка, Хая, все кашляла, кашляла и умерла. Боже мой.. Господь мой!.. И моя жена тоже больная — все кашляет.

— Трудно тебе, — сказал Артем и задумался.

Каин тоже задумался, опустив голову.

В двери трактира входили старьевщики, подходили к буфету и там вполголоса беседовали с Савкой. Он таинственно рассказывал им что-то, подмигивая в сторону Артема и Каина, а его собеседники удивленно и насмеш-

ливо поглядывали на них. Каин уже подметил эти взгляды и встрепнулся. А Артем смотрел за реку, в луга... Засвилятся там косы, и с мягким шелестом трава ляжет к ногам косарей.

— Артем... я уйду... Вот пришли люди, — шептал Каин, — и они смеются над вами из-за меня...

— Кто смеется? — очнувшись от грез, рявкнул Артем, дико поводя вокруг себя глазами.

Но все в трактире были серьезны и поглощены своим делом. Ни одного взгляда не поймал Артем. И, сурово нахмутив брови, он сказал еврею:

— Врешь ты все — занапрасно жалуешься... Этак-то, смотри, не игра! Ты жалуйся тогда, когда есть против тебя вина. Али ты, может, пытаешь меня, нарочно сказал?

Каин болезненно улыбался в лицо ему и не отвечал. Несколько минут оба они сидели молча. Потом Каин встал и, надев на шею свой ящик, приготовился идти. Артем протянул ему руку:

— Идешь? Ну иди, торгуй... А я посижу еще тут...

Обеими своими ручонками Каин потряс громадную лапу своего защитника и быстро ушел.

Выходя на улицу, он зашел за угол, остановился там и стал выглядывать из-за него. Ему была видна дверь трактира и не пришлось долго ждать. Скоро в этой двери, как в раме, явилась фигура Артема. Брови у него были нахмурены и лицо такое, как будто Артем боялся увидеть что-то неприятное ему. Он долго и пристально рассматривал людей, толпившихся в улице, а потом его лицо приняло обычное, лениво-равнодушное выражение, и он пошел сквозь толпу, туда, где улица упиралась в гору, — очевидно, на свое любимое место.

Каин проводил его тоскливым взглядом и, закрыв лицо руками, уперся лбом в железную дверь кладовой, около которой стоял...

Веская угроза Артема возымела свое действие: ее испугались, и еврея перестали травить.

Каин ясно видел, что в терниях, сквозь которые он шел к своей могиле, шипов стало меньше. Люди как будто перестали замечать его существование. Попреж-

нему он юрко шнырял между них, возглашая свои товары, но ему уже не наступали на ноги нарочно, как это бывало раньше, не толкали его в сухие бока, не плевали в его ящик... Хотя прежде не смотрели на него так холодно и враждебно, как стали смотреть теперь.

Чуткий ко всему, что его касалось, он заметил и эти новые взгляды и спросил себя — что они значат и чем грозят ему? Он вспоминал, что прежде, хотя и редко, с ним заговаривали дружелюбно, порой справлялись о ходе его дел, а иногда даже шутили, и порой не зло шутили...

Каин задумывался, чутко слушал и зорко смотрел. Однажды его ушей коснулась новая песня, сложенная Драным Женихом, трубадуром улицы. Этот человек добывал свой хлеб музыкой и пением; инструментом ему служили восемь деревянных столовых ложек: он брал их между пальцев и бил ими себя по надутым щекам, по животу, перебирая пальцами, ударял ложками друг о друга — получался аккомпанемент речитативу куплетов, которые он сам же слагал. Если эта музыка была мало приятна, так зато она требовала от исполнителя ловкости фокусника; ловкость же во всех видах ценилась публичной улицы.

И вот однажды Каин наткнулся на группу людей, среди которой Жених, вооруженный своими ложками, бойко говорил:

— Эй, господа честные, арестанты запасные! Играю свежую песню, только что испек, — горячий кусок! Давай по копейке с рыла, а у кого рожка — с того дороже! Начинаю!

Влезет солнышко в окошко —
Люди ему рады!
А вот если влезу я ..

— Это слышали! — воскликнул кто-то из публики.

— Знаем, что слышали! Да я тебе пирога прежде хлеба даром-то не дам! — объявил Жених, стучая ложками и продолжая напевать:

Ой, горько мне живется!
Плохо я удался.
Тятку с братом повесили,
А я оборвался!..

— Жаль! — заявила публика.

Но копейки Жениху сыпали, ибо знали, что это добро-совестный человек, и если он обещал новую песню, так уж даст ее.

— Вот она новая, дубина еловая!

И ложки затрещали частой задорной дробью:

По-ознакомился бык с пауком,
Познакомился жид с дураком,
На хвосте носит бык паука,
Продает бабам жид дурака.
Эй вы, тетки...

— Стоп машина! Господину Каину почтение колом по шее! Изволили слушать песню, купец? Не для вас сложена — проходите вашим путем!

Каин рассыпал перед артистом свои улыбки и ушел прочь от него, предчувствуя что-то.

Ценил он эти дни и боялся за них. Каждое утро он приходил в улицу, твердо уверенный, что сегодня у него никто не посмеет отнять его копеек. Глаза его стали немножко светлее и покойнее. Артема он видел каждый день, но если силач не звал его, Каин не подходил к нему.

Артем же редко подзывал его, а подозвав, спрашивал:

— Ну что — живешь?

— О, да! Живу... и благодарю вам! — радостно блестя глазами, говорил Каин.

— Не трогают?

— Разве они могут против вас! — со страхом восклицал еврей.

— Ну — то-то!.. А коли что — скажи.

Он угрюмыми глазами измерял фигурку еврея и отпускал его.

— Иди, — торгуй!

Каин быстро отходил прочь от своего защитника, всегда ловя на себе насмешливые и злые взгляды публики, взгляды, пугавшие его.

Однажды под вечер, когда Каин уже хотел идти домой, он встретил Артема. Красавец, кивнув ему головой, поманил к себе пальцем. Каин быстро подбежал к нему и увидал, что Артем мрачен и хмур, как осенняя туча,

— Кончил торговать-то? — спросил он.

— Уже хотел уходить домой...

— погоди, — пойдем-ка, поговорю я тебе что-то! — глухо сказал Артем.

И двинулся вперед, громадный, тяжелый, а Каин пошел сзади него.

Они вышли из улицы, повернули к реке, где Артем нашел укромное место под обрывом у самых волн.

— Садись, — сказал он Каину.

Тот сел, искоса, боязливо поглядывая на своего защитника. Артем согнул спину и стал медленно крутить папиросу, а Каин смотрел на небо, на лес мачт у берега, на спокойные, застывшие в тишине вечера волны и соображал, о чем будет говорить силач.

— Ну что, — спросил Артем, — живешь?

— Живу, о! я теперь не боюсь...

— погоди! — сказал Артем.

Он долго и тяжело молчал, попыхивая папиросой, тогда как еврей ждал его речи, полный смутных и боязливых предчувствий.

— Н-да... Ничего, не обижают?

— О, они боятся вас! Они все — как собаки, а вы — как лев! И я теперь...

— погоди!

— Н-ну? И что вы хотите мне сказать? — с трепетом спросил Каин.

— Сказать-то? Это не просто.

— Что же оно такое?

— А!.. видишь ты — будем говорить прямо. Сразу и — все!

— Ага!

— И я тебе должен сказать, что больше я — не могу...

— Что? Что не можете?

— Ничего! Не могу! Противно мне... Не мое это дело... — вздохнув, сказал Артем.

— Что же? Не ваше дело — что?

— Всё, это... ты и — всё!.. Не хочу я больше тебя знать, потому — не мое это дело.

Каин съежился, точно его ударили.

— И, ежели тебя обижают, ты ко мне не иди и не жалуйся мне... я в защиту не пойду. Понимаешь? Нельзя мне это...

Каин молчал, как мертвый.

Артем, выговорив свои слова, свободно вздохнул и продолжал яснее и более связно:

— За то, что ты меня тогда пожалел, я могу тебе заплатить. Сколько надо? Скажи — и получи. А жалеть тебя я не могу. Нет во мне этого... я только ломал себя, — притворялся. Думал — жалею, ан выходит — так это, один обман. Совсем я не могу жалеть.

— Потому что я — жид? — тихо спросил Каин.

Артем сбоку посмотрел на него и сказал:

— Что — жид? Мы все — жида пред господом...

— Так почему? — тихо спросил Каин.

— Да не могу! Понимаешь, нет у меня жалости к тебе... Ни к кому нет... Ты это пойми... Другому бы я и не сказал этого, а просто бы р-раз ему по башке! А тебе говорю...

— «Кто восстанет за меня против злобствующих? Кто постоит за меня против лиходеев?» — тихо спросил еврей словами псалма.

— Я — не могу! — отрицательно мотнул головой Артем. — Не жаль мне тебя... А за то — я лучше заплачу деньги...

— «О, мстящий боже! Предвечный бог возмездий, воссияй, вознесись, судия земли...» — молился Каин, съежившись в маленький комоч.

Летний вечер был тих и тепел. Грустно и ласково отражала вода реки лучи заката. С обрыва на Каина и Артема упала тень.

— Ты подумай, — убедительно и грустно говорил Артем, — какая моя задача теперь? Ты вот этого не понимаешь... а я — я должен за себя стать... они меня как избил? Помнишь?

Он скрипнул зубами и завозился на песке, а потом лег на спину, протянув ноги к воде и закинув руки за голову.

— Я теперь всех их знаю...

— Всех? — спросил Каин убито.

— Всех! Теперь я начну с ними расчет... И ты мне мешаешь...

— Чем я могу мешать? — воскликнул еврей.

— Не то, чтобы мешать, а такое дело — озлобился

я против всех людей. Вот оно что... Ну и, стало быть, ты мне теперь — лишний. Понял?

— Нет! — кротко объявил еврей и тряхнул головой.

— Не понимаешь? Экой ты какой! Тебя жалеть надо — так? Ну, а я теперь не могу жалеть никого... Нет у меня жалости...

И, толкнув в бок еврея, он добавил:

— Совсем нет. Понял?

Наступило долгое молчание. Вокруг собеседников, в теплом и пахучем воздухе, плавали всплески волн и какие-то глухие, охающие звуки, приносившиеся издалека, с реки, сонной и темной.

— Что же мне теперь делать? — спросил, наконец, Каин, но ответа не дождался, потому что Артем задремал или задумался о чем-то. — Как я буду жить без вас? — громко сказал еврей.

Артем, глядя на небо, ответил ему:

— А уж ты это сам подумай...

— Боже мой, боже мой!..

— Ведь это тоже не скажешь сразу — как жить, — лениво говорил Артем.

Сказав то, что хотел, он сразу стал ясен и спокоен.

— А ведь я знал это!.. Еще тогда, когда шел к вам, избитому, то уж знал, что не можете вы заступаться за меня долго...

Еврей умоляющими глазами посмотрел на Артема, но не встретил его глаз.

— Вы, может быть, потому, что смеются они над вами за меня? — спросил Каин осторожно и чуть не шопотом.

— Они-то? А что мне — они? — открыв глаза, усмехнулся Артем. — Ежели бы я захотел, то посадил бы тебя на плечи, да и носил по улице. Пускай смеются... А только ни к чему это... Надо все делать по правде... Чего в душе нет — так уже нет... И мне, брат, прямо скажу, — противно, что ты такой... Вот как выходит.

— Ах!.. Верно! Ну и что я теперь?! уходить?

— Иди, пока светло... Не тронут еще пока! Ведь нашего разговора никто не знает...

— И вы не говорите никому, а? — попросил Каин.

— Ну — известно! А ты все-таки не лезь мне на глаза часто...

— Хорошо, — тихо и грустно согласился еврей и встал на ноги.

— Тебе бы лучше в другом месте где торговать, — равнодушно сказал Артем. — А то тут — строго жизнь держат...

— Куда же я пойду?

— Ну уж... как знаешь...

— Прощайте, Артем.

— Прощай, брат!

И он, лежа, протянул еврею руку и стиснул своими пальцами его сухие кости.

— Прощай. Не обижайся...

— Я не обижаюсь, — подавленно вздохнул еврей.

— Ну вот... Ведь этак-то лучше, сам посуди... Больно ты — не для меня товарищ... Разве мне для тебя жить? Не идет это...

— Прощайте!

— Ну иди...

Каин пошел берегом реки, опустив голову на грудь и сильно сгорбившись.

Красавец Артем повернул голову вслед ему и через несколько секунд снова улегся в прежней позе, лицом к небу, уже темному от близости ночи...

В воздухе рождались и таяли странные звуки. Река плескалась о берег однообразно, печально и тоскливо.

Каин, пройдя шагов пятьдесят, вернулся снова, подошел к могучей фигуре Артема, распростертой на земле, и, остановясь перед ней, тихо и почтительно спросил:

— А может, вы иначе подумаете?

Артем молчал.

— Артем? — позвал Каин и долго ждал ответа. — Артем? Может, все это так себе вы? — повторил еврей дрожащим голосом. — Вспомните, как я тогда вас... а? Артем?! Никто не пришел, а я пришел...

В ответ ему раздался слабый храп.

...Каин еще долго стоял над силачом и все всматривался в его безжизненно красивое лицо, смягченное сном. Богатырская грудь вздымалась ровно и высоко, черные усы, шевелясь от дыхания, открывали блестящие, крепкие зубы красавца. Казалось, он улыбался...

Глубоко вздохнув, еврей еще ниже склонил голову и снова пошел по берегу реки. Весь трепещущий от страха пред жизнью, он шел осторожно, — в открытых пространствах, освещенных луной, он умерял шаг, вступая в тень — крался медленно...

И был похож на мышонка, на маленького трусливого хищника, который пробирается в свою нору среди многих опасностей, отовсюду грозящих ему.

А уж ночь наступила, и на берегу реки было пусто...

КИРИЛКА

...Когда возок выкатился из леса на опушку, Исай привстал на козлах, вытянул шею, посмотрел вдаль и сказал:

— Ах ты, чорт, — кажись, тронулась!

— Ну?

— А право... как будто идет...

— Гони скорее!

— Э-эх ты, мар-рмаладина!

Коротенькое и толстое животное, с ослиными ушами и шерстью пуделя, от удара кнутовищем по его крупу отскочило в сторону с дороги, остановилось и, перебирая на месте ногами, обиженно качало головой.

— Н-но, я тебе пококетничаю! — крикнул Исай, дергая вожжами.

Псаломщик Исай Мякинников — уродливый человек, сорока лет от роду. На левой щеке и под челюстью у него росла рыжая борода, а на правой вздулась огромная кила, — она, закрыв ему глаз, опускалась морщинистым мешком на плечо. Отчаянный пьяница, недурной философ и насмешник, он вез меня к своему родному брату и моему товарищу, сельскому учителю, умиравшему от чахотки. За пять часов времени мы не проехали и двадцати верст, потому что дорога была скверная, а то фантастическое животное, которое везло нас, имело дурной характер. Исай называл его шишигой, жерновом, ступой и другими странными именами, причем каждое из них

одинаково шло к этому коню, метко подчеркивая ту или иную из особенностей его внешности и характера. И среди людей часто встречаются такие же сложные существа, которых как ни назови, — все будет впору, лишь имя человека к ним нейдет.

Над нами нависло серое небо, сплошь покрытое тучами, вокруг распростерлись луга в темных пятнах проталин. Впереди, верстах в трех, возвышались синеватые холмы горного берега Волги, тяжелое небо опиралось на них. Река была невидима за косматой гривой прибрежных кустов. С юга дул ветер, вода в лужах морщилась и гримасничала, в воздухе метался скучный, сырой звук, — хлюпала грязь под ногами лошади...

— Задержит нас река, — говорил Исай, подпрыгивая на козлах. — А Яков не дожидется и помрет... тогда из всего нашего странствия выйдет одно бесполезное утруждение плоти... Но ежели мы и застанем его в живых — какая польза? Одна помеха и больше ничего... в час смертный не следует торчать пред глазами отходящего, нужно оставить человека одного, дабы не отводить его взгляда вовнутрь себя на предмет посторонний... В час смертный человек должен смотреть в глубину своего сердца, а не на пустяки, ибо живой для умирающего есть пустяк и лишний предмет... Положим, оно так уж полагается законом жизни, чтобы у одра предстояли близкие покидающего юдолю сию... но ежели рассуждать с употреблением разума, а не мозгом пяток наших, то опять-таки окажется, что в этом обычае нет пользы ни живым, ни мертвым, а одно излишество в терзании сердца. Живой не должен и вспоминать о том, что есть смерть и ждет его она... Живому это вредно, потому что отемняет радости... Ты, чортов пест! Играй ногами веселей!.. Н-но!..

Исай говорил однотононо, густым, сиплым голосом, и его нелепая, длинная фигура, закутанная в широкий, дырявый рыжий армяк, неуклюже болталась на козлах, подпрыгивая, перегибаясь с боку на бок, кланяясь и откидываясь назад. Широкополая черная шляпа, подарок бабюшки, была привязана тесемками под бородой, и ветер бросал в лицо Исаю концы тесемок. Псаломщик тряс острой головой, шляпа съезжала ему на глаза, полы

армяка раздувались от ветра. Исай вертелся, ежился, ругался, а я, глядя на него, думал о том, как много человек тратит энергии на борьбу с мелочами. Если б нас не одолевали гнусные черви мелких будничных зол, — мы легко раздавили бы страшных змей наших несчастий.

— Идет! — уныло воскликнул Исай.

— Видишь?

— Вижу в кустах лошадей, и люди около них.. Значит — нет езды!

— Может быть, как-нибудь переправимся.

— Толкуй! Известно, переправимся... когда лед пройдет. А до той поры что будем делать? То-то... И потом — есть я хочу! Так я хочу есть, что даже сказать этого невозможно простым языком. Говорил я тебе — давай закусим... Нет, вези... На, привези!..

— Есть и мне хочется... Ты ничего не взял с собой?

— Ежели я позабыл! — сердито ответил Исай.

Выглядывая из-за его спины, я видел коляску, запряженную тройкой лошадей, и плетеный шарабан парой. Лошади смотрели навстречу нам, а около них стояли какие-то фигуры: одна высокая, с рыжими усами, в фуражке с красным околышем, другая — в черном длинном пальто сюртуке на меху.

— Земский начальник Суцов, а это мельник Мамаев, — пробормотал Исай вполоборота ко мне и почти-тихим тоном приказал своему коню: — Тпру, радетьель... Опоздали мы, стало быть? — сдвинув с головы шляпу, обратился он к толстому кучеру, стоявшему у тройки.

Кучер хмуро взглянул на его голый, яйцообразный череп и молча отвернулся в сторону.

— Не потрафили, — улыбаясь, ответил купец Мамаев, низенький и полный человек с красным лицом и мошеннически ласковыми глазами.

Земский начальник, облокотясь на крыло коляски, курил и крутил ус, исподлбья поглядывая на нас. Тут было еще двое людей: кучер Мамаева, рослый малый с кудрявыми волосами и с огромным ртом, и мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго подпоясанный, перегнувшийся вперед и как бы застывший в поклоне нам. Маленькое, сморщенное лицо его поросло редкой серой бородкой, глаза спрятаны в мешках морщин, тонкие губы

сложены в улыбку, и в ней одновременно соединялись почтительность с насмешкой и глупость с плутовством. Он сидел на корточках, был похож на обезьяну и, медленно поворачивая голову то туда, то сюда, следил за всеми, не показывая никому своих глаз. Из бесчисленных дыр его полушубка высовывались клочья грязной овчины, и вся фигура мужика производила странное впечатление: он казался изжеванным, как будто только сейчас вырвался из какой-то огромной пасти, пытавшейся сожрать его... Высокий бугор песку, за которым мы стояли, скрывал нас от ветра и реку от нас.

— Пойти взглянуть, как там дела-то? — сказал Исай и полез на бугор. За ним угрюмо двинулся земский начальник, потом я и купец. Мужичонка встал на четвереньки и тоже стал карабкаться на бугор. Когда мы взлезли на его вершину, то все сели там, мрачные, как вóроны. Пред нами аршинами в четырех расстояния и сажени на три ниже нас — широкой синевато-серой полосой лежала река, вся в морщинах, в язвах, в кочках мелко истертого льда. Лед покрывал ее, как болезненной коростой, и двигался медленно, но — несокрушимая сила была в его движении. Скрипучий шорох стоял в воздухе, холодном и сыром.

— Кирилка! — позвал земский начальник.

Мужичонка вскочил на ноги и, стащив с головы шапку, согнулся пред земским так, точно подставлял ему свою голову на отсечение.

— Что же — скоро?

— Не задержит, ваше благородье, сичас встанет... Извольте видеть, как прет? В этаком густом ходу не может он не встать... Там, на версту выше — коса. Как на нее навалит — так и готово дело. Вся штука в большой чке... ежели чка увязнет в воротах около косы — тут ему и препона! Тиснет ее в узину — она весь ход и задержит...

— Ну, ладно...

Мужик шлепнул губами и умолк.

— Нет, это чорт знает что! — возмущенно заговорил земский. — Я же ведь говорил тебе, идиоту, — переправь две лодки на эту сторону, а? говорил?

— Говорили, это верно! — виновато ответил мужик.

— Н-ну, а ты?

— Не успел, — потому — тронулась она сразу...

— Болван! Нет, — обратился земский к Мамаеву, — эти ослы совершенно не могут понимать человеческого языка!

— Сказано — муж-жики-с, — любезно улыбаясь, прошипел Мамаев, — раса дикая... племя тупое. Но вот теперь будем ожидать от усердия земства и распространения им школ — просвещения и образованности...

— Школы — да! Читальни, фонари — прекрасно! Я понимаю это... но однако, хотя я и не противник просвещения, как вы знаете, а все-таки ха-аро-ошая порка воспитывает быстрее и стоит дешевле... да-с! За розгу мужик не платит, а на просвещение с него шкуру дерут хуже, чем розгой драли. Пока просвещение только разоряет его, вот что... Я однако не говорю — не просвещайте, я говорю — пожалейте, подождите...

— Совершенно так! — с удовольствием воскликнул купец. — Очень бы следовало подождать, потому что тяжело мужику по нынешним дням... недороды, болезни, слабость к вину — все это, так сказать, под корень его сечет, а туг школы, читальни... Что с него взять при таком порядке? Совсем нечего с него взять, — уж поверьте мне!

— Вам это известно, Никита Павлыч, — убежденно, но вежливо сказал Исай и благочестиво вздохнул.

— Еще бы! Семнадцать лет хожу вокруг него. Я насчет учения так полагаю: ежели во благовремении, то оно может принести пользу всякому человеку... Но, ежели у меня в брюхе, извините, пусто, — ничему я учиться не пожелаю, кроме как воровству...

— Зачем вам учиться! — почтительно и ласково воскликнул Исай.

Мамаев взглянул на него и искривил губы.

— Вот мужик, — Кирилка! — позвал земский. — Вот мужик, — обратился он к нам с некоторой торжественностью на лице и в тоне, — это, рекомендую, недюжинный мужик, бестия, каких мало! Когда горел «Григорий», он, оборванец этот... собственноручно спас шестерых пассажиров, поздней осенью часа четыре кряду, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью... Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить, хлопотать о ме-

дали... а он в это время ворует казенный лес и схвачен на месте преступления! Хороший хозяин, скуп, сноху во-гнал во гроб, жена, старуха, бьет его поленом. Он пьяница и очень богомолен, поет на клиросе... Имеет хороший пчельник и при всем этом — вор! Паузилась тут баржа, он попался в краже трех мест изюму, — извольте видеть, какая фигура?

Все мы внимательно посмотрели на талантливую мужика. Он стоял пред нами, спрятав глаза, и шмыгал носом. Около его губ играли две морщинки, но губы были плотно сжаты, и лицо решительно ничего не выражало.

— И вот мы спросим его — Кирилка! Скажи — какая польза в грамоте, в школах?

Кирилка вздохнул, почмокал губами и не сказал ничего.

— Ну, вот ты грамотный, — строже заговорил земский, — ты должен знать — лучше тебе жить оттого, что ты грамотный?

— Всяко бывает, — сказал Кирилка, наклоня голову еще ниже.

— Да нет все-таки — ты читаешь, ну, что же, какая польза от этого для тебя?

— Пользы, оно, конечно, нет, чтобы, значит, прямо взять ее... но ежели рассудить, то... учат, стало быть, в пользу это им...

— Кому — им?

— Учителям, стало быть... земству, значит, и вообще... начальству!..

— Дурак же ты! Тебе-то, тебе — есть польза?

— Это — как угодно, ваше благородье...

— Кому угодно?..

— Вам... значит, как вы начальник...

— Пошел прочь!

У земского концы усов вздрагивали и лицо покраснело.

— Вот видите, он ничего не сказал, но его ответ ясен. Нет, господа, прежде, чем учить мужика азбуке, нужно — дисциплинировать его!.. Он — испорченный ребенок, да! но он и — почва! Вы понимаете?.. Основание пирамиды государственного строя... и вдруг — колеблется! Вы понимаете серьезность такого... э... э... беспорядка?

— Дело ясное, — сказал Мамаев. — И, действительно, следует укрепить...

Так как и я интересуюсь судьбой мужика, я тоже вступил в разговор, и скоро мы в четыре голоса горячо и озабоченно решали судьбу его. Истинное призвание каждого из нас — устанавливать правила поведения для наших ближних, и несправедливы те проповедники, которые упрекают нас в эгоизме, ибо в бескорыстном стремлении видеть людей лучшими мы всегда забываем о себе.

Мы спорили, а река, как огромная змея, ползла перед нами и терлась о берег своей холодной, серой чешуей.

И наш разговор извивался змеей, раздраженной змеей, которая бросается из стороны в сторону в своем стремлении схватить то, что ей необходимо и что ускользает от нее. От нас ускользал предмет разговора — мужик. Кто он? Он сидел на песке недалеко от нас; он молчал, и лицо его было бесстрастно.

Мамаев говорил:

— Не-ет-с, он не глуп! Он даже о-очень не дурак... его довольно трудно объехать на кривой...

Земский начальник раздражался:

— Я не говорю — глуп! я говорю — распущен! Поймите! Живет без должной опеки над ним, как несовершеннолетним, — вот в чем корень неурядиц его жизни...

— А я, с позволения сказать, полагаю так, что он — ничего! Божия тварь, как и все... Но — извините! обалдел он... от неустройства бытия своего лишился надежд...

Это говорил Исай, говорил голосом елеиным и почти-тельным, сладко улыбаясь и вздыхая, его глазки робко щурились и не хотели смотреть прямо, а кила сотрясалась, точно в ней было много смеха, он желал вырваться на воздух и не смел. Я же утверждал, что мужик — просто голоден и что если бы дать ему вволю хорошей пищи, то он, наверное, исправится...

— Вы говорите — голоден? — раздраженно воскликнул земский. — Но, чорт возьми, почему? Нужно понять, почему он голоден? Почему, скажите ради бога, сорок, пятьдесят лет тому назад он не знал, что такое голод? Я говорю... я... я вот сам голоден! Да, чорт, в данную минуту я сам, по его милости, голоден! А! Как это вам

правится? Я приказывал — переправить сюда лодки и ждать меня... Приезжаю... Сидит Кирилка. Тьфу! Нет, это, я вам скажу, просто идиоты...

— Действительно, — очень бы приятно покушать! — меланхолически сказал Мамаев.

— Н-да, — вздохнул Исай...

И все мы, раздраженные спором, уже не раз сердито фыркавшие друг на друга, замолчали, объединенные желанием есть, и посмотрели на Кирилку, который под нашими взглядами передернул плечом и стал медленно стаскивать шапку с своей головы...

— Как же это ты, брат, насчет лодки-то?.. — укоризненно сказал Исай.

— Да ведь что же лодка?.. Хоша бы она и была — ее не съешь... — виновато ответил Кирилка.

Мы все четверо отвернулись от него.

— Шесть часов сижу здесь, — объявил Мамаев, взглянув на золотые часы, вынутые им из кармана, — из своего кармана, должен я прибавить.

— Вот извольте видеть! — раздраженно воскликнул земский и повел усами. — А эта бестия... говорит — скоро образуется затор... Ты! скоро, что ли?

Очевидно, земский полагал, что Кирилка имеет некую власть над рекой и движением льда по ней, и было ясно, что Кирилка, действительно, виновен в этом, потому что вопрос земского привел в движение все члены мужичонки. Кирилка двинулся на самый край бугра, прикрыл глаза ладонью и стал, наморщив лоб, смотреть вдаль, зачем-то дрыгая левой ногой и шевеля губами, как будто он шептал заклинания реке.

Лед шел сплошной массой, синеватые льдины с глухим шорохом лезли одна на другую, ломались, трескали, рассыпались на мелкие куски; порою между ними появлялась мутная вода и исчезала, затираемая льдом. Казалось, огромное тело, пораженное кожной болезнью, все в струпьях и ранах, лежит пред нами, а чья-то могучая, невидимая рука очищает его от грязной чешуи, и казалось — пройдет еще несколько минут — река освободится от тяжелых оков и явится перед нами широкая, могучая, прекрасная, сверкнув из-под снега и

льда ее волны, и солнце, прорвав тучи, радостно и ярко взглянет на нее.

— Теперь уж — сейчас, вашбродие! — оживленно воскликнул Кирилка. — Редееет, — эна там! вона у косы!

Он простирал руку с шапкой вдаль, где я ничего не видел, кроме льда...

— До Ольховой далеко?

— Ежели прямо идти, верст пять, вашбродие...

— Ч-чорт... гм! Может быть, у тебя есть что-нибудь? Картофель, хлеб?

— Хлеб?.. Это точно, хлеб есть... А картофелю нету... не родилось его ныне, картофелю-то...

— С тобой хлеб?

— Хлеб-то? за пазухой, вот он...

— На кой чорт ты носишь его за пазухой?

— Да его немного, вашбродие, фунта с два... и опять же — теплее он от этого...

— Э, дурак... Надо было давеча еще кучера послать в Ольховую! Молока бы, что ли, выпить... но этот все твердит — чичас! чичас!.. Этакая мерзость!

Земский начал зло дергать усы, а Мамаев ласково устоялся на пазуху мужика, который стоял, понуриив голову, и медленно поднимал к ней руку с шапкой. Исай делал Кирилке какие-то знаки пальцами; мужик взглянул на него и стал бесшумно подвигаться в его сторону, обернув лицо к спине земского начальника.

Лед редел, между льдинами являлись трещины, точно морщины на скучном, бескровном лице. Играя на нем, они придавали реке то одно, то другое выражение, всегда одинаково мудрое, всегда холодное, но — то печальное, то насмешливое, то искаженное болью. Сырая масса облаков смотрела на игру льда неподвижно, бесстрастно, шорох льдин о песок звучал, как чей-то робкий шопот, и наводил уныние.

— Дай мне, брат, хлеба! — услышал я подавленный шопот Исай.

И в то же время Мамаев густо крикнул, а земский громко и сердито сказал:

— Кирилка! дай сюда хлеб...

Мужичонка сорвал одной рукой шапку с головы, другую руку сунул за пазуху и, положив хлеб на шапку,

протянул его к земскому, изогнувшись чуть не в дугу. Взяв хлеб в руку, земский брезгливо оглянул его и с кислой улыбкой под усами сказал нам:

— Господа! Все мы, я вижу, являемся претендентами на обладание этим куском, и все мы имеем на него одинаковое право, — право людей, которые хотят есть... Что же? разделим пополам... сию скудную трапезу... Чорт возьми! вот смешное положение, но, поверите ли, торопясь застать дорогу, я так спешил... Извольте...

Отломив себе, он подал кусок хлеба Мамаеву. Купец прищурил глаз, склонив голову набок, и, измерив хлеб, откромсал свою долю. Остатки взял Исай и разделил со мною. Мы снова сели в ряд и стали дружно, молча жевать этот хлеб, хотя он был похож на глину, имел запах потной овчины и квашеной капусты и... и неизъяснимый вкус...

Я ел и наблюдал, как по реке плывут грязные лохмотья ее зимних одежд.

— Вот, — говорил земский, с упреком глядя на кусок в своей руке, — извольте видеть — это хлеб! В то время, как за границей крестьянин имеет вино, сыр, пшеничный хлеб, — наш мужик ест... эту гадость. Мякина в нем, кислоты какая-то... и этим питаются накануне двадцатого столетия!.. А почему?

Так как вопрос был обращен к Мамаеву, купец тяжело вздохнул и скромно ответил:

— Пишша не тово... не располагает...

— А по-че-му-с?

— Истошчала почва земли... так сказать...

— Хм! Полноте! Эти разговоры об истощении земли — просто выдумка земских статистиков...

Кирилка вздохнул и поправил шапку на голове.

— Ты! Скажи — земля родит? — обратился к нему земский.

— Да ить... она всяко... когда ей в мочь, то она — сколько угодно!

— Не виляй! Говори прямо — родит?

— То есть... стало быть, ежели...

— Вре-ешь!

— Ежели руки к ней, то она — ничего...

— Ага-а! Вы слышите — руки! Вот потому-то она и

не родит, что рук к ней некому приложить... Что мы видим? Пьянство и распущенность... лень. Руководителя — нет. Недород — на сцену выступает земство: на, сей, батюшка, на, ешь, батюшка... Не-ет-с, это непорядок! Почему до шестьдесят первого года родила? Потому что — если недород — сейчас его, голубчика... мужика то есть — пожалуйста-ка сюда! Вы как пахали? Вы как сеяли? Потом дадут ему — сей! И — родит, о, поверьте! А теперь, живя за пазухой у земства, он спрятал все свои способности... потому что не знает, как употребить их с большей пользой для себя, а указать некому...

— Это — точно, помещик мог заставить все, что угодно, — уверенно сказал Мамаев. — Он что хотел из мужика делал...

— Музыкантов, живописцев, танцоров, актеров... — с жаром подхватил земский. — Все, что угодно!

— Истинно-с!.. Я вот тоже помню, когда еще мальчишкой был... так у нас... у графа... в дворне был один... подражатель, так сказать...

— Н-да?

— Всему выучился подражать! Не токмо звукам, которые от человека и скота... но даже деревянным и иным... изображал, как доску пилят или стекло бьется. Надует щеки и — хорошо выходило! А то, бывало, граф скажет: «Федька! лай, как Злобная лает! Федька! лай, как Перехват!..» И лает! Вот до чего достиг! Теперь бы за этакое искусство мно-ого денег можно взять!

— Лодки едут! — возгласил Исай.

— А! Наконец!

— Вот и дождались... — с улыбкой сказал мне Мамаев.

— Да...

— Уж это всегда так: ждешь, ждешь и... дождешься! Всему есть свой конец...

— Ведь это утешительно, — не правда ли?

— Еще бы-с!

— Ежели бы не это — многие совсем не могли бы жизнь терпеть, — сказал Исай.

У того берега реки среди льда копошились две длинные, темные точки.

— Лезут, — сказал Кирилка, посмотрев на них.

Земский начальник искоса взглянул на него и спросил:

— Ну что, все пьешь?

Кирилка виновато ответил:

— Ежели когда случится... выпиваю...

— А лес воруеть?

— Зачем мне лес, вашбродие?

— Нет, однако?

— Никогда я, вашбродие, не займовался лесом! — сказал Кирилка и даже головой потряс отрицательно.

— А судил я тебя за что?

— Известно... судили вы, это точно...

— За что?

— Как вы начальники... то вам и положено судить нас.

— Хи-итрая ты бестия! Ну, а с барж, во время паузка, тоже воруеть попрежнему?

— Я, вашбродие, один раз попробовал.

— Да и то попал, ха-ха-ха!

— Не привышно нам это — потому и попал.

— Надо приучиться? ха-ха-ха!

— Хе-хе-хе! — смеялся Мамаев.

Лодки, отталкиваясь баграми от льдин, напивавших на борта, подвигались к нашему берегу. Мужики в них что-то кричали друг другу. Кирилка тоже приставил ко рту кулак трубкой и неожиданно сильным голосом крикнул им:

— На ветлу потрафля-ай!..

Крикнул и почти кувырком скатился вниз с бугра к реке... Мы тоже последовали за ним.

Скоро мы садились в лодки: в одну я с Исаем, в другую Мамаев с земским.

— С богом, ребята! — сняв фуражку и крестясь, командовал земский.

Двое мужиков на его лодке тоже истово перекрестились и стали тыкать баграми во льдины, сжимавшие лодки. А льдины ударялись о борта, и раздавался зловеший, хрустящий звук. На воде было холодно. Лицо Мамаева, я видел, как-то побурело. Земский начальник, хмуря брови, строго и беспокойно смотрел вверх по течению, откуда на наши лодки неслись огромные голубовато-серые куски льда. Маленькие льдины шуршали

о киль, казалось, будто чьи-то острые, крупные зубы грызут дерево лодок...

Было сыро, шумно и жутко, и все мы смотрели за борта, на этот грязный, холодный лед, такой могучий и глупый. Но вдруг в шорохе, окружавшем нас, я услышал голос с берега и взглянул туда. Берег был еще саженьях в десяти от нас, на нем стоял без шапки Кирилка; я видел его серые, бойкие и насмешливые глаза и слышал Кирилкин странно сильный голос:

— Дядя Антон! За почтой поедете — хлеба мне привезите, слышь? Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня съели, а — одна была...

О ЧОРТЕ

Осенью — печальной порой увядания и смерти — тяжело жить!

Серые дни, плачущее небо без солнца, темные ночи, угрюмо поющий ветер, осенние тени — густые и черные тени! — все это навевает на человека мрачные думы, в душе его рождается таинственный ужас пред жизнью, в которой нет ничего устойчивого, вечно все колеблется: рождается, разлагается, умирает — зачем?.. Какая цель?..

Иногда нет сил бороться с тьмою дум, что охватывают сердце поздней осенью, — поэтому всякий, кто хочет скорее пережить их горечь, — пусть идет им навстречу. Это единственный путь, которым человек может выйти из хаоса тоски и сомнений на твердую почву уверенности в себе.

Но это трудный путь... Он идет сквозь терния, они до крови рвут живое сердце ваше, и всегда на этом пути ждет вас — чорт. Это именно тот, лучший из всех известных нам чертей, с которым познакомил нас великий Гёте...

Об этом чорте я и рассказываю.

Чорту было скучно.

Он слишком умен для того, чтоб всегда только смеяться, он знает, что в жизни есть явления, которые и сам чорт бессилен осмеять, — никогда он, например,

не касался острым ножом своей иронии величественного факта своего бытия. По правде говоря, этот наш любимый чорт гораздо более дерзок, чем умен, и, если приглядеться к нему внимательно, пожалуй, окажется, что он, как и мы, большую часть своего времени посвящает пустякам. Но оставим это, — мы ведь не дети, не будем же ломать лучшую из наших игрушек, доискиваясь, что скрыто у нее внутри.

Однажды чорт шлялся по кладбищу среди могил во тьме осенней ночи; ему было скучно, он тихо свистал и, поглядывая вокруг себя, искал развлечений. Он насвистывал старинный романс — любимый романс моего отца:

Как от ветки родной
Лист, осенней порой,
Оторвавшись, по ветру летает...

А ветер вторил ему, с воем носясь над могилами между черными крестами, по небу медленно ползли тяжелые тучи осени, орошая холодными слезами тесные жилища мертвецов. Жалкие деревья кладбища пугливо скрипели под ударами ветра, простирая к безмолвным тучам свои оголенные ветви. Ветви задевали за кресты, и тогда на кладбище рождался угрюмый шорох — звук тяжелый и пугающий...

Чорт свистал и думал:

«Любопытно, как чувствуют себя мертвецы в такую погоду? Вероятно, сырость проникает туда, к ним, и, хотя они со дня смерти навсегда застрахованы от ревматизма, однако, должно быть, неприятно!.. Разве вызвать одного из них и побеседовать с ним? Все-таки развлечение для меня и для него, я полагаю... Вызову! Где-то тут сунули в землю знакомого мне литератора... При жизни я, бывало, посещал его, — почему бы не возобновить знакомства? Все люди этой профессии ужасно требовательны, — посмотрим — вполне ли удовлетворяет их могила? Но где же она?»

И сам чорт, который, как известно, все знает, долго бродил по кладбищу, прежде чем нашел могилу литератора...

— Эй, слушайте! — крикнул он, стуча когтями по тяжелому камню, которым был придавлен его знакомый. — Вставайте!

— Зачем? — глухо донеслось из-под земли.

— Нужно...

— Не встану...

— Почему?

— Да — вы кто?

— Вы меня знаете...

— Цензор?

— Нет!

— Может быть, жандарм?

— Нет, нет!

— И не критик?

— Я — чорт...

— А! Сейчас вылезу.

Камень сдвинулся с могилы, земля разверзлась, и из нее явился скелет. Это был самый обыкновенный скелет, почти такой, по каким студенты изучают анатомию костей; только он был грязный, не имел проволочных связей, да в пустых впадинах, на месте глаз, у него сиял голубой, фосфорический свет. Он вылез из земли, встряхнул костями, чтоб сбросить пристающую к ним землю, кости сухо стукнули друг о друга, и он, подняв череп кверху, посмотрел своим голубым, холодным взглядом в темное небо, покрытое тучами.

— Здравствуйте! — сказал чорт.

— Не могу, — кратко ответил писатель. Говорил он тихо и таким странным звуком, точно две кости, чуть слышно скрипя, терлись одна о другую...

— Извиняюсь за мое приветствие, — любезно сказал чорт.

— Ничего... Но зачем вы меня подняли?

— Хотел предложить вам прогуляться, — не более этого...

— А-а! Я с удовольствием пройдуся немного... Хотя погода прескверная.

— Полагаю — вы не боитесь простуды? — спросил чорт.

— О, нет, я ведь еще при жизни основательно простудился.

— Да, помню, вы умирали совсем остывшим.

— Еще бы!.. Всю жизнь меня так усердно охлаждали...

Они шли рядом друг с другом по узкой дорожке, среди могил и крестов; из глаз писателя падали на землю два голубые луча и освещали дорогу чорту... Мелкий дождь кропил их, и ветер свободно пролетал между голых ребер писателя, сквозь грудь его, в которой уже не было сердца.

— Мы идем в город? — спросил он у чорта.

— Что вас интересует там?

— Жизнь, государь мой, — бесстрастно объяснил писатель.

— Ба! Она еще имеет для вас цену?

— Еще бы!

— Но почему?

— Как сказать? Человек все измеряет количеством своих усилий, и, если он принес простой камень с вершины Арарата, — камень будет для него драгоценностью...

— Бедняга! — усмехнулся чорт.

— Но и счастливцев! — холодно возразил писатель.

Чорт молча пожал плечами.

Они уже вышли с кладбища, пред ними лежала улица — два ряда домов, а посреди них — тьма, в которой жалкие фонари ярко свидетельствовали о недостатке света на земле.

— Скажите, — заговорил чорт после паузы, — каково вам в могиле?

— Теперь, когда я привык к ней, — ничего, очень покойно, но сначала, знаете, было ужасно скверно. Болван, который заколачивал гвозди в крышку гроба, вбил за чем-то гвоздь мне в череп. Это, конечно, мелочь, но все-таки неприятно было. Я, знаете, готов был думать, что это некий ехидный символизм, желание испортить мой мозг, при помощи которого я, бывало, сам кое-что портил людям... Потом явились червяки. Они, чорт их возьми, кушали меня ужасно медленно...

— Еще бы! — сказал чорт. — И нельзя их винить за это — пропитанное желчью тело совсем не вкусное блюдо...

— Сколько на мне было тела! Сущие пустяки... — возразил писатель.

— А все-таки съесть его — скорее неприятная обязанность, чем удовольствие... Вот, например, издателей черви едят быстро и с наслаждением.

— Это понятно — они, должно быть, вкусные...

— А что, осенью в могиле сыро? — спросил чорт.

— Сыровато, но к этому привыкаешь... Собственно говоря, больше всего беспокоят разные идиоты, которые, шляясь по кладбищу, случайно натыкаются на мою могилу. Не знаю — сколько времени лежу я в земле... так и сам я и все вокруг меня неподвижно — представление о времени недоступно мне...

— Вы лежите в земле четыре года, скоро уже пять будет, — сказал чорт...

— Да? Вот как... Было у моей могилы за это время три человека... Раздражают, будь они прокляты! Один, знаете, прямо отверг факт моего существования, — пришел, прочитал надпись и с уверенностью говорит: «Такого не было! Никогда я не читал такого... но фамилия знакомая — во дни моей юности человек с такой фамилией имел в нашей улице тайную кассу ссуд...» Как это вам нравится? А я шестнадцать лет печатался в самых распространенных журналах и трижды при жизни издавался...

— После смерти вас издали два раза, — сообщил чорт.

— Вот видите!.. А то пришли двое, и один из них говорит: «А! это тот?» — «Он самый», — ответил другой. «Н-да, тоже и его читали во время оно». — «Всех читают...» — «Что, бишь, провозглашал этот?» — «Обыкновенно, — идеи добра, красоты... ну и прочее...» — «Да, да, помню...» — «Язык у него был дубоват». — «Сколько их лежит в земле!» — «Да, русская земля талантами богата...» И ушли... быки!.. Я знаю — теплые слова не повысят температуру могилы, и я их не хочу, но все-таки обидно! И ах как мне хотелось обругать их!..

— Вы бы и ругнули хорошенько! — усмехнулся чорт.

— Нет, неловко, знаете... Канун двадцатого столетия и — вдруг! — мертвецы ругаются... Нелепо... И, наконец, очень жестоко по отношению к материалистам.

Чорту снова становилось скучно.

«Этот писатель и при жизни желал быть женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах — и теперь, когда все умерло в нем, — честолюбие его живо. Но разве для жизни человек важен? Важен лишь дух человека, и только дух его достоин рукоплесканий и поклонения... Как скучны люди!..»

Чорт уже хотел предложить писателю возвратиться в могилу, как вдруг в его злой голове вспыхнула одна идея. Они были в этот момент на площади, и со всех сторон их окружали тяжелые громады домов. Над площадью низко нависло черное мокрое небо; казалось, оно опирается на кровли.

— Послушайте-ка, — сказал чорт, любезно наклонясь к писателю, — не хотите ли вы посмотреть, как живет ваша жена?

— Я, право, не знаю, хочу ли, — медленно проговорил писатель.

— Э, да вы совершенный мертвец! — воскликнул чорт, подзадоривая его.

— Нет, почему же? — И писатель бодро встряхнул костями. — Я не прочь... Ведь она меня не увидит? А если увидит — не узнает?

— О, разумеется! — уверил его чорт.

— Я, знаете, потому это говорю, что она — не любила, если я надолго уходил из дома... — объяснил писатель.

И вот стена одного дома куда-то исчезла или же стала прозрачной, как стекло. Писатель видел внутренность больших комнат, и в них было так светло, удобно, красиво...

— Славная обстановка! — одобрительно проскрипел он, — очень хорошая обстановка! Живя в такой, я бы, пожалуй, еще и теперь не умер...

— И мне тоже нравится, — улыбаясь, сказал чорт. — И ведь недорого стоит — тысячи три...

— Гм... это недорого?.. Помню, что самое крупное мое произведение дало мне восемьсот пятнадцать рублей... я почти год работал над ним... Но кто же тут живет?

— Ваша жена, — сказал чорт.

— Да? Вот как!.. Э... это хорошо... А женщина, — она и есть? Жена моя?

— Она... Вот явился ее муж...

— Она стала красивая... и как хорошо одета! М-м... Муж, говорите? Какой здоровый малый; рожа у него довольно-таки вульгарная... но — добрый человек, кажется... Право же, лицо глуповатое! И даже пошлое... Впрочем, такие лица нравятся женщинам...

— Хотите, я вздохну за вас? — предложил чорт, ехидно поглядывая на писателя. Но тот был увлечен зрением...

— Какие у них веселые лица! Они оба, очевидно, довольны жизнью... Она его любит, не знаете?

— О да, очень...

— А он — кто?

— Приказчик из магазина мод...

— Приказчик из магазина мод... — медленно повторил писатель и долго не говорил ни слова. Чорт смотрел на него и весело улыбался.

— Что, нравится вам все это? — спросил он.

Писатель с усилием заговорил:

— У меня были дети... сын и дочь... Я думал — вот у меня есть сын, он тоже со временем будет порядочный человек. Я думаю — приказчик, должно быть, плохой педагог... и сын мой...

Пустой череп писателя печально закачался...

— Смотрите-ка, как он ее обнимает! Превесело им живется! — воскликнул чорт.

— Да-а... Что же он, приказчик-то, богатый?

— Был беднее меня, но богата ваша жена...

— Жена? Откуда у нее взялись деньги?

— А от продажи ваших книг!

— Та-ак, — сказал писатель, тихо покачивая своим голым и пустым черепом. — Та-ак! Выходит, что я больше всего работал для некоего приказчика?

— Пожалуй, что именно так и выходит, — весело согласился чорт.

Писатель посмотрел в землю и сказал чорту:

— Проводите меня в мою могилу.

... Было темно; шел дождь, по небу тяжело плыли тучи, и писатель, постукивая костями, стремительно шагал к своей могиле... Чорт шел сзади него и весело пошвыстывал...

Читатель, разумеется, недоволен. Читатель обьелся литературой, и даже люди, которые пишут лишь для того, чтоб угодить ему, очень редко приходятся ему по вкусу. В данном же случае читатель недоволен еще и тем, что мною ничего не сказано про ад. Так как читатель справедливо убежден, что по смерти он попадает в ад, ему еще при жизни хочется знать что-нибудь об аде. Но, право же, я ничего не могу сказать приятного читателю, ибо ада нет, нет ада огненного, который так легко себе представить. Однако — есть нечто другое, и неизмеримо более страшное.

Тотчас же после того, как доктор скажет про вас вашим близким: «умер...», вы вступите в некую безграничную, ярко освещенную область, и это есть область сознания ваших ошибок.

Вы лежите в могиле, в тесном гробу, и пред вами проходит, вращаясь, как колесо, бедная жизнь ваша. Она движется мучительно медленно и вся проходит — от первого сознательного шага до последней минуты жизни вашей. Вы увидите все, что скрывали от себя при жизни, всю ложь и мерзость вашего бытия, все мысли ваши вы вновь передумаете, вы увидите каждый неверный ваш шаг, вся жизнь ваша возобновится — вся до секунды! И для того, чтоб усилить муки ваши, вы будете знать, что по той тесной и глупой дороге, по которой шли вы, — идут другие, и толкают друг друга, и торопятся, и лгут... И вы понимаете, вы ясно видите — все это они делают лишь для того, чтоб со временем узнать, как позорно жить такой гнусной, бездушной жизнью.

Но, видя их торопливо идущими к своей гибели, вы ничем не в состоянии предупредить их: ни крика, ни движения не сделаете вы, и желание помочь им будет бесплодно рвать душу вашу... Хорошо?

Проходит пред вами жизнь ваша и снова возвращается, и снова вы видите ее с начала... и нет конца работе вашего сознания, и не будет конца ей... и ужасу мук ваших не будет конца никогда... никогда!

ЕЩЕ О ЧОРТЕ

Был у меня товарищ, — угаси, господи, пылкую душу его! Ибо зачем ей гореть там, у полярного круга, куда он уехал невольно?..

Угаси, господи, душу его! Огонь ее ничего не осветит там, кроме пустыни, не растают снега пустынь от огня души его, и не исчезнут от него черные тучи тоски одиночества, яко исчезает дым от лица огня!

Был у меня товарищ, — молод он был в ту пору, когда погиб. Однажды он ехал ко мне в гости, но — он слишком любил прямые дороги, и вот, не заезжая ко мне, он прямо проехал туда, где живет и теперь и откуда уже не воротится...

Он жил со старухой-матерью; ей было в то время шестьдесят три года, и смерть стояла за плечами у нее. Я ждал его. И в один и тот же день получил, с одной стороны, известие о том, что он уже не приедет ко мне, а с другой — письмо от его матери, которая спрашивала меня, приехал ли он, просила меня беречь его душу и тело, писать ей — как мы с ним проводим время, как он чувствует себя...

Я прочитал это письмо и представил себе мать, как я знал ее: больной, дряхлой, с кроткими глазами, горевшими только безмерной любовью к сыну... Весь смысл немощной жизни был в заботах о нем, в думах о его счастье...

«Сказать ей правду?» — спросил я себя...

...Есть правда, которая нужна человеку, она обжигает с его сердца грязь и пошлость пламенем стыда, — да здравствует!

И есть правда, которая, падая на голову человека, как камень, убивает в нем желание жить, — да погибнет!..

Если я скажу матери, что исчез навсегда для нее сын, в лучшем случае я — убью ее сразу... Но если она не умрет от эгой подлой, страшной правды, — исчезнет смысл ее жизни, и последние дни ее будут отравлены невыносимой болью, бесплодным страданием... Она двадцать восемь лет, полных труда и мучения, неустанно охраняла дни своего сына, и вот, пред смертью, у нее отняли единственное утешение — счастье знать, что сын ее вырос, крепок и без матери, его опоры, может стойко бороться с жизнью и — она верит в это — будет победителем... А я скажу ей — побежден?!

Нет, я лучше солгу!..

И три месяца, вплоть до дня ее смерти, я писал ей письма почерком ее сына, начиная их словами:

«Моя милая, славная мама!..»

Она отвечала мне на них длинными посланиями, в которых доказывала необходимость ношения фуфаяк с большим красноречием и жаром, чем Лютер свои тезисы. Я говорил ей устами ее сына о том, как счастливо и весело ему живется, подробно описывал его успехи в труде и в обществе, подчинялся за него ее требованиям, соглашался с ее советами, был нежен, внимателен, счастлив.

Она, ликуя, писала мне:

«Славный ты мой мальчик! Никогда еще не был ты так мил и ласков, как теперь, в твоих письмах ко мне. Спасибо тебе, дорогой мой, за то, что ты обогащаешь последние дни мои сокровищами чистого сердца твоего».

Я усиливал яркость красок моей фантазии и писал ей о том, как хорошо жить, имея такую чудную, святую мать; она отвечала мне — как хорошо умирать, имея такого прекрасного, счастливого сына... И умерла она с верой, что ее сын счастлив... Он же в это время сидел в тюрьме, где-то по дороге на далекий север...

Вот какая славная история... Жаль только, что она — выдумана мною...

Читатель, и тебя, как умирающую старушку, я тоже обманул. Дело в том, что все, что я рассказал тебе «о чорте», — выдуманно мною и — клянусь! — в действительности ничего подобного не было. И даже чорт, которого я представил тебе, — скверный чорт, что, кстати сказать, уже видно и по его поступку с писателем. Подумаешь сам, разве порядочный чорт, желая поглумиться над писателем, не нашел бы ничего хуже, как именно показать ему его жену и ее образ жизни после его смерти? Настоящий чорт никогда не рискнет своей старинной и прочной дружбой с женщиной, никогда он не позволит себе поставить ее в неловкое положение пред кем-либо, а тем более пред ее мужем, хотя бы и мертвым...

Вот и все... Я извиняюсь пред тобою, читатель, за мой обман, впредь обязуюсь быть правдивым, как солнце, и даже фантастические, святочные рассказы отныне буду писать, строго придерживаясь действительности. Я даже пойду дальше в моем желании быть правдивым пред тобою, — о читатель! — и здесь же подробно расскажу, что именно побудило меня покаяться в обмане...

Ты, конечно, знаешь, что среди пишущей братии есть люди, которые смешивают призвание писателя с ремеслом портного: употребляя перо свое, как иголку, они шьют из тканей вымысла костюмы для Правды, с целью скрыть ее наготу. Существование таких писателей — необходимо, ибо для многих читателей Правда есть именно та единственная женщина, которую они не желают видеть голой, полагая, что Правда непременно стара и некрасива. Среди моих знакомых есть один такой писатель-костюмер; он пока еще не написал ни строчки, но прекрасно понимает дух времени, и когда найдет нужным, то напишет что-нибудь оптимистическое, успокоительное, как валерьяновые капли, с надеждами на будущее, со множеством цитат, не без холопства пред фактом и даже без тени оригинальности. Правда в этом произведении будет одета не только прилично, но и красиво, ибо мой знакомый — человек со вкусом.

Он на-днях пришел ко мне и начал говорить о разных интересных вещах. Помню, начал он с Адама. Он очень

одобрил нашего общего папашу за то, что тот препоясал чресла и, таким образом, открыл принцип брюк. Потом он долго умилялся по поводу того факта, что на земле, — если посмотреть на нее внимательно, — мы не увидим ничего открытого: улицы покрыты грязью и пылью, долины — травой, вершины гор — снегом, даже небо часто покрывается тучами и каждые сутки — ночью тьмой.

— Сколько мудрости в природе! — воскликнул он по этому поводу.

Затем он говорил о людях: «Мы видим, что и они тоже всегда чем-нибудь прикрыты и что-нибудь прикрывают». Следовал ряд доказательств мудрости людей... я, право, не помню этих доказательств, но, кажется, он приводил в пример женщин, которые, дескать, всегда прикрывают траурными платьями свою радость по поводу смерти их мужей, а также ссылался на журналистов, всегда прикрывающих цитатами из чужих произведений отсутствие своих мыслей и слов...

Так как мне было скучно слушать его, я с ним все соглашался, ожидая, что от этого и ему тоже будет скучно.

— Наконец, посмотрите! — сказал он, указывая на шторы, — мы укрываемся даже от солнца! И — о какая дивная гармония укрывательства! Само солнце прикрывает пятнами ослепительный блеск своих лучей...

Тут он пришел в восторг, а я подумал о нем:

«Не совершил ли он от избытка своего доверия к людям и от убеждения в их мудрости чего-нибудь мерзкого и не нуждается ли в укрывателе?» Но оказалось нечто совершенно иное.

— Как видите, государь мой, вся вселенная, от былинки и до солнца, нуждается в покровах. Что вы на это скажете?

— Это... очень забавно! — сказал я.

— Ага! Ну-с, объясните же мне теперь — зачем вы написали «О чорте»?

Если б меня вдруг сделали министром финансов, я, наверное, изумился бы менее, чем при этом странном вопросе.

— Не смотрите на меня круглыми глазами, — сказал он. — Не притворяйтесь изумленным. Я безусловно осу-

жду ваш поступок. В наше время, батенька мой, каждый порядочный человек стремится быть феминистом, даже и в том случае, если он женат. А вы вдруг показываете женщину в таком... несимпатичном освещении. Это — вообще, а в частности — та женщина, о которой вы писали, совершенно не заслуживает нарекания. Она права-с! Да! Она — права! Она в течение его трудовой жизни терпела вместе с ним и холод и голод... все лишения! Вот, наконец, он — умер. Ну что же? Мы все умрем... одни прежде своего времени, другие — быть может, запоздают, но — поверьте! — мы все умрем!

Я верил ему, молча кивая головой, и чувствовал себя очень скверно.

— И вот — он умер! А она, после его смерти, отдав ему всю свою молодость, все силы свои, наконец, получила возможность сносно жить на деньги, вырученные от продажи его...

— Кто — она? — с ужасом спросил я.

— Та, жена писателя, которую вы изобразили... не притворяйтесь!

— Но ведь я выдумал ее! Ведь это только мой святочный рассказ...

— О! Вы прекрасно знаете, в чем дело...

— И действительно — она существует?

— Ну, разумеется!

— И... и за приказчиком замужем?

— Не за приказчиком, а, кажется, за маркером... но это ничего не изменяет...

— Ах! Ничуть... ничуть, чорт бы меня взял!

— Вам не стыдно, а?

— Но, послушайте! Ей-богу же, это только случайное совпадение... я фантазировал и — только!

— Вы фантазировали? В это я не верю. Но предположим, что — да, вы только фантазировали. Как же вы решаетесь фантазировать до такой степени неудачно, что ваши фантазии совпадают с действительностью? Знаете ли вы, что в публике говорят, будто вы написали свой рассказ о чорте по заказу и внушению литературного фонда, который хочет добиться, чтоб все писатели отказывали право на издание их сочинений ему, фонду,

а не женам и детям? Знаете ли вы, что публика тоже любит фантазировать и что она фантазирует всегда охотнее, чем думает?

Я долго уверял его, что история «о чорте» только плод моей фантазии, но он не верил мне. Потом, кажется, поверил. И это он научил меня извиниться перед тобою, читатель, в моем невольном обмане и рассказать о настоящем, порядочном чорте...

Я извинился. Теперь я хочу рассказать о добром чорте. Клянусь, что буду строго придерживаться фактов, а существование доброго чорта подтверждается Лесажем и китайской легендой о Цин-гиу-тонге.

Все это произошло в ночь накануне крещения. Стояла оттепель; белый, как молоко, густой туман наполнял улицы, скрывая дома друг от друга и пряча в покровках своих все — и хорошее и дурное. Вокруг фонарей, окутанных туманом, образовались мутные пятна призрачного света, и — без лучей, без движения — они стояли в воздухе, не освещая земли. Душные, мутные волны наводили уныние своей мертвой неподвижностью; люди являлись и исчезали в них, как призраки; все звуки, казалось, отсырели, были сдавлены, и даже удары колокола, тяжелые от влаги, впитанной ими в себя, бессильно и быстро тонули в тумане, ничего никому не сказав...

— О тоска, моя нимфа Эгерия! Как я рад, что опять бодрый холод объятий твоих освежает усталую душу мою! Как грозовая туча в летний зной поит благодатною влагой эту бедную землю, всегда жаждущую цветов, так и ты — о тоска! — увлажяешь одинокое сердце мое, и от свежести твоего веяния расцветают в нем цветы ненависти моей к этой туманной, полумертвой жизни, к этим бездушным людям, покорным рабам ее.

Это говорил чорт, и из слов его всякий проницательный человек сразу же, разумеется, увидит, что чорт был декадент и нищенианец, — стало быть, не только действительно существующий, но и самый модный чорт. Он шел в тумане по улице и искал дом, над входом в который не было бы креста, начертанного мелом.

«Как скверно стало на земле, — думал он. — Мне совершенно нечего делать на ней — нет ни души, достойной внимания. Убийственно бездарны стали люди, до тошноты неинтересны и мелки... Особенно теперь, когда среди них с новой силой расцветает проповедь личного самоусовершенствования и борьбы со страстями. Глупцы! Они думают, что еще имеют страсти, когда в них остались одни похоти... Но вот форточка, не огражденная крестом от моего визита, — войду! Может быть, увижу что-нибудь интересное...»

Чорт превратился в снежинку и, влетев через форточку в комнату, бесшумно упал на подоконник.

У окна стоял стол, а за столом сидел Иван Иванович Иванов. По душевному складу своему это был человек «интеллигентный», а профессией его было стремление к достижению духовного совершенства, которое он и внедрял в себя ежесуточно путем продолжительных бесед со знакомыми и посредством чтения душеполезных книг. Так как все это происходило в последний день святок, Иван Иванович, сидя за столом, подводил итоги пережитого за истекшие две недели и был погружен в самого себя. Человек, занятый самосозерцанием, всегда несколько похож, с одной стороны, на Нарцисса, с другой — на муху в патоке; по этой причине Иван Иванович не заметил ни снежинки, влетевшей в форточку, ни того, как она превратилась в маленького чортика.

Закрыв глаза, Иван Иванович с унынием всматривался в картинку, которую он видел однажды в каком-то журнале и теперь восстановил в своей памяти: картинка изображала огромного спрута, который пожирал рака, крепко обняв его своими щупальцами.

«Вот и я, — думал Иван Иванович, — вот и я — как этот рак, а жизнь, как спрут, высасывает из меня мои соки. Я стремлюсь побороть ее тлетворное влияние, я хочу победить мои страсти, а она своими цепкими и страшными щупальцами хватает меня и влечет туда, где кипят вакхические оргии, где в человеке пробуждается животное, где гаснет в нем все чистое... Я должен бы посвящать все силы мои, весь мой ум на дело воспитания из себя личности отзывчивой, как эхо, на все... благородные, возвышающие душу впечатления бытия... я должен

бы быть мужественным защитником моих прав, попраных прав личности... и вместо всего этого... я три раза был в маскараде... был в ресторане и даже... унизил женщину!..

...Положим, она — хороша! Боже, как она хороша!.. Но все-таки она — жена другого... Чужая жена... как это низко с моей стороны!

... Хотя, впрочем, она не совсем чужая мне... она жена Егора, а Егор — мой старый товарищ, мой задушевный друг... да-а! Быть может, это обстоятельство несколько сглаживает мою вину, но все-таки, все-таки!.. Хорошо еще, что я всегда сознаю свои пороки, это поднимает меня в своих глазах... это очень утешительно!.. Но-о, чорт! если б я мог вырвать страсти из своего сердца!»

— Вы попробуйте, — раздался вежливый голос. — Если угодно — я могу помочь вам в этом...

Иван Иванович быстро поднял голову и вздрогнул, — при виде чорта всегда вздрагиваешь.

— Извините... я не заметил, когда вы вошли... Если не ошибаюсь — имею честь видеть... чорта?

— Именно, — сказал чорт.

— Гм... гм... чему обязан удовольствием?..

— Да просто я зашел к вам от нечего делать. Ведь сегодня — вы знаете? — канун крещенья, и нас, чертей, в этот день отовсюду изгоняют. На улице — туман, сырость... скверная зима в этом году! И вот я, зная вас за человека гуманного...

Иван Иванович был смущен. Он никогда не относился серьезно к вопросу о бытии чорта и теперь, при виде его, чувствовал себя виноватым пред ним.

— Я... очень рад! — говорил он, растерянн улыбаясь. — Вам, может быть, неловко на подоконнике? Прошу вас...

— О, не беспокойтесь! Я, как и вы, очень быстро привыкаю ко всякому положению, как бы оно ни было неудобно.

— Мм... очень приятно! — сказал Иван Иванович и подумал про себя: «Однако он... грубоват... или, вернее — фамильярен».

— Вы, кажется, выразили желание почистить себе сердце, а?

— Н-да... знаете, человек, несмотря на прогресс ума, все еще слаб в борьбе со страстями... Но — простите! если я не ослышался, вы предложили мне свою помощь в этом... предприятии?

— Предложил и повторяю — готов служить вам!

— Но ведь это — против вашей специальности? — удивился человек.

— Э, Иван Иванович! — воскликнул чорт, бесшабашно махнув рукой. — Вы думаете, не надоела мне моя специальность?

— Да?

— Еще бы! Даже человеку порой надоела делать всё только пакости, и он иногда искренно кается...

«А что если я приму его помощь? — думал Иван Иванович. — Он, наверное, может сделать меня совершенным. Вот будут поражены мои знакомые...»

— Так скажите мне, что вас стесняет? — настаивал чорт.

— Но... э... видите ли... ведь это, должно быть, очень болезненная операция?

— Только для твердых сердцем, для тех, у кого чувства цельны и глубоко росли в сердце.

— А я?

— У вас — вы извините, ведь я являюсь как бы доктором, — у вас сердце мягкое, такое, знаете... дряблое, как переросшая редиска, например. Когда я буду извлекать из него стесняющие вас страсти, вы почувствуете то же, что чувствует курица, когда у нее выдергивают перья из хвоста...

Иван Иванович задумался и, подумав, спросил:

— А позвольте узнать, вы за вашу... услугу потребуете мою душу?

Чорт вскочил с подоконника на пол и, тревожно махая лапками, заговорил:

— Душу? О, нет! Нет, пожалуйста... мне не надо... Помилюте?! Куда мне ее? Извините! я хотел сказать — на что ее мне? Ах, не то, не то! Я хотел сказать...

Иван Иванович смотрел, как чорт суетился, и чувствовал себя обиженным.

— Я потому спросил об этом, что вообще вами принято...

— Это было раньше, когда существовали здоровые, крупные души...

— Вы как будто пренебрегаете моей душой...

— О, нет! Но я... я просто хочу быть бескорыстным сегодня... И потом, согласитесь, разве мне не интересно видеть совершенного человека?

— Гм... Так вы говорите, что это не больно и не опасно?

— Уверяю вас! При моей помощи достижение совершенства вам совсем ничего не будет стоить... Да вот не угодно ли, извлечем из вашего сердца что-нибудь на пробу?

— П...пожалуй...

— И прекрасно! Что всего более отягощает вас?

Иван Иванович задумался. Очень трудно сказать сразу, которая из наших страстишек любезна нам менее других.

— Нет, уж вы, пожалуйста, начинайте с маленького.

— Мне все равно... с чего прикажете?

Иван Иванович опять замолчал. Хотя он и часто разбирался в душе своей, но от этого, — а может быть, поэтому именно, — в ней царил полнейший хаос: все в ней было скомкано, перепутано... и, как усиленно ни ворошил он теперь ее содержимое, не мог он найти в ней ни одного чувства определенного, цельного, чистого от посторонних примесей.

Чорт устал ждать и предложил ему:

— Давайте выдернем из вашего сердца честолюбие: оно ведь небольшое у вас...

— Ну, хорошо! — сказал Иван Иванович со вздохом, — вытаскивайте его из меня...

Чорт приблизился к нему и, коснувшись рукой его груди, быстро отдернул руку прочь. Иван Иванович почувствовал острое, но приятное колотье, похожее на то, каким сопровождается извлечение заноз из пальца.

— А ведь в самом деле это же больно... — облегченно сказал Иван Иванович. — Позвольте взглянуть, какое у меня было честолюбие-то...

Чорт протянул ему руку, и на ладони ее Иван Иванович увидел нечто бесцветное, маленькое, сморщенное, похожее на тряпичку, которой долго вытирали пыль.

Посмотрел Иван Иванович на свое честолюбие и, вздохнув, тихонько сказал:

— А знаете... как вспомнишь, что это все-таки кусок моего сердца... жалко!

— Не желаете ли, я извлеку из вас и жалость?

— Н-н... как же я буду без нее?

— Какая в ней польза?

— Ну, знаете, это хорошее человеческое чувство...

— Ну, а что вы скажете о злобе?

— Вот эту — вон! Вот эту — к чорту! О, извините...

— Ничего... не беспокойтесь...

Чорт снова коснулся груди Ивана Ивановича, и снова человек почувствовал укол. И снова на ладони чорта лежало что-то, издававшее кислый запах и похожее на тряпочку...

— Н-да, — сказал Иван Иванович, сморщив нос, — вон она какая у меня... в натуральном-то виде...

— К ней много примешано трусости, — сказал чорт.

— Вон что... гм... Но скажите, пожалуйста, отчего это у всех моих чувств такое... студенеобразное строение? Точно медузы...

— Судьба уж ваша такая, добрейший Иван Иванович, — сказал чорт и брезгливо сбросил с ладони на пол кусок сердца своего пациента.

— А я себя уже начинаю чувствовать как-то особенно, — сообщил Иван Иванович, прислушиваясь к биению своего сердца.

— Приятно?

— Легче... просторнее стало в груди...

— Продолжать операцию?

— Я... не прочь...

— Что у вас есть еще?

— Да... разное... вообще все то, что имеется у людей...

— Гнев, например?

— О, да! Конечно... гнев, да... То есть, собственно говоря, не совсем это гнев... а, знаете... этакая нервозность... раздражение... очень беспокойное чувство!

— Убрать?

— Разумеется! Но только осторожнее, пожалуйста... У меня там все немножко спутано... Вот, когда вы выдерживали злобу, я почувствовал, как во мне шевельнулся стыд за нее...

— Это естественно, — сказал чорт, — даже мне, при виде ваших чувств, стыдно за вас становится... очень уж вы неоправданно содержите сердце-то ваше...

— Что же, разве я виноват в этом? — возразил Иван Иванович. — Ведь сердце — не зубы: его щеткой с мелом не вычистишь...

— И в этом есть правда... Ну-с, так я оперирую?

— Я готов...

И третий раз чорт коснулся своей рукою груди Ивана Ивановича.

Но когда он отдернул ее — на руке у него оказалась целая грудка какой-то легковесной и совершенно неопределенной мешанины. Она не имела никакой формы, пахла чем-то затхлым и была окрашена в два цвета: в тот зелено-вато-серый, который свойствен недозрелым плодам, и в тот темнобурый, который они принимают, когда загниют.

Чорт держал эту студенеобразную, дрожащую массу в пригоршнях и с недоумением смотрел на нее, стараясь определить — что это такое?

— Н...ну, Иван Иванович, — смущенно говорил он, не глядя на своего пациента, — извлек я из вас что-то... но что? Н-не знаю... Этакие сокровища скопили вы в сердце своем за тридцать-то лет жизни! Тут, я думаю, ни один химик ничего не разберет... Но полагаю, что теперь, освободившись от всей этой... дряни, вы будете чисты, как ангел... Экий я ловкий ассенизатор, а? И не подозревал в себе такого искусства... Ну, что же теперь? Поздравляю вас, Иван Иванович, с очищением души... с достижением совершенства или — как там? Надеюсь, теперь вы уже совершенно совершенны?

Тут чорт бросил на пол содержание сердца своего пациента, взглянул на Ивана Ивановича и — обомлел.

Иван Иванович весь как-то обвис, ослаб, изломался, точно из него вынули все кости. Он сидел в кресле с раскрытым ртом, и на лице его сияло то неизъяснимое словami блаженство, которое всего более свойственно прирожденным идиотам.

— Иван Иванович! — крикнул чорт, тронув его за рукав.

— А...

— Что с вами?

— О...

— Вы что-нибудь чувствуете?

— Э...

— Вам дурно?

— О...

— Вот так святочное происшествие! — воскликнул растерянно чорт. — Неужели я это из него всю суть извлек? Иван Иванович!

— А...

— Так и есть! Одни междометия остались в человеке, да и то без всякого содержания... Что мне с ним делать?

Чорт постукал Ивана Ивановича в грудь — она издала звук пустого бочонка; он постучал пальцем в его голову — она тоже была пуста.

— Вот те и совершенный человек! Ах ты — бедняга! Опустошил я тебя... Но разве ж я знал, что ты был так скверно наполнен? Но что же однако дальше?

И чорт задумался, глядя на неподвижное, блаженное лицо человека, достигшего цели своей.

— Ба! — воскликнул он, щелкнув пальцами. — Вот идея! И сатана будет очень доволен... я славно придумал! Сначала я немножко просушу сие совершенство, а потом насыплю в него гороху... И из него выйдет преоригинальная погремушка для забавы сатаны...

Чорт поднял Ивана Ивановича с кресла, свернул его в комок и, взяв подмышку, исчез из комнаты...

Туман уже рассеялся, и в окна бледными глазами смотрело печальное зимнее утро... С улицы в пустую комнату доносился торжественно-тихий звук благовеста — и вздымался и таял в ней...

НА БАЗАРЕ

I

КОММЕРСАНТ

— Сударыня? Позвольте облегчить ваше положение?..

Сударыня оборачивается и видит пред собой одного из тех людей, которых именуют золоторотцами. Он худ, желт и так оборван, точно судьба долгое время грызла его зубами и только что выпустила из своих челюстей. Просительно и любезно он изогнулся перед ней и говорит:

— Прикажете понести вашу корзиночку?

Овладев корзиной, он обращается с ней бережно и почитительно и шагает по базару, сзади ее хозяйки, с таким видом, точно получил министерский портфель, но, считая себя вполне достойным такой чести, скромн и не особенно гордится ею. Он сразу определяет степень хозяйственной опытности «сударыни», и, если видит, что эта степень не особенно высока, осторожно начинает руководить «сударыней».

— Вы извольте мясо купить вот у этого торговца... очень добросовестный человек и имеет прекрасный товар...

У него есть причины рекомендовать именно этого торговца, ибо именно этот заключил с ним условие, по силе которого с каждого рубля, взятого торговцем с доставленного ему покупателя, обкусанный жизнью человек получает в свою пользу три или пять копеек.

— Василий Степанович! Вот госпожа желает купить самого лучшего мяса...

Затем он поведет госпожу к возу с картофелем. Фирма, торгующая сим знаком, дает ему премию по копейке с проданной меры...

— Как же я возьму картофель? — осведомляется покупательница.

— А он даст вам мешок... я донесу вам в мешке и возвращу его назад...

— Да я было хотела извозчика нанять...

— Сударыня! я с вас дешевле извозчика возьму...

— Только тово... — говорит торговец картофелем. — Ты, Володька, мешок-то в самом деле принеси...

— Ну вот еще!

— Да... а не как прошлый раз — унес мешок и штаны себе сшил из него...

— Стоит вспоминать...

Госпожа слушает разговор и улыбается. Этот Володька, принужденный шить себе штаны из чужих мешков, возбуждает в ней и опасение за целостность покупок, и сострадание к нему.

И в глубине души она уже решает дать ему целый пятак, когда он отнесет ее покупки с Новой площади в Ковалиху...

— Сударыня! А потрохов парочку вы не желаете купить? — говорит Володька, болтая в воздухе потрохами, неизвестно откуда появившимися в его руках. По тому, как зорко он смотрит по сторонам и как держит потроха, сударыня догадывается о тайне появления потрохов. Ей это неприятно, и сострадание к человеку погибает в ней пред силой опасения, внушаемого им.

— Нет, не надо, — сухо говорит она.

— А я бы за пятнадцать копеек...

— Гривенник! — объявляет барыня. В принципе она против покупки краденого, но если так дешево?

— А двенадцать копеек, сударыня, не дадите?

— Гривенник?

Она торгуется только потому, что не хочет поощрять дурных наклонностей этого человека; ей кажется, что, продав потроха так дешево, он не будет красть в другой раз.

— Извольте! — говорит он. — Вот я их тут в корзиночку помещу... А свеклу вы не купите у меня?

Свекла у него за пазухой. Барыня начинает подозревать, что там сложено еще много кое-каких пищевых продуктов. Ей становится положительно противно смотреть на этого человека, вследствие чего она дает ему за свеклу с прибавлением четырех деревянных ложек — только семишник.

Затем, купив все, что ей было нужно, она обвешивает коммерсанта с ног до головы кулками и узлами и, пропустив его вперед себя, идет домой. А Володька, согнувшись в три погибели, быстро шагает по тротуару, верный своему намерению доставить барыне покупки дешевле извозчика, и по дороге мечтает о премиях, причитающихся к получению с знакомых ему фирм... и о прочем, более выгодном и для него и для его личных покупателей...

II

ГЕРОЙ

В толпе покупателей ходил старик с лицом бульдога. Брови у него нахмурены сурово, но глаза смотрят просительно и скорбно. Темная кожа отвислых щек покрыта серебристой щетиной. Он одет в солдатскую шинель, на груди его георгиевский крест и несколько медалей. Левая нога заменена тяжелой и неуклюжей деревяшкой, которая, глубоко вонзаясь в снег, оставляет в нем круглые ямки. .

Постоянные торговцы на базаре при виде этой серой, качающейся фигуры отвертываются в стороны от нее, и лица их выражают опасение, недовольство, скуку. Старик идет мимо них, туда, где стоят воза приезжих крестьян, и там, остановясь у воза, тоном важного покупателя спрашивает:

— Хорошие гуси?

— Первый сорт! Извольте взглянуть... один жир!

Старый солдат взвешивает на руке птицу, внимательно рассматривает, щупает, нюхает... и вдруг говорит продавцу:

— А вот в Болгарии гуси — эт-то животные! Как свиньи...

— Где, говорите?

— В Болгарии... за Балканскими горами... Русско-турецкая война там была... Его превосходительство генерал Скобелев вел...

— Та-ак... слышали... — говорит продавец. — Ну, и это тоже птица ха-арошая...

— Крест видишь? — тычет солдат рукой в свою грудь. — Сам повесил мне.

Лицо солдата вздрагивает, глаза блестят, и он молодецки сдвигает свою истрепанную фуражку набекрень.

— «Ундер-цер Мигунов, урра!» И своей рукой...

— Позволь-ка гуська-то, служивый... — равнодушным голосом говорит продавец. Он понял, что пред ним не покупатель, и ищет в толпе глазами то, что ему нужно, не обращая внимания на солдата, воодушевление которого все растет.

— Ротный Шванвич — тоже... «Мигунов, говорит, орел ты...» И поцеловал...

— Не стой тут, служивый... отойди к сторонке... покупателю мешаешь, — предлагает торговец гусями, отстраняя рукой солдата от своего воза.

Старика не обижает это, лишь глаза его гаснут, и, взглянув с укором на мужика, он молча идет прочь от воза, надвинув на брови шапку. Вокруг его толпятся люди с озабоченными лицами, в воздухе колеблется гул голосов. Жизнь кипит и напоминает солдату о привалах после похода, о лагерях... Медленно ковыляя в толпе, он ищет в ней человека, который послушал бы его рассказ о войне, о том, как, теснимый турками, он, во главе своей роты, отступал из Ени-Загры. Ему хочется говорить о лучшем дне своей жизни. Когда генерал-герой назвал его героем... Но слушателя нет, никто не хочет обратить внимания на старика, никому не интересно знать, где и как он потерял свою ногу и за что ему дали крест... Он чувствует себя одиноким, обиженным невниманием к нему и не любит всех этих продающих и покупающих людей... Он много раз видел смерть пред собой и не боялся умереть, а они, при виде ее, испугаются... Его немножко утешает то, что они хуже его. У них нет и никогда не будет георгиевского креста на груди, они не могут быть героями...

Но все-таки он хочет, чтоб кто-нибудь послушал его, узнал бы, как храбр Мигунов. С утра до вечера, полуголодный и иззябший, он ходит по базару и все хочет рассказать о себе. Несколько раз начинает рассказ и не может его кончить. Нет на базаре людей, желающих слушать рассказ о подвигах. И старик Мигунов, чувствуя себя лишним, никому не нужным, забытым, — сердится на людей. Он толкает идущих рядом с ним, — толкает их как будто ненамеренно, но все-таки толкает, и это несколько облегчает его обиду.

Иногда он заходит в трактир. Там буфетчик и половые встречают солдата неприязнью и насмешками. Он надоел им. Если они не гонят его вон — солдат обходит столы один за другим и все ищет слушателя. И если находит — о! тогда старик преображается: речь его течет плавно, глаза горят, он надувает щеки, изображая гул пушечных выстрелов, кричит слова команды... Над ним смеются — он не слышит, находясь далеко от всех этих людей, там, за Балканами, где земля пила его кровь и где жизнь его однажды вспыхнула ярким огнем и он увидал в ней смысл... И затем, чтоб погреться около этого огня, он раздувает его все ярче...

— Солдат! Иди вон... надоел!

Это половой гонит его... Он встает и, громко стуча деревяшкой по полу, уходит, а сердце его еще дрожит от воспоминаний, разбуженных в нем.

Он живет в углу за печкой, у человека, занимающегося ловлей птиц. Придя домой, он лезет в этот тесный и душный, но теплый угол, и — если в этот день ему не удалось рассказать о себе — он ворчит:

— Черти... послужили бы... небойсь бы... у, черти!..

III

РЕБЕНОК

— Дядинька-а! Дайти копейчку!..

Небольшой ком грязного тряпья вертится в ногах людей на базаре, из тряпья протянута маленькая красная ручонка, в нем сверкают плутовские и жадные глаза. Трудно догадаться — мальчик это или девочка, он не дает

рассмотреть себя, подвижный, как маленькая собачонка. Ему суют милостину или гонят его прочь. Монеты, попадающие в его руку, он отправляет в рот, и всякий раз, когда получит, — боязливо и подозрительно смотрит в одну сторону — к весам, где стоит высокая, угрюмая фигура женщины, жирной и одетой довольно прилично.

Когда во рту мальчика скопится столько монет, что они уже мешают ему ноющим голосом просить копейку, — он бежит туда, к этой женщине, и между ними происходит следующее: она протягивает к нему толстую, широкую лапу, он же выплевывает деньги изо рта в свою руку и потом высыпает их на ладонь женщины. Быстрыми глазами окинув количество монет, она говорит сердито и угрожающе:

— Семь раз подавали — где еще одна?

— Ей-богу, все!

— Врешь!

— Ей-богу!

— Видела я... подай сюда!

— Да все, мол, тут!

— Ладно! Я дома поговорю с тобой...

— Ежели все...

— Ступай! Да смотри — я ведь вижу!.. все вижу, мошенник!

Он откатывается от нее, снова вьется в ногах толпы и снова поет:

— Тетинька-а... си-ироте...

Вот другой такой же комок... И оба они, скрывшись за чем-нибудь, ведут между собой негромкий и быстрый разговор:

— Утаил?

— Семишник...

— А я три копейки...

— У тебя сколько уж стало?

— Одиннадцать...

— Ух! А у меня только семь...

— До вечера еще долго...

— Она говорит — я те дам!

— Ну! Она и мне...

— Чорт с ней...

— Собака...

- Теперь у нас уж восемнадцать...
 - Здорово! По стакану водки — шесть, да...
 - Сердца мы давно уж не ели...
 - Наплевать на сердце! Лучше папирос...
 - Папирос я уж слямзил...
 - В порсигаре?
 - В коробочке...
 - Эх!.. В порсигаре бы!
 - Да! Больно ты ловок... Небось, сам не выудишь в порсигаре-то.
 - Зато я — платок.
 - Платок и я...
 - Ну, айда!
 - Айда!
- И оба снова теряются в толпе...
- Среди шума и гула то там, то тут раздаются печальные, хватающие за душу детские возгласы:
- Дядинька-а... сироте подай...

СВИДАНИЕ

Набросок

...Под ивами на берегу реки сидела девушка и смотрела на свое отражение в воде. Песок вокруг нее был усыпан желтыми листьями; они беззвучно осыпались с ветвей над головой девушки и падали ей на плечи и платье. Много их лежало в коленях у нее; один лист был в руке, она медленно крутила его между пальцами, а в другой руке у нее был длинный и гибкий прут. Высокая и полная, она была одета по-деревенски нарядно, но ее круглое лицо было грустно, и глаза смотрели в воду задумчиво, почти сурово.

По берегу, подбирая листья, бродили овцы, недавно остриженные; все они были уродливы и жалки. За рекой стояли деревья, окрашенные в цвета осени; преобладал оранжевый цвет; красные гроздья рябины выступали на нем, как кровавые раны. День был тихий, солнечный и теплый и был полон печалью увядания.

За спиной девушки раздался шорох ветвей и появился парень, высокий, с белокурой бородкой на загорелом лице, босый и оборванный.

Девушка полуобернулась к нему и тихо сказала:

— А я тут ждала, ждала...

Он опустился на песок рядом с ней, быстро оглядел ее праздничный наряд — пестрое ситцевое платье, розовый платок на голове, козловые башмаки — и усмехнулся, заметив ей:

— Ишь ты павой какой сегодня...

Но тут живые, светлые его глаза встретились с унылым взглядом ее глаз, больших и синих, — и он пугливо встряхнул головой, воскликнув:

— Ты что? Али говорила?

— Говорила...

— Н-ну? Что? Ругается?

— Прибил...

— Ах ты, старый чорт... Стало быть... что же он говорит-то?

— Беден-де ты... — вздохнула девушка, снова глядя в воду.

Парень опустил голову и сказал:

— Та-ак-с... Это — верно...

Одна овца подошла к ним и уставилась на них глупыми рабскими глазами, меланхолично пережевывая свою жвачку. В реке плеснулась рыба, и на месте всплеска серебром заиграли лучи солнца. Где-то далеко звучала гармоника, ревел вол, лаяла собака и раздавались гулкие удары — бумм! бум!

— Беден я... это он верно говорит... И с чего мне богату быть? Кроме здоровья, нет у меня ничего... А однако мы бы с тобой прожили век... Палашка?

Он тронул ее за плечо, вопросительно заглядывая в лицо ей.

— Он говорит про тебя: «Знаю я его, говорит. К богатому-то мужику в зятя и не такой пойдет! — начала рассказывать девушка, вдруг оживляясь. — Он, говорит, нищий... ему, говорит, в батраки ко мне проситься надо, а не в зятя...»

— А ты что? — хмуро спросил парень.

— Известно что... Плачу я...

— Мм... а что сказала-то ему?

— Что! Сказала, что вот я тебя люблю и за другого какого не хочу идти...

— Ну, а он?

— А он — по затылку меня да за косу... «Язык, говорит, оторву, и не заикайся про него...» Про тебя-то.

— Ишь ты! — угрюмо сказал парень и плюнул в воду реки.

— А потом матушка еще начала пилить... «Мы, говорит, богатые... Зазорно нам брать такого зятя, али мы лучше-то не найдем уж?»

Она говорила так, как будто и сама была согласна со смыслом этих слов. Лицо у нее было строго нахмурено, и в своем стремлении правдиво передать ему все то, что сказали ей мать и отец, она старалась говорить так же, как говорили они: то с гневом, то с убеждением.

Парень молча слушал ее рассказ и сильными толчками своих босых ног рыл яму в песке.

Стая птиц с веселым щебетаньем пронеслась над рекой; он посмотрел вслед им и, когда они скрылись из глаз в ветвях леса на том берегу реки, сказал, не волнуясь и с оттенком насмешки:

— Видно, моя доля — как ветер в поле... не поймаешь ее...

Девушка вздохнула, ласково и жалобно взглянув на него. Он смотрел куда-то далеко.

— Уж коли отец-то твой сказал, так... значит, так оно и будет. Его в другую сторону не согнешь, — мужик прямой... Его, старого дьявола, хоть колом по башке бей, — он все на своем стоять будет... Верно я говорю? Не уступит он тебе?

— Не усугупит! — качнула головой девушка, — хоть бы я вся слезами изошла, — не сдаст он...

— Стало быть, тут и точка! Не выгорело наше дело, Палагея!.. Значит, не судьба!

— Так что же будет теперь? — тревожно и тихо спросила она.

— А чему быть? Пойду я на завод и буду там работать... Надоест, — подамся дальше куда-нибудь!.. Да... Вот те и прощай!

Она большими глазами взглянула на него и молча ткнулась лицом своим в его грудь.

Он обнял ее одной рукой, взглянул, как ее плечи вздрагивают, и задумчиво стал смотреть на спокойную воду реки, отражавшую их, как в зеркале.

— А... бывало, в мыслях-то, сколько раз я изображал себе все это!.. Вот мы с тобой, стало быть, женаты и работаем вместе...

Он остановился, — может быть, потому, что еще раз «изображал» себя женатым на этой девушке, прижавшейся к его груди, и работающим вместе с ней; а может быть, потому, что больше уже ничего не мог изобразить.

— Да... я, например, кошу, а ты гребешь... Или я молочу, а ты веешь... Эхма! чорт те возьми! Были бы у нас дети... и все как следует... Корова, а то две... Тоже вою овцы... Помыслишь вот этак-то, — даже весело станет...

Девушка громко взвыла, как воют деревенские бабы над умершими, близкими им.

— А ты не плачь, — спокойно сказал парень, прижимая ее к себе, — что плакать? Это ни к чему...

— Степа ты мой... хороший ты мой! — шептала она сквозь рыдания.

А над ними печально кружились желтые листья ив, и вся река покрылась мелкой рябью от ветра, скользнувшего по ней.

— Ничего! — ободряюще говорил парень. — Это вот сначала только жалко тебе меня... ну, а потом привыкнешь. Вы, бабы, скоро привыкаете... Забудешь — и больше ничего! Ровно бы и не было меня...

— Степа! Не говори ты мне этих слов... Никогда я... никогда-то я не забуду тебя! Что я теперь без тебя? Как без сердца буду я жить!

— Замуж выйдешь все же... — сказал парень, уग्रюмо усмехаясь.

— Господи! Не выйду... ни за кого не пойду! — воскликнула девушка с тоской.

— Велят — выйдешь. За меня не велели — послушала; за другого велят — тоже слушаешь. Это уж всегда так бывает... Долго жалость в себе не продержишь...

— Почто ты, Степа, уходишь-то? Хоть бы тут ты остался, — посмотрела бы я хоть издали на тебя, душу-то отвела на минуточку... Какая теперь жизнь моя будет?!

Он, слушая ее ноющие слова, с усмешкой посмотрел в лицо ей и глубоко вздохнул.

— При чем я тут останусь? Не дело ты говоришь, Палагея. Ежели я ковырялся тут, так это потому, что молод был, а потом ты вот... Думал я, что отец-то ничего, мол, поломается да и согласится... А теперь вижу, что толку не будет... Дядя Иван не раз говорил с ним про меня,

а он и слушать не хочет... Богаты вы больно... ну и горды оттого. И выходит, что должен я отсюда куда-нибудь скрываться... Потому мне не тово... несладко тоже будет замужем видеть тебя!.. Да и что я тут?

— А может, тоже женишься, — тихо сказала девушка.

— Ну... это мне ни к чему... Вот ежели бы на тебе, — это другое дело. Потому — ты девка здоровая... хорошая и работающая... Мы бы с тобой во как зажили!..

И снова, тяжело вздохнув, он замолчал.

— Царица небесная! — умоляюще сказала девушка.

— И-да-а... ни я тебе женатый, ни ты мне замужняя — не нужны мы... Ведь вот ты не хотела до венца со мной... а многие так делают. Забеременеет, — ну, ее скорее и выдают за того, от кого понесла... А ты этого не хочешь... Стало быть, невелика она, любовь-то твоя...

— Степа! — жалобно сказала девушка, поднимая глаза на его лицо, — ведь грех это, без венца... и опять же изобьют меня, изувечат, ежели что... изуродуют, а все-таки не отдадут за тебя...

— Ну, — равнодушно сказал парень, — это твое дело, тебе о нем и рассуждать. Но ежели бы была любовь, — что при ней побои? Так-го!

Она опять заплакала, только теперь уже отодвинулась от него. Он же взглянул из-под руки на солнце, склонявшееся к западу, и медленно заговорил:

— Теперь часа четыре будет... Надо ждать — скоро ударят к вечерне. А завтра я встану с солнышком и пойду. Вот и все...

— И не жалко... меня? — сквозь слезы сказала девушка.

— Жалко или не жалко — все мое!.. — угрюмо сказал парень.

Глядя в воду, он видел лицо девушки, закрытое руками, видел, как голова ее часто закачалась и плечи задрожали. Потом раздалось хныканье, тихое и жалобное, точно это плакал шестилетний ребенок. Парень сжал зубы и крепко выругался, повернув свою голову в сторону от девушки. Долго он сидел неподвижно, а она все плакала слезами горя и обиды.

— Будет уж тебе... — сказал он, наконец, не глядя на нее.

Она не слыхала его или не хотела слышать. Тогда он порывисто обернулся к ней, схватил ее сильными руками и, почти бросив к себе на колени, глухо заговорил, наклонив над нею возбужденное лицо:

— Будет... Не тревожь мне сердца!.. Ну, что уж? Не судьба... и больше ничего... Ну... Палагея? А то я уйду... Ей-богу!

Она, вырываясь из его объятий, все плакала.

— Эх, вы! — воскликнул парень с тоской и злобой, — как это любите вы, чтобы все было хуже!.. Ведь и так уж тяжело, а ты еще прибавляешь!.. Перестань, мол, реветь-то?!

Он оттолкнул ее от себя и встал на ноги; она осталась на песке, уткнувшись головой в колени. Парень долго смотрел на нее сверху вниз, и глаза его были суровы, а брови нахмурены. Потом он сказал ей:

— Ну... прощай!

— Прощай! — ответила она, подняв голову к нему.

— Поцелуемся напоследок-то... — предложил он.

Она встала и прижалась к его груди, бросив свои руки на плечи ему. Он истово поцеловал ее в губы, в щеки и сказал, снимая ее руки с плеч своих:

— Завтра уйду... прощай! Дай бог счастья тебе... За Сашку Никонова, надо быть, выдадут тебя... Он смирный парень... только дурковат, да слаб... немощной какой-то... Прощай!

И он пошел прочь от нее. Она обратила вслед ему свое лицо, красное и распухшее от слез, и еще раз крикнула, как будто с надеждой на что-то:

— Степа!

— Ну? — обернулся он к ней.

— Прощай!

— Прощай!.. — громко ответил он и скрылся среди пв.

А она снова села на песок и беззвучно заплакала.

Попрежнему сыпались желтые листья с дерев, и спокойная река отражала в себе ясное небо, деревья, берег и эту девушку.

Овцы подошли близко к ней и усталились на нее своими круглыми, всегда покорными глазами, точно недоумевая, как может эта девушка, такая сильная, так больно бившая их прутом, — как она может плакать?

ФИНОГЕН ИЛЬИЧ

Очерк

Полею, по грязной осенней дороге, шел высокий, бородатый мужик, согнувшись под тяжестью большого мешка на спине. Сосредоточенно глядя себе под ноги, он крупно шагал по грязи и, прислушиваясь к топоту лошадиных ног сзади его, думал: «Кто это там едет?»

А в полуверсте за ним, с каждой минутой все настигая его, ехал на маленькой тележке человек в теплой короткой куртке и в старой измятой шляпе котелком, рыжеусый, бритый, с маленькими серыми глазками. Помахивая кнутом над крупом своей сытой пегой лошадки, он зорко смотрел на мужика впереди себя и дальше на темные избы, рассыпанные по песчаному холму, и на хвойный лес за избами. И сзади этих двух живых точек на пустынном поле стояла высокая стена чернолесья, упираясь вершиной в серое небо; а слева и справа от них, между двух лесов, тянулась холмистая бурая равнина, кое-где украшенная зелеными коврами озимей.

Когда морда пегой лошадки поравнялась с плечами мужика, человек, правивший ею, приподнял над головой свою шляпу и ласково крикнул мужику:

— Мир дорогой!

Мужик, не останавливаясь, повернул голову и, посмотрев на проезжего, ответил:

— Бог спасет.

— Здравствуйте... Финоген Ильич!

Теперь мужик остановился, еще раз внимательно осмотрел проезжего большими угрюмыми глазами и сказал:

— Здравствуйте... не признаю что-то...

— А я вот признал вас.

— Та-ак, — протянул мужик и, наморщив лоб, пошел сзади тележки, опустив голову.

— Картошку рыть ходили? — спросил проезжий.

— Ее... картошку.

— Далеконько!

— Что поделаешь?

— Вы положьте мешок-то ко мне... да и сами садитесь, — подвезу вас... Тпру!

Лошадь остановилась, мужик свалил с плеч мешок в тележку, а потом сам взобрался на нее, — взобрался, сел рядом с рыжеусым человеком и тогда уж сказал ему:

— Вот спасибо!.. А то здорово я наломал хребет-то...

— Ну, а как — не признаете все меня?

— Да мельтешится что-то в голове... будто видал где... обличье-то ваше знакомо.

— Как не знакомо! Лет пятнадцать шабрами были, Финоген Ильич... — И проезжий усмехнулся в лицо мужику некрасивой и кривой усмешкой.

— О? — воскликнул мужик. — Неужто — Лохов-бобыль?

— Он самый... хе-хе!

— Та-ак! Вот оно что... Стало быть... н-да...

— Самый я Мотька-бобыль и есть.

— Вот-вот! Мотька... как же! помню...

Угрюмые глаза мужика усмехались, осматривая сидевшего рядом с ним человека.

— А теперь уж я — Матвей Петров Лохов, — внушительно и с важностью в голосе сообщил бывший Мотька и покрутил свои редкие, как у кота, усы.

— Вышел, значит, в люди? — спросил его Финоген.

— Вполне. Службу кончил... звание имею — ферверкер... Я давно кончил... вот уж слишком четыре года в людях служил...

— В работников?

— Зачем? Я грамотный, — на что мне в работники идти?

— Это... конечно!

— Я служил коридорным в гостинице... официантом на пароходах... был даже приказчиком за буфетом...

— Служба легкая... — неопределенно произнес Финоген.

— Ну, тоже! Иной рейс пассажиров на пароходе — как семян в огурце... Целый день волчком вертишься.

— Это конечно... всякому своя сопля солона, говорится...

Лохов искоса взглянул на него и снова покрутил ус.

Лошадь бежала частым, скорым шагом, а Финоген смотрел на ее круп и думал:

«Ишь ты, какая круглая! По хозяину и скот...»

До деревни оставалось уже немного дороги. Намокшие от дождя избы отчетливо выступали на желтом песке, а над ними, на вершине холма, ясно обозначались прямые, как свечи, рыжие стволы сосен.

— Лесок-то цел еще... — сказал Лохов.

— Куда ж ему деваться? — спросил Финоген.

— Сводят теперь леса... здорово их сводят!

— Это где можно, там сводят... Но ежели кто без ума, так и этот лес, пожалуй, вырубят... Ну, только тогда всю ложину, даже до реки, песком занесет...

— Это верно, занесет... — согласился Лохов.

— Куда ж ты теперь, Матвей Петрович? — помолчав, спросил Финоген.

— Да вот... к вам.

— Мм... побывать, значит?

— Да... как бог укажет.

— Стало быть, может, и останешься на прожитье?

— А может быть... и так может быть...

Мужик замолчал и, зачем-то закрыв глаза, взял правой рукой свою большую русую бороду и задумчиво подергал ее.

Дорога, раньше лежавшая по липкому суглинку, теперь потянулась по песку, и лошадь Лохова пошла тихим шагом.

— Поди, деньжонок скопил на службе-то? — спросил Финоген.

— Н-ну! Деньги, знаешь, скользки... удержать их при себе трудно.

— Землей заниматься будешь?

— Вот что, Финоген Ильич... — заговорил Лохов серьезно и хозяйственно: — ты уж, пока что, прими меня к себе... у тебя я остановлюсь... Тогда и потолкуем как следует, по душе. Шабрами тоже были... да вот — судил бог — с тобой же первым и встретился я.

Финоген услышал в его голосе что-то новое, как бы властное. Он посмотрел в лицо Лохову и, не торопясь, ответил:

— Ко мне, так ко мне... милости прошу.

— Надоело мне жить в городах! — говорил Лохов, вглядываясь своими серыми глазками в стены и крыши изб так, точно он надеялся рассмотреть и все то, что есть под крышами и за стенами. — Жизнь шумная, путаная... и пользы мало человеку от нее.

— В деревне проще... — подтвердил Финоген.

— Вот... я и надумал: поеду-ка, мол, в деревню, — авось, к чему пристроюсь...

— Тут как раз присосешься к делу... — снова обнадежил Лохова Финоген, не глядя на него.

Они въехали в улицу. Тихо было в деревне; лишь откуда-то издалека долетали крики ребятишек да охающие звуки цепов.

— Молотят... — сказал Лохов.

— Такое время, чтобы молотить...

— Сыровато...

— На гумнах — ничего...

— Никак твоя изба?

— Она...

Лохов щелкнул языком и, дернув вожжами влево, повернул лошадь к воротам большой избы, такой же прочной и угрюмой, как и ее хозяин.

— Погоди, я ворота отворю... — сказал Финоген, тяжело слезая с тележки на землю...

— Вот я и приехал! — воскликнул Лохов, часто мигая глазами.

Через час в просторной избе Финогена сам он, его жена и Лохов сидели за столом и пили чай.

— Советовал мне один человек, — говорил Лохов, барабанив по столу пальцами, — заняться варкой мятного масла. Указал он мне все способы... Просто это делается и, если верить тому человеку, дело выгодное...

— Та-ак... — сказал Финоген, усердно и внимательно дуя на блюдечко.

— Но хоша оно и так... однако дело новое, неиспытанное... потянешься к нему да и оборвешься.

— Бывает...

— И хочу я, по этой причине, взяться за торговлю.

— Кабаком промышлять будете? — спросила жена Финогена, низенькая, жилистая, с красивыми черными глазами, которые казались слишком молодыми для ее желтого лица, уже покрытого сетью тонких морщин.

— Нет, кабаком не стану. — И Лохов отрицательно мотнул головой. — Кабака я не люблю, ежели говорить правду. Сам я не пью и всем бы запретил винище это употреблять... Кабак дело нехорошее...

— Недолговечное дело, — спокойно сказал Финоген. — С будущего года, слышь, казенную водку заведут у нас... слышал, чай?

— Н-да, вот видите! — сказал Лохов.

— Слышал, мол, про это? — вновь спросил Финоген.

— Да... мельком слышал. А что?

— Ничего.

Лохов посмотрел на Финогена и передернул плечами.

— Я не потому избегаю кабака, что слышал про монополию, — вразумительно заговорил он, — а просто — не хочу. Ежели говорить правду, виноторговля навынос и распивочно — дело прибыльное и простое, особой сноровки не требует, а копейку тянет к себе, как магнитом. Но хотя я и жил в городах, был в солдатах... огни, и воды, и медные трубы прошел, — однако бога помню. Господу я слуга верный... А около вина греха много. Так много на земле греха от вина, что даже, может, больше всей прибыли.

— Это вот верно, — одобрительно сказала Финогенова баба.

Муж взглянул на нее и сказал, подвинув к ней свой стакан:

— Налей-ка мне еще, Варвара!

— Хозяйка-то есть у вас? — спросила Варвара.

— Еще нет, — ответил Лохов. — Все некогда было обзавестись. Служба у меня в езде... сегодня — здесь, завтра — там. Какой интерес иметь хозяйку при такой службе? Я, примерно скажем, на пароходе езжу, а ее

с собой ведь не возьмешь. Оставь ее, значит, на берегу, одну... содержать надо... и потом вдруг окажется — шалить она начнет? Беспокойно это... Я так решил в уме: когда уж, мол, сяду прочно на одном месте, тогда и женюсь.

— Эдак-то чего лучше! — заметила Варвара.

— И опять же жениться в городе надо очень осторожно! — Тут Лохов поднял кверху палец и, подержав его вытянутым, помолчал. — Городские женщины, они ведь ой-ой-ой! За ними глаз нужен... И в одеже она разбирает, и в пище... и во всем прочем. Деревенские куда проще... деревенские много лучше...

— С ними спокойнее, — сказала Варвара.

— Глупее они, — усмехаясь, заметил Финоген, поглаживая свою бороду огромной ладонью.

— Женщине для ее дела не много ума нужно, — вразумительно сказал Лохов. — Позвольте мне еще чашечку!

Темнело. Серые, низко опустившиеся над землей осенние тучи смотрели в маленькие окна избы, и в углах ее уже собрался сумрак.

— Ну, а вы тут как поживаете, Финоген Ильич?

— Живем по малости, — ответил Финоген, подумав.

— Богатеете всё?

— Заплатами-то? Богатеем... каждый день почти новые заплаты нашивают бабы на одежду-то нам.

Лохов любезно засмеялся.

— Нет, видимо, поправились деревня-то... Избы построены такие всё коренастые... и народ сыто глядит.

— От завода есть нам помощь, — сказала Варвара. — Завод тут выстроили бумажный, да еще масляный... из дерева гонят масла разные. Ну вот мужики и возят товары на станцию да со станции; туда семь копеек с пуда, оттуда семь копеек...

— Во-он что? Да, да, да... А я не знал про заводы-то! — воскликнул Лохов, улыбаясь и мигая глазами.

— Заводы нам очень помогают.

— Далеко заводы-то?

— Один в шести верстах, а другой вот тут, за лесом... версты четыре места...

— Что же, трактирные заведения при них?

— Запрещено! — кратко сказал Финоген.

— Кем же?
— Начальством... Не позволяется...
— Та-ак. С-скажите! Ну, а ежели в деревне открыть?
— Общество не разрешит.
— Да ведь ему польза от того... большая польза может быть!..

— Это ежели оно пропъется? — спросил Финоген, строго глядя на Лохова. — Не ему от того польза будет...

— Да ведь аренду же возьмет оно! — воскликнул Лохов и даже покраснел весь, а усы у него стали торчком, как щетина.

— Тут уж наезжали разные, — заговорила Варвара, — и один даже три тыщи давал в год; но мужики — Финоген вот, да еще Лощенковы братья, Ефим шабер, Горюнов старик, — помните Горюнова-то?

— Да... стар уж, чай... Что же они?

— Сбили сход... Не желаем, дескать...

— Мм... — неодобрительно покачал головой Лохов.

— Да, не желаем мы, чтобы у нас пьянство было и все такое, — твердо сказал Финоген, глядя на Лохова прищуренными глазами. — Не хотим мы этого... нам и без кабаков желтенько живет. Кабак мы к себе не пустим. Семь лет тому время, как составили мы приговор, чтобы жить без кабака, и живем себе.

— Казенный откроют, — сказал Лохов.

— А мы будем просить: не надо.

— Что ж? Можно и без... трактирного заведения жить, — подумав, сказал Лохов.

— Н-да! Придется уж без него, — подтвердил Финоген, точно угрожая кому-то.

— Поглядим, — промолвил Лохов, значительно и плотно сжав губы.

Затем он встал из-за стола и, перекрестившись в угол на образа, поклонился хозяевам, говоря:

— Покорно благодарю на чае...

— На здоровье, — ответила Варвара, а Финоген лишь молча качнул головой.

— Пойти посмотреть на Пегашку, — проговорил Лохов и вышел из избы.

Финоген, нахмутив брови, смотрел вслед ему, а Варвара внимательно разглядывала лицо мужа.

— Ишь какой выровнялся! — сказала она наконец.

— Жох! — угрюмо ответил ей муж. — Ты его не очень привечай, смотри у меня! Ласки-то ему не много оказывай... таких надо не лаской, а колом по башке.

— Ну уж! больно строг! — усмехнулась Варвара. — Еще ничего не видя...

— Я его насквозь вижу! Сказано — жох! Ты вот погляди: понюхает он тут, понюхает, да и вопьется в нас, как клещ... Видала, какие у него губы толстые? — Финоген усмехнулся и закончил: — Эдакими-то губами он всю кровь из нас может высосать.

— Ну, господь не выдаст, свинья не съест, — усмехнулась Варвара, перемывая чашки.

Финоген поднялся с лавки во весь свой рост и, расчесывая бороду толстыми, корявыми пальцами, сказал:

— Не люблю я таких... ишь ты, приехал! Ровно клады рыть собрался. Я не глупее его и сам бы насчет кабака-то смекнул. Теперь вот узнает, что землю мы через банк хотим покупать, — станет проситься: дескать, и меня примите в товарищи. Н-да... попросится, — уж это так и жди!

— А вы не принимайте, — сказала жена.

— В этом не одна моя воля...

— А ты подговори Лощенковых с Ефимом.

— Учи! — строго сказал Финоген.

Вошел Лохов, прищурил свои острые глазки, зорко осмотрел мужа и жену и, одобрительно покачивая головой, сказал:

— Ха-арошее у вас, Финоген Ильич, обзаведение!..

Маленький, лысый, костлявый старик Горюнов, считавшийся в Песчанке самым разумным мужиком, говорил о Финогене так:

— Финка Ремезов — крестьянин добрый, что говорить! Хозяин редкий по нынешнему времени: все у него в порядке, все в призоре... и работник он крепкий, и голова у него есть своя... все это так! На всех за последние годы господь ополчается за грехи, все, куда ни посмотришь, ломаются под господней карой... Финка ничего, покряхтывает, а твердо стоит. Точно у него и молитва к богу своя есть. Но только не мирской он человек, и выйдет из него для деревни же-елезный кулак... уж помяните мое

слово! Придет ему время, и так он нас всех тиснет... даже ох не скажем!..

Время шло, но пророчество Горюнова не оправдывалось. Финоген приобретал в деревне славу грамотея и законника; к нему относились с уважением, со страхом и не без зависти к его удачам. Когда Горюнов начал убеждать мужиков в необходимости закрыть кабак, Финоген первый откликнулся на его речи.

— Ты что больно уж яришься? — спросил его однажды старик, подозрительно заглядывая в глаза ему.

— Стало быть, понимаю пользу твоей речи, — ответил Финоген.

— Мм... — недоверчиво промычал старик. — А не то чтобы... насчет себя смекаешь?

— То есть это как?

— Может, тоже в сидельцы хочешь?

— Нет, ты, дедушка Мосей, не беспокой себя такой думой: я кабака не открою... — откровенно объявил Финоген.

Старик посмотрел на него и крикнул.

— Плохо я понимаю тебя, Финоген: невдомек мне, чего ты хочешь.

— Человек для себя худого не захочет... — сказал Финоген.

— А мир-от как?

— А мир человеком держится.

— Мудрено что-то... Ну да увидим.

На сходе, когда обсуждался вопрос о закрытии кабака, всех сильнее и толковее поддерживал Горюнова Финоген.

Вскоре после этого поблизости от деревни открылся завод для сухой перегонки дерева, и на первых же порах работы завода вода в речке оказалась чем-то отравленной. В Песчанке начали хворать от этого. Мужики обратились к хозяевам завода с просьбой не портить воду в реке; им обещали сделать, что можно, и, разумеется, ничего не сделали.

Тогда Финоген вызвался пред обществом устроить это дело, поехал в город и действительно устроил. На завод явился санитарный врач, фабричный инспектор, становой, и через некоторое время управление завода принуждено

было вырыть пруды для того, чтобы вода в них отстаивалась и можно было очищать ее известкой. С той поры, хотя она и потеряла прежний вкус, но стала здоровой, как и раньше была.

Старики с усмешкой говорили о Финогене: «Грамотей!..» Но на сходах и в беседах слушали внимательно его речь, всегда угрюмую и несколько насмешливую. Люди одних с ним лет — ему во время приезда Лохова было под сорок — называли его «дядя Финоген». Не скрывая своего превосходства над другими, Финоген часто жестоко высмеивал своих собеседников, и в его речи всегда звучали эдакие начальнические ноты. Он брал по зимам с завода книжки и внушительно, густым голосом читал их вечерами своей семье: жене и двум мальчикам десяти и восьми лет. Часто приходили соседи «послушать книжку». Когда он читал, то садился в передний угол, низко наклонялся над столом, на лбу его являлись глубокие морщины, и глаза наливались кровью. Потом обильный пот выступал на его лице и шее, а уши у него начинали странно вздрагивать. Хотя он читал бойко, но очень часто останавливался и подолгу молчал, глядя на страницы книги мрачными глазами.

— Ну, читай! — поощряли его слушатели.

Он тяжело вздыхал, и снова в избе гудел его тяжелый голос.

Однажды ему в руки попала книжка о вреде пьянства. Он усердно прочитал всю ее вслух и, закрыв, сильно хлопнул по ней рукой.

— Вот она, премудрость-то! — воскликнул он, усмехаясь. — Наворотили ее тут, может, на сто рублей, а всей книжке цена три копейки!.. Дешева!..

И, грубо, громко захохотав, он добавил:

— Того бы, кто ее сочинил, взять бы его... — Финоген крепко ругнулся, — взять бы его, да в мужицкую-то шкуру, в мужицкий-то хомут и втиснуть года на два эдак. Тогда бы он... уразумел, для чего мужики вино пьют...

Однажды он принес человеку, у которого брал читать книжки, «Ссору» Гоголя, и на вопрос, как ему нравится этот рассказ, ответил:

— Чего тут понравится? Пустяки одни всё... Одно во всей книжке слово верное нашел...

— Это какое?

— А что скучно жить... Это верно... тут уж не поспоришь: нет никакой радости в жизни... очень тяжело жить человеку. В обрез всего... и хлеба, и земли, и хороших людей... всего хорошего в обрез дано, а дурным хоть все небо измажь, и то еще про всех останется...

В церковь он ходил только в большие праздники, пьян напивался «на храм», в пасху и на рождество и в тех редких случаях, когда вся деревня пила. Свою желтую и жилистую жену он никогда не бил, но говорил с ней не иначе, как строгим тоном начальника. Однажды, выпивши, он ей сказал, рассердившись на нее за ее упреки:

— Я те, дура, поговорю! Я вот бякну тебя по башке — ты и откусишь язык-то свой... Тогда ты уразумеешь, можешь, что я здесь не только для тебя — для всех хозяин. Кто в деревне всех умнее? Финоген Ильич Ремезов! Он тут по уму первый, как губернатор в городе... и ты это понимай!

Лохов, человек, выдавший виды на своем веку, сразу сообразил, что Финоген не даст ему свободы, что этот угрюмый мужик тоже птица хищная и умная и что нужно или крепко подружиться с ним, или ловко обойти его. Недель пять круглая и сытая фигурка Лохова, спешно семеня коротенькими ножками, каталась из избы в избу и, мигая глазами, зорко присматривалась ко всему и подробно выпрашивала у всех о том, что ему нужно было знать. В это время Лохов успел убедиться, что Финоген в деревне — сила, а Финоген следил за ним и, усмехаясь в бороду, говорил шабру своему Ефиму:

— Ишь, кружится... гнездо вить хочет!

Ефим, коренастый, голубоглазый и добродушный мужик с курчавыми волосами, кратко сказал:

— Намаялся...

— По облику этого не видно.

— Н-да, наружность у него сытая...

— Был он у тебя?

— Как же... Пришел третьеводни на гумно...

— Ну?

— Я, стало быть, молочу... Бог, говорит, на помочь... Спасибо, мол...

— Да ты говори дело. Мне ведь известно, что коли человек с человеком встретятся — так здороваются они.

— Да ведь какое дело у меня с ним?

— Что он говорил-то?

— Разное... Землю, говорит, товариществом покупаете? Да, собираемся, мол. Так, говорит. Меня, говорит, в компанию не возьмете?

— Ага! — сказал Финоген, двинув бровями.

— Да... меня, говорит, в компанию...

— Ну, а ты что ему на это?

— А я, значит, на тебя сослался... Финоген, мол, у нас этому делу голова, так ты уж к нему иди...

Финоген задумался, поглаживая бороду.

Разговор происходил в огороде, под развесистой ветлой. Шабры стояли друг против друга, разделенные плетнем: Ефим — облокотясь на него, а Финоген — прислонившись к стволу ветлы. Уже вечер наступал, и дул холодный осенний ветер, играя голыми ветвями дерева.

— Ты как думаешь насчет этого? — спросил Ефим.

— Я? я... так думаю: нацелились, к примеру, собаки на кость, нацелились и стоят, — не дается им кость-то. Вдруг к ним волк — примите, говорит, и меня в компанию...

Ефим засмеялся.

— Ловко это ты приравнял.

— Ну вот, видишь... Принимать волка в товарищи — нет резону, зверь жадный. Отогнать его... трудненько! Вот оно какое дело-то...

— В случае, ежели... добудет он земли себе — хозяйствовать, поди, ведь не станет? — спросил Ефим.

— Захотел! Трактир он откроет...

Шабры задумались и долго молчали. Ефим смотрел на гряды пред его глазами, а Финоген все гладил бороду и на нее глядел.

— Вот если бы с волка шкуру ободрать... — вдруг сказал он негромко, но твердо.

Ефим вопросительно взглянул на него.

— Как это?

— Н-не знаю... Как-нибудь, чай, можно...

— Мм... — недоверчиво промычал Ефим.

— Думал я уж насчет этого.

— Ну?

— Ничего... Дело такое, что большого требует ума... и дружбы тоже... Принять в компанию его можно. Деньгам у него надо быть... А нам бы деньги очень впору...

— Эх как! — вздохнул Ефим.

— И ежели его принять, так тогда задаток-то банку и был бы у нас полностью.

— Примем ин? — сказал Ефим просительно.

— Принять, говоришь? Тогда он сейчас тут корни и пустит... И трактир и лавочка явятся.

— Пущай его! — махнул рукой Ефим.

— Та-ак! Добрый ты...

— Да что? По крайности, земля у нас своя будет.

— И у него будет. А надо так, чтобы у нас было, а у него не было. Вот этак бы!..

— Ишь чего захотел!

— Трактир с лавочкой и мы с тобой открыть можем... Зачем же чужому человеку такое дело уступать? Ведь ты понимаешь, что, ежели трактир, стало быть, с заводов парни ходить будут, пьянство и порча девок начнется... Кто все это заведет? Чужой человек... Ведь вот мы с тобой всю эту историю можем устроить, а однако не завели. По какой причине?

— Кто ж ее знает? — сказал Ефим, потряхнув головой и улыбаясь. — По жалости нашей, надо полагать... — объяснил он, подумав.

— То есть как по жалости? — допытывался Финоген.

— Значит, жалеючи людей... сам ты говорил, что по-этому... по совести, стало быть...

Финоген посмотрел в лицо шабра суровым взглядом учителя на бестолкового ученика и объяснил ему:

— Не по жалости и не по совести, а говори — по разуму. Нам, которые есть способные, следует друг за друга держаться крепкими руками, и будем мы тогда как каменная стена... Всяк об нас лоб разобьет, ежели по сок-кровь к нам явится... Стало быть — не зорить мы друг друга должны, а помогать один другому. Не все помощи достойны... но которые способные... работающие, с умом в голове, — тех поддерживай! Ничего, кроме выгоды, тебе от этого не будет... Понял?

— Н-да... это конечно... — раздумчиво сказал Ефим. — Только строго очень уж...

— Как это — строго?

— Да... так! Не то, чтобы строго... а вот опять я тебе скажу, к примеру, Лёска... Разве он глупый мужик? Только что — пьет.

— Ну, так что — Лёска?

— Как его, говорю, не поддержишь иной раз! Хоша он и неспособный к работе, а разве без ума?

— Ну, ты его и поддерживай... он твой двоюродный.

— Да не в том сила, что двоюродный...

— Ты мне вот что скажи: ты ему помогал?

— Мало ли!

— Ну, а помог?

Ефим вздохнул и, усмехаясь, почесал грудь.

— Поможешь ему, чорту...

— А будешь помогать? — допрашивал Финоген.

— Больше не буду! Ну его... — И Ефим безнадежно махнул рукой.

— Это ты врешь, — будешь и еще! И хлеба ты ему дашь, и овцу, и прочее...

— Да ведь как не дашь!.. — почти с отчаянием сказал Ефим, сплевывая в сторону.

— Ну, то-то вот! А какая ему от того польза? И тебе тоже — какая? Выходит, брат, у нас от этого одна бестолочь. Сволочь всякую мы нянчим, а хорошего, нужного человека не умеем беречь. Говорил я вам тогда насчет хромого Пашки, Савёлычева сына: «Эй, мужики! выделите ему клоч земли, сгношите избенку... отблагодарит он!» А вы заартачились: то да се... Ну, и вот — он теперь, в Анкудиновой живучи, и слесарит, и кузнечит, и ребят учит грамоте... да вон еще корзины плести выучил... Пользу от него имеют анкудиновцы али нет?

— Н-да, тут мы проштрафилась, Финоген Ильич... Это ты тогда верно говорил. Насчет ребят-то вот плохо... ну-ка иди на завод, ломай четыре версты... Совсем даром мерзнут... С Пашкой мы обмишулились... жа-аль!

И Ефим даже чмокнул губами как-то особенно...

— Мужик, Ефимушка, прежде всего надо ум иметь при себе... без ума мужику никак невозможно жить на земле! — сказал Финоген, тяжело вздыхая.

Постояв еще с минуту друг против друга, шабры разошлись. Ефим отправился в угол своего огорода и стал там крепить плетень; а Финоген вдумчиво посмотрел вслед ему, качнул головой и пошел к избе широкими, твердыми шагами.

А в избе Лёски Киликина происходил другой разговор. Худенький, остробородый Лёска сидел за столом против Лохова; на столе красовалась бутылка водки, чашка квашеной капусты и большой обломанный кусок ржаного хлеба. В избе было темно, но мягкие покровы тьмы не скрывали ни истоптанного пола с широкими щелями между половиц, ни закопченных кривых стен. Потолок над головами собеседников провис и был подперт двумя жердями; пол прогнулся под тяжелой грудой избитой, полуразвалившейся печи.

Три маленьких квадратных окна смотрели внутрь избы, как три глаза, — холодные и мутные, они были тупо печальны.

Тяжелый запах гнили наполнял эту нору, и хриплый голос Лёски скрипел в ней каким-то деревянным звуком.

— Для мужика первое дело — смелость во всем. Который мужик трусоват, тому ходу нет. Я вот не имею этой самой смелости и живу так, как положено мне... Ни о чем я не могу постараться, потому знаю — толку не будет, что я ни делай... Духу нет у меня... а человек, который без духу, — разве человек?

Лёска налил водки в чайную чашку и медленно высосал ее.

— Ну, так как же Финоген-то? Значит, слушают его? — спросил Лохов, задумчиво барабанил пальцами по столу.

— Финоген, первое дело, — смелый мужик. Он, коли не так, так эдак... он всегда находит себе выручку... Он раз как-то по весне приехал из города... была у него десятина под яровое вспахана... и вдруг он горчицу сеет. Ведь ежели подумать — зачем горчица? Куда ее? А он уж ее заранее пристроил к месту... и ба-альшие деньги взял! Горчица — она пища барская, — ему, может, тыщу рублей за нее отсыпали!

— Ну, а так, вообще-то... выжигает он? — спросил Лохов, подумав.

— У-у! — скорчив страшную рожу, завыл Лёска. — Он, брат, не смотри, что такой облом: он всякому без мыла в душу влезет... так-таки и вопреется в самую твою суть, как гнет в кадушку с капустой. Позапрошлый раз приезжал земский, так и тот... в первую голову — Финогена позвать сюда! Дураки, говорит, вы все. Явился Финоген... и, как он явился, — земский сейчас же все понимать начал...

Лёска еще налил себе водки и снова высосал из чашки, как голодный ребенок молоко из соски. Лохов посмотрел на него, на пустую бутылку и, поднявшись с лавки, сказал:

— До свиданья!

— Прощевай! Ну, а как же трактир, слышь, строим? — спросил Лёска, глупо оскалив зубы.

— Об этом еще надо подумать... — солидно сказал Лохов и вышел из избы.

На улице было сыро и холодно. Уже надвигалась темная ночь осени. Кое-где в избах мелькали огни, бросая на дорогу светлые полосы. Тоскливо выла собака; ветви деревьев уныло шелестели... Со всех сторон окруженные тяжелой тьмой, избы беспомощно жались друг к другу, искривленные, пошатнувшиеся; солому на их крышах взъерошил ветер, и они казались объатыми непобедимым страхом.

И на душе у Лохова было темно, тоскливо и тяжело. Он чувствовал себя одиноким во тьме среди этих жалких жилищ и чего-то боялся.

«Труда положишь тут много... а толку выйдет мало...» — думалось ему. И, глядя на избы, он соображал: «Не очень разживешься около их... Заводы только... Н-да... заводы статья важная... Ради заводов можно и поломаться: они выручат... Финка... вот он — камень на дороге! А не пойти ли мне напрямки в этом разе?»

С такой мыслью он вошел в избу Финогена. Угрюмый грамотей был один в избе и, сидя за столом, читал книжку, но при виде Лохова остановился и стал испытующе смотреть, как он раздевается.

— Читаете, Финоген Ильич? — спросил Лохов.

— Читаем... Где погулял?

— Да все по деревне... был у разных народов... — сказал Лохов, подходя к столу и усаживаясь против Финогена. — Про что написана книжка-то?

— Про японцев...

— Слышал. Есть такие люди, точно...

— Н-да, разные люди имеются на земле.

— Запомнил я, где они живут, японцы-то?

— А там... За Сибирью... — объяснил Финоген, махнув рукой на дверь.

Он любил разговаривать о книжках и показывать себя знающим человеком.

— В холодах, значит... — задумчиво сказал Лохов, исподлобья рассматривая лицо Финогена.

— Зачем в холодах? Там есть и теплые места... холода — это выше... к самому краю, а японцы — они осели ниже.

— Это к какому же краю?

— А на земной карте... Холода вверху карты, а внизу... нет, в середине, — тут теплые места...

— Вон ведь как! Интересно, значит?

— Ничего... хорошо жить умеют...

— С-скажите! А ведь не русские!

Финоген помолчал, погладил бороду и сказал, сурово усмехаясь:

— Я так полагаю, что только одни не-русские и умеют хорошо жить. Нам чего-то не задается... не хватает у нас... разума, что ли то...

Лохов вздохнул и не сказал ни слова.

— А где Варвара Тимофеевна? — через минуту спросил он, оглянув избу.

— На завод пошла с ребяташками... к сестре.

— На ночевую, что ли?

— Да... а что? Ужинать охота?

— Н-нет, я так... из любопытства спросил...

И, взглянув друг на друга, они снова оба замолчали. Финоген наклонил голову над книгой, но глаза его незаметно следили за Лоховым, и его могучая фигура, согнутая над столом, казалась напряженной, готовой к хищному прыжку. А глаза Лохова беспокойно бегали по избе и тоже поминутно и как бы невольно скользили по большой голове ее хозяина и по его широким плечам. На столе пред ним горела, потрескивая, жестяная лампа. С полатей свесилась какая-то одежда, и от нее на дверь упала огромная уродливая черная тень. Ветер глухо шумел

в трубе, где-то тихо-тихо шелестела солома, донёбился вой собаки... напряжённая тишина в избе становилась такой же мрачной, как эта черная тень на двери. А двое людей все молчали, неподвижно сидя друг против друга и незаметно выпытывая глазами мысли один у другого.

Лохов первый не выдержал и, шумно вздохнув, сказал, беспокожно завертевшись на скамье:

— Финоген Ильич!..

— Ась? — откликнулся Финоген и, неторопливо подняв голову, пристально уставился глазами в лицо гостя.

Тот повернул голову в сторону от его взгляда и поправил ворот своего глухого жилета, потом тоже прямо взглянул в глаза Финогена своими мигающими глазами и веско выговорил:

— Хочу я с тобой поговорить по откровенности... как, стало быть, с... с умным мужиком.

— Валяй! — кратко сказал Финоген и взялся за бороду.

Лохов откашлялся, потер руками грудь и, плотнее усевшись на лавке, заговорил тихим и вразумительным голосом:

— Познакомившись со здешними народами, вижу я, Финоген Ильич, что... попросту сказать, ты здесь — как пырин промежду кур...

Финоген молча взглянул на собеседника и солидно погладил свою бороду.

— Ну... вот я и думаю: неужто тебе такая бедная судьба по душе?

— Ты вот что... — спокойно сказал Финоген, — ты шагай прямо... До судьбы моей какое тебе дело?

— Нет, ты по-озволь... — сказал Лохов, склонив голову набок и сделав в воздухе рукой жест, которым он как бы отстранял от себя слова Финогена.

— Чего мне позволять? Я разговору не люблю.. И коли есть у тебя ко мне дело, ты и должен говорить о деле.

Лохов замигал глазами и задумался.

— Всегда обо всем надо прямо говорить, — предложил Финоген и, подняв рукой бороду кверху, закрыл ею усмешку на своих губах.

— Мое дело такое: приехал я сюда и вижу — от деревни я отвык...

— Н-да...

— Хожу, вроде как в лесу... одиноко мне, приятельства у меня здесь нет никакого...

— Н-да...

— А хочется мне... приладиться к какой-нибудь эдакой операции... Ежели говорить по душе — деньги у меня есть... сот семь...

— А тысяч сколько?

— Хе-хе-хе! Ты-исяч!.. Да кабы у меня тысячи были, я бы разве сюда полез?..

— Стало быть, здесь их найти думаешь? — спросил Финоген.

Лохов сконфузился, его серые глазки замигали робко и беспомощно, и он поводил плечами, точно от холода. А Финоген смотрел на него, сдвинув брови, и в его суровом взгляде было что-то решительное.

— На что мне тысячи? — заговорил Лохов, торопясь и раздражительно потирая рукой свою бритую щеку. — Мне бы устроить себя... покой мне нужен... лета того требуют. Тоже ведь у меня кость-то ломаная... Я бы вот начал какое-нибудь дельце, да и женился бы... и жил бы себе смирно! А ты мне... ты...

— Эх, Матвей, Матвей! — вздохнул суровый мужик. — Мелко ты плаваешь...

— То есть как? — встрепнулся Лохов.

— Да так. Видать тебя... понятно уж очень всякому, к чему ты направляешь себя...

— Я человек открытый... — смиренно заявил Лохов.

— То-то что открытый...

— Так и следует...

— Мм... не для всякого дела тоже... — сказал Финоген, качнув головой.

Лохов снова завертелся на скамье, точно ощущая зуд во всех членах.

— Желаешь, Матвей, чтобы я с тобой по правде говорил? — сказал Финоген Ильич.

— Я? то есть... вот бы хорошо! Сразу уж бы... А то что у нас за разговор? Ходим это мы вокруг да около...

И Лохов безнадежно махнул рукой.

— Спать только хочется мне... Ну, да это я могу подождать... сначала попытаюсь разрешить тебя.

Финоген беззвучно смеялся, и лицо у него было довольное, почти ласковое.

— Н-ну? — торопил его Лохов.

— Ты уезжай отсюда... — спокойно начал Финоген.

— Зачем? — вполголоса и с боязнью спросил Лохов.

— Я тебя вразумлю зачем... Первое дело — человек ты по здешнему месту мелкий... неспособный, бесполезный для себя человек. Хоша и есть у тебя деньги, а деньги для иного человека все равно, что ум: есть деньги да смелость — и ума ему не надо, без ума хорошо проживет. Но только здесь есть люди больше тебя способные и умные... без таких денег, как у тебя... но большой дерзости люди...

— Ты, что ли? — спросил Лохов, искривив губы.

— Слушай, да не перебивай... Смелости у тебя тоже нет. Суди сам: коли бы было у тебя в голове свое, то ты и один бы с твоей задачей справился... а не ходил бы к другим по указку. Понял?

— Это действительно... — вздохнул Лохов.

— Вот... Я тебе говорю: здесь есть свои медведи... ты пришел, — они тебе облюбованного куска не уступят. На что? Каждый сам свою долю добывает! Теперь будем говорить к примеру, как ты думал. Думал ты так: войдешь ты к нам в компанию, купишь с нами землю. Земля как раз тебе впору — промежду деревней и заводом... Мы тебя, пожалуй, приняли бы... Что же? У нас вон не хватает задатку для банка, — вот бы твоими деньгами и пополнили... н-да-а... И было бы это для нас хорошо... да видишь ты, для тебя-то это больно уж хорошо, и потому нам невыгодно.

— Мудрено говоришь... — сказал Лохов, враждебно поглядывая на Финогена.

— Нам это невыгодно... — продолжал Финоген спокойно. — Откроешь ты трактир и начнешь кулачить и так и сяк. Пойдет от того большой грех... озлобятся против тебя все... Да, пожалуй, сожгут еще... а то и хуже бывает.

Лохов отодвинулся от стола и привстал с лавки, взявшись рукой за левый бок. Глаза у него стали круглые, а губы плотно сжались.

— Народ у нас злой, дерзкий на руку. Вон Кошелева

ухлопали за его жадность... и кто? Неизвестно! Третий год делу, но никого не нашли.

Лохов грузно опустился на свое место и, прислонясь к стене, потрогал себя за усы.

— Нас вот теперь двое... — медленно и глухо говорил Финоген, хмурым взглядом рассматривая серое лицо Лохова. — Двое нас... Ночь... Никто нас не слышит... никто не видит...

— Вся деревня знает, что я у... у тебя... — тихо сказал Лохов, не глядя на Финогена и все держась рукой за левый бок.

— Известно, знает... — повысил голос мужик. — А ты это к чему?

— Так... я просто...

— То-то, мол...

Финоген внушительно передернул плечами и помолчал.

— Так вот я говорю: нас теперь двое, мол, ночь, никто нас не видит, не слышит... Стало быть, я могу... — тут Финоген остановился и опять помолчал, внимательно разглядывая Лохова, — ...говорить с тобой без опаски... — закончил он свою речь.

— Говори, говори... — торопливо сказал Лохов.

— И скажу я тебе прямо — плох ты. На большое дело, на способных людей ты не годишься... Здесь ты не охотник, а лиса. И следует тебе такое место найти для себя, где бы ты сам был охотником, — понял?

Лохов кивнул головой.

— Понял, что тебе здесь не место?

— Понял! — твердо сказал Лохов.

— Ну, стало быть, и не лезь на рожон...

— Да... надо подумать...

— Подумай... А теперь давай-ка спать... пора! Скоро, чай, петухи запоят...

Финоген поднялся из-за стола, поставил ногу на лавку и стал разувать ее, медленно раскутывая оборы лаптей. Лохов следил за ним и молчал, дергая рукой себя за усы. Потом Финоген смачно и громко зевнул, перекрестил рот, взглянул на образ и стал, широко размахивая рукой, крестить грудь. Лохов начал раздеваться уже тогда, когда Финоген залез на полати и сказал ему оттуда:

— Будешь ложиться, лампу-то потуши.

Скоро и Лохов забрался на печь; но ему не спалось. В избе было темно. В окна ее с улицы смотрело что-то жуткое, холодное. На полотах громко и ровно дышал Финоген, и порой он всхрапывал, сердито так... Караульщик где-то далеко бил в доску, и в тишине ночной разносились гулкие, пугающие звуки. Дрема смыкала глаза Лохова, но он вдруг вспоминал что-то и спугивал ее. Тогда, приподняв голову, он осторожно заглядывал на полати и, убедившись, что Финоген крепко спит, снова дремал... И снова вздрагивал от боязни...

«А ведь он верно говорил, — думалось ему в тишине. — Слаб я еще... О господи! Как трудно жить-то! Н-да... Слаб я... боюсь вот... чего боюсь? Страшает.. сам, значит, наметил это место. О... господи!.. Его мне... не одолеть...»

Поболтался Лохов в деревне еще дней десять после этого разговора и однажды, придя откуда-то с улицы в избу Финогена, объявил ему:

- Завтра еду...
- Куда? — равнодушно спросил Финоген.
- В город... прочь, стало быть...
- Та-ак...
- Не понравилось у нас? — осведомилась Варвара.
- Отвык... все-таки, знаете, деревня...
- Известно уж... В городе вам способнее...
- Сказано: большому кораблю — большое и плавание... — невозмутимо равнодушно заметил Финоген.

Лохов взглянул на него и поджал губы.

Рано утром на другой день он запряг свою пегую лошадку в тележку и начал прощаться с Финогеном и его шабром Ефимом, который, с вечера осведомленный об отъезде Лохова, тоже пришел проводить его и, позевывая, сонный и нечесаный, сидел на лавке, упершись в нее руками.

— Ну, стало быть, мы с вами, Финоген Ильич, за прокорм, квартиру в расчете?

— Ровно бы так... — сказал Финоген.

— Значит, спасибо за хлеб-соль, за ласку...

— Не на чем.

— Какая уж наша хлеб-соль? — со вздохом сказала Варвара.

Ефим зевнул и объявил:

— Деревенский хлеб — он самый святой на земле...

— Свят-то он свят, да не так, чтобы скусен... — встал Финоген, почесывая спину.

Лохов подпоясывал тулуп кушаком и молчал. Подпоясавшись, он взял в руку шапку, перекрестился и, поклонившись всем, молвил:

— Прощайте!

— С богом! — в один голос ответили Варвара и Ефим, а Финоген молча поклонился.

И все четверо пошли вон из избы. Финоген отворил ворота. Лохов ввалился в тележку, повозился в ней и, взяв вожжи в руку, снова сказал, сняв шапку и тряхнув головой:

— Прощайте! Н-но!

Пегая лошадка пошла...

Провожатые вышли за ворота и стали смотреть вслед тележке, прыгавшей по замерзшим кочкам грязи, кое-где покрытым снегом. Предрассветный сумрак окутал деревню каким-то призрачным туманом, и тележка Лохова быстро скрывалась в нем.

— Дорога, избави бог, плоха! — сказал Ефим, качая головой.

— Да, попрыгает он двадцать семь верст... — заметила Варвара и ушла в избу.

Финоген взглянул на нее, говоря Ефиму:

— Идем ко мне, — чаем напою...

— Идем...

В избе Варвара, возившаяся у печи с самоваром и освещенная огнем, пылавшим в печи, встретила их вопросом:

— Уехал?

Точно она этого не знала.

— Укатил! — сказал Ефим.

— Н-да-а! отвалился... — задумчиво протянул Финоген. — Плох он... очень он плох! Другой бы... э-э-э! Так бы это он оборудовал свои дела... что нам бы одно осталось — кричи караул!

— Напрасно ты, по-моему, его застращал... — сказал Ефим. — Что пугать человека? То невыгодно, другое негодно... пусть бы он сам попробовал... А нам он человек полезный... в банк-от бы и тово...

— Ну, что вышло, то и вышло. А у нас ему учиться жить — не место. Мы не для него... Плох потому что.

— погоди! Доживешь, может, и до хорошего какого... — пригрозила Варвара. — Подползет да и прицепится... как вон Фомичев в Кузнечихе.

— Это еще улита-то едет, — когда-то она будет!.. — задумчиво сказал Финоген.

— А никого он здесь не расположил к себе!.. — заметил Ефим.

— Кроме Лёски твоего...

Ефим засмеялся.

— Лёске он был друг...

— Вот такой ворон, как Мотыка этот, и начал бы со стервятины вроде Лёски... А на ней отъевшись, и нас, грешных, стал бы долбить помаленьку да не торопясь.

— Оно, пожалуй, так.

— То-то...

— Финоген Ильич, пригляди за самоваром-то, а я пойду творогу принесу да сочней спеку... — попросила Варвара мужа.

— Али у тебя хлеба ныне? — спросил Ефим.

— Хлебы... — ответила женщина, уходя из избы.

— Н-да... семь, говорит, сот у меня... — задумчиво говорил Финоген, сидя на лавке против печи и пристально глядя на огонь. — Врет, надо быть, больше имеет... Мне бы хоть эти самые семь сот... Ну и повернулся бы я с ними! Эхе-хе! Зимой бы у меня мак зацвел... А он что? Дурак!..

— Видно, бог дураков-то больше любит... — сказал Ефим.

— Э-эхма!

Освещенное огнем угрюмое лицо Финогена дрогнуло, и в голубых глазах его блеснула на миг темная грусть...

ГОЛОДНЫЕ

С натуры

Пришлось мне недавно поехать верст за сто вниз по Волге, и на обратном пути видел я голодающих. Они хлынули на наш пароход с одной из пристаней; их было около сотни, всё больше старики, старухи, бабы с грудными ребятами на руках и дети, — много детей! Тут были все возрасты — от недельного ребенка до десятилетних парнишек, желтоволосых, чумазных, с острыми рожицами, обтянутыми бескровной серой кожей. Цепляясь за подола матерей и бабушек, они молча сбегали по сходням на пароход и, очутившись на просторной, чистой палубе, останавливались и смотрели вокруг широко раскрытыми, серьезными глазками. Взрослые крепстились.

С утра весь день шел дождь, и все эти большие и маленькие, но одинаково беспомощные люди были перепачканы в глине, облепившей их ноги, лохмотья и пустые котомки.

— Проходи на корму! В четвертый класс иди! — командовали им матросы.

И они тяжело двинулись по указанному направлению, молчаливые и сосредоточенные в своем горе.

— Откуда вы? — спросил их кто-то из пассажиров.

— Из-за Пьяны...

— Куда едете?

- Сбирать...
- По миру...
- Не подают в наших-то местах...
- Трое суток шли вот...
- Которые в город поедут, которые в Лысково...

Голоса — надорванные и глухие, на иных лицах стыд и смущение, большинство равнодушно и тупо; две-три рожи испорчены противными минами ханжества, и это как раз самые сытые и плотные фигуры в общей массе усталых, тощих, ободранных людей с подведенными животами и растерянными взглядами.

На нарах четвертого класса все места заняты, и, свесив оттуда головы, публика, тоже не особенно сытая, молча смотрит на палубу, посреди которой располагаются новые пассажиры. Высокий, бородатый, угрюмый мужик в худом армяке и в лаптях роется в пещуре, достает краюху черствого пшеничного хлеба и протягивает вниз бабе, закачивающей на руках плачущего ребенка:

- Пожуй да дай ему...
- Спаси Христос!

Она жадно ломает зубами хлеб, торопливо жует его и... проглатывает.

— А ты ребенку-то сначала дай, — укоризненно говорит старик.

— Дам, родной, дам, — сконфуженно говорит баба, снова жует и, вытащив пальцем из своего рта жвачку, отправляет ее в рот ребенка.

Ребенок присасывается к ее пальцу, раскрывает глаза, закрывает их и урчит... Это, знаете, странный такой голодный звук маленького животного, которое долго хотело есть и вот ест, наконец, — ест и радо всеми фибрами своего тела.

Рядом с бабой сидит на палубе, поджав колени, маленький старичок с красными больными глазами. Он поднимает голову к подавшему хлеб и, указывая на бабу, говорит:

- Дочь моя... со внуком.
- Так, — отвечает старик с нар.
- А вы кто будете? — допрашивает дед, ласково моргая глазами.
- Плотники...

— Издалече?

— С Васильсурского...

— А как там?

С нар несетя тяжкий вздох.

— Везде одинако истощала почва земли.

...В другом месте голодающих окружили матросы и сумрачно слушают рассказ бойкой бабы, обвешанной четьрьмя детьми мал мала меньше.

— И вот, судари мои, как пришло нам совсем уж неволю, и надумали мы всей деревней в кусочки пойти... Большаки же у нас кто куда по работу разбрелись, а мы вот собрали ребятишек, да и пошли: авось, мол, бог да добрые люди прокормят кое-как...

— Твои всё ребята-то? — спрашивает один из матросов.

— Не-е... двое-то, вот эти, мои... а эти двое — сестрицы... Она приспособилась у меня на лесопильню в стряпухи, а ребятишек-то мне сдала... Вот я с ними и пустилась... авось, господь помилует!

— Трудно с четьрьмя-то?..

— Да ведь что поделаешь!.. Терпеть надо...

...Около машины — группа детей. Они смотрят, привстав на цыпочки, в стекла и переговариваются.

— Ишь, как ворочат! — говорит один.

— А масло-то... так и капаит!..

Один из них увлечен работой машины и, серьезный, с надутыми щеками, должно быть, невольно подражает движению поршней, тыкая в воздух худыми кулачками. Быстро подходит еще один маленький и чумазый человек, босой, в рваной ситцевой рубашке. Он дергает товарищей за одежду и вполголоса, торопливо, с горящими глазами говорит:

— Братцы! Вон там стряпают повары — целых три... бе-елые... говядины у них — страсть сколько!

— Подем поглядим...

— Прогонят, — нерешительно возражают ему.

— Ничего! Айда!

И, топая по палубе ножонками, покрытыми грязной корой, они идут прочь от машины, смотреть на говядину, которой «страсть сколько!»

...Мужик, высокий и худой, в бабьей кацавейке и

в лохматой шапке на голове, стоя в группе пассажиров, рассказывает, умно и сконфуженно улыбаясь:

— Решились... потому что других ходов нету нам, кроме как по миру. Повздевали на себя что похуже, для жалости, стало быть, да и пошли...

— Пойдешь, ежели выжимает из деревни-то!

— Пошли... думаем, все-таки на людях...

— Конечно... человек человеку должен помочь...

Кое-кто из пассажиров третьего класса делится с ребяташками хлебом; какая-то женщина в красном платье и с нахальным лицом взяла себе на руки беловолосую девочку лет двух и поит ее молоком из бутылки. Человек в длинном черном кафтане, в шляпе и с длинными волосами, обрамляющими постное лицо, — очевидно, начетчик-старообрядец, — ломает колобашку на равные куски, а его окружили ребяташки и жадными глазами измеряют доли хлеба.

...На пароходе стон стоит... Плачут голодные дети у груди голодных матерей; матери поют и шипят, успокаивая их; всюду раздаются медленные, нескладные речи, прерываемые вздохами, и все это, сливаясь с глухим гулом машины, образует скорбный шум, от которого в голове и на сердце становится тяжело и больно...

— Матрос-от подошел с решетом, а повар-то почерпнул из котла говядины — большущей такой ложкой! — и вывалил ему в решето, — раздается захлебывающийся от волнения детский голос.

— Много?

— Ужаси!

— Пять фунтов?

— Бо-ольше!

— Нам бы...

Это — детские грезы.

...Эх! «Истощала почва земли!..»

СИРОТА

В туманный и дождливый день у ворот кладбища маленькая группа людей, стоя в луже грязи, торговалась с извозчиками.

— Пятиалтынный! — густым басом восклицал высокий и тучный священник в ответ на дружные крики извозчиков, просивших по четвертаку.

— Ах, какие вы бесстыжие! — укоряла их одна из четырех женщин, окружавших священника. Одна держала зонт над его головой и сама плотно жалась к его боку, стараясь укрыться от дождя, мелкого, как пыль.

— Погоди, мать, не толкайся! — говорил священник, внушительно приподнимая кверху правую руку. — Ну, за пятиалтынный везете?

— Ах, какие вы жадные! — огорченно восклицала матушка, нетерпеливо переступая по грязи с ноги на ногу. На ее худом лице с большими круглыми глазами пылало негодование, и она, высоко подобрав свою юбку, так нетерпеливо дергала ее, точно хотела бежать.

— Далеко ли тут? — говорила она, убедительно качая головой. — Вы подумайте — далеко ли?

Но извозчики не хотели думать. Ожесточенно дергая вожжами и раскачиваясь на козлах, они кричали, перебывая друг друга:

— Помилуйте, батюшка! Не торгуйтесь, матушка! Пожалуйте! Притом же — за упокой души...

Дьякон, псаломщик с крестом в руках и еще три женщины, укутанные в большие платки, тоже возмущались жадностью извозчиков и ревностно поддерживали оживление торга. Они очень шумели пред входом в обитель вечного покоя, и холодный ветер, точно желая скорее прогнать их, сбрасывал им на плечи крупные капли дождя с ветвей берез и лип, уныло осенявших каменную ограду кладбища...

Нищие, в грязных и мокрых лохмотьях, окружали этих людей и, разбрызгивая грязь своей тяжелой обувью, болезненно и назойливо ныли:

— Подайте Христа-а ра-ади...

— Копеечку за упокой ее душеньки — пода-айте!

— Поминаючи усопшую...

— Фу, какие ненасытные! — кричала матушка, высовывая голову из-под зонта. — Да ведь вам уже подали... ведь получили вы по баранке... Ай-я-яй! Как вам не стыдно!

Понуро опустив головы, четыре лошади вздрагивали, стряхивая с себя воду, и покорными глазами косились на своих хозяев, ожидая привычного окрика или удара кнутом.

— Батюшка! — решительно воскликнул один извозчик, — желаете поехать за двугривенный?

— Пятиалтынный... — отрицательно качнул головой батюшка.

— Боже мой, какие...

Но прежде чем попадья кончила начатый упрек, извозчик озлобленно хлестнул лошадь кнутом и поехал прочь. Другие извозчики тоже задержали вожжами...

— Ну, ладно! Ну — давай! — махнул рукой священник. — За двугривенный — давай! Садись, мать, на этого... полезай, отец дьякон! Садитесь все... Пошел с богом!.. Стой, стой! А где... внук?

— Ай матушки! Где он? — пугливо воскликнула попадья.

— Извозчик, стой! Отец дьякон, а? Бабы, вы как же это? чего вы смотрите? — строго спрашивал священник.

Женщины, уже сидевшие на пролетках, стали слезать в грязь, растерянно бормоча что-то.

— Экий какой... шельмец! — угрюмо ворчал дьякон, тоже спрыгивая с пролетки. — У могилы остался, видно... Вы, отец Яков, поезжайте, не беспокойтесь, а я с Кириллом останусь... мы привезем мальчонку...

И, подобрав рясу, дьякон пошел к воротам кладбища, внимательно глядя себе под ноги.

— Да, да — как же? — говорил священник, усаживаясь на пролетке и следя, чтоб широкие одежды его не попали в колесо. — Надо его найти... он мне поручен... и прочее такое! Извозчик, трогай! На могиле, отец дьякон, ищи его... на могиле!

Две пролетки с дребезгом поехали. На передней сидел священник с женой, на второй — три женщины, а третья со псаломщиком осталась у ворот. Псаломщик поставил большой крест себе в ноги, обнял его руками, прижал к груди, а потом засунул руки в рукава пальто и наклонил голову на левое плечо, чтоб защититься от дождя щеку. Нищие исчезли как-то вдруг, точно грязь поглотила их и они растворились в ней.

— Вот торговались, небойсь... а теперь я стой и дожидайся чего-то... — сказал извозчик, глядя вслед уехавшим. Псаломщик, тоже недовольный этим ожиданием под дождем, промолчал.

— Кого потеряли-то? — подождав, спросил извозчик.

— А тебе что?

— Мне-то? А ничего... только вот — жду я...

— И подождешь! — хмуро сказал псаломщик.

— Известно — подожду... Однако у старухи-то, у покойной, слышь, деньги были...

— Ну?

— Кому же это она их определила?

— Не тебе...

— Известно, не мне... Кабы мне — я бы и не спрашивал... а я спрашиваю — на церковь, мол, или как?

— На воспитание ее внука священнику нашему, — сообщил псаломщик, ежась от дождя, попадавшего ему за воротник пальто.

— Та-ак! — сказал извозчик. Потом он спросил, велик ли внук и сколько осталось денег, но псаломщик уже не отвечал ему.

— Стало быть, невелик он, внук-то, коли некуда его девать, кроме как на воспитание, — вслух умозаклучил извозчик. Его лошадь взмахнула хвостом — он обругал ее, ударил вожжами и умолк. Дождь сыпался беззвучно, а голые и мокрые ветви деревьев, качаясь под ударами ветра, вздыхали и стонали.

А на кладбище, под одним из бесчисленных крестов его, стоял маленький мальчик с лицом, распухшим от слез. Он съежился в черный комок и молча смотрел на бугор земли пред ним, — свежий, только что утрамбованный лопатами бугор мокрой глины. Часто с вершины бугра, бесшумно скользя по его боку, сползал к ногам мальчика комок земли. Мальчик следил за его движением светлыми и печальными глазами и вздыхал тихонько. В одном углу кладбища хоронили бедных, тут не было ни одного памятника из камня, не было и деревьев вокруг мальчика; стояли только одни деревянные, простые черные, зеленые, белые, неокрашенные, гнилые и искривленные кресты, — все мокрые от дождя и красноречивые в своем торжественном молчании. Мальчик стоял, прислонясь к большому черному кресту, упорно смотрел на новую могилу и не видел ничего, кроме этого мокрого коричневого бугра, таявшего под дождем.

На черном мохнатом пальто мальчика осели мелкие серебристые капельки дождя, и тоскливое лицо его тоже было мокро. Он держал руки в карманах и голову склонил на грудь. Из-под круглой шапки выбилась прядь рыжеватых волос и прилипла к его правому виску. И, одинокий среди множества крестов, символов страдания, он своим белым и печальным личиком тронул сердце дьякона, подошедшего к нему с раздражением за прогулку среди могил по грязи и под дождем.

— Ну, чего же ты стоишь тут, Петрунька? — сказал дьякон, взяв его за руку. — А мы тебя ищем... все уже уехали. Пойдем...

— Куда? — тихо спросил мальчик.

— К отцу Якову... ты у него жить будешь теперь... ты не плачь... это воля божия. Господь может прогневаться на тебя за слезы твои... И опять же — ведь она старая была у тебя, бабушка-то, а все люди — смертны. Все умрут в час свой... и я и ты — все умрут!

Он вел мальчика за руку и следил за тем, чтоб не потерять своих калош в грязи. Он хотел говорить ласково, но говорил озабоченно, потому что боязнь потерять калоши мешала ему быть ласковым с сиротой. Мальчик закусил губу, удерживая рыдания, разбуженные угрюмыми словами, и почти бежал за дьяконом, шагавшим широко и быстро.

— Ничего! — сказал дьякон, мельком взглянув в его лицо. — Отец Яков — хороший человек... ты будешь играть с Мишуткой и Зоей... заживешь весело... да!

Мальчик представил себе Зою, смуглую и бойкую девочку с черными глазами. Она прыгает пред ним, показывая ему нос, и дразнит его, распевая злым голосом:

— «Рыжий от грыжи, рыжий от пропажи, рыжий свечи зажигать, рыжий трубы затыкать...»

— Я не люблю Зою... — печально сказал он.

— Ну, это пустяки!.. Полюбишь, в одной комнате жить-то будете...

— Я не буду...

— А... нельзя этого...

Мальчик тихо заплакал.

— Эх ты... сиротина! — вздохнул дьякон, глядя на него.

Когда дошли до извозчика, дьякон заботливо усадил его в ноги псаломщику и поощрительно сказал:

— Сиди крепче!.. Приедем — чай будем пить...

— Ну-у, жаба! — крикнул извозчик на лошадь. Пролетка запрыгала по мостовой сквозь серую завесу дождя и тумана. Из тумана выдвигались дома, и казалось — они тихо и молчаливо плывут куда-то, оглядывая мальчика большими и бесцветными глазами. В груди мальчика было холодно и тесно для сердца.

В СОЧЕЛЬНИК

...Как-то раз я сидел в кабачке с неким человеком и скуки ради уговаривал его рассказать мне какую-нибудь историйку из его жизни. Собеседник мой был субъект невероятно изодранный и истертый, казалось, что он всю жизнь свою шел какими-то тесными местами и всюду задевал своим телом, вследствие чего костюм на нем превратился в лохмотья, а тело куда-то исчезло, как будто его сорвало с костей. Был этот человек тонок, угловат и совершенно лыс, — на желтом его черепе не росло ни одного волоса. Щеки у него провалились, скулы торчали двумя острыми углами, и кожа на них была так туго натянута, что даже лоснилась, тогда как всюду на лице она была сплошь изрезана тонкими морщинами. Но глаза у него смотрели бойко и умно; хрящеватый длинный нос то и дело насмешливо вздрагивал, и речь этого человека очень гладко лилась из его уст, полузакрытых жесткими и рыжими усами. Мне думалось, что жизнь его была очень интересна.

— Рассказать вам историю мою? — спросил он меня сиповатым голосом. — Так-с... Надо рассказать, коли вы угощаете... Но ежели всю историю — это не годится... чрезмерной длины жизнь я прожил!.. Скучно слушать и невесело рассказывать... А вот кусочек, анекдотец какой-нибудь могу! Желаете? Хорошо-с! Но только вы спросите еще парочку пивка... за труды мне. Ведь иной раз для

человека опуститься в свое прошлое, может быть, столько же неприятно, как в помойную яму слазить...

— ...Рассказишко этот, сударь вы мой, едва ли покажется вам значительным и для вашей писательской цели пригодным. Но для меня он... мне он нравится. Дело, извольте видеть, весьма простое и вот в чем заключается.

Однажды в сочельник рождественский мы — я и мой товарищ Яшка Сизов — целый день торчали на улице. Мы предлагали свои услуги разным барыням по части переноски их покупок. Но барыни, нам не внимая, садились на извозчиков и уезжали, — из чего вы видите, что нам с Яшкой совсем не везло. Мы также просили милостыню и этим способом настреляли немножко; я — двадцать девять копеек, из которых гривенник, данный мне каким-то барином на крыльце окружного суда, оказался фальшивым, а Яшка, — парень вообще более талантливый, чем я, — к вечеру был настоящим богачом — у него было одиннадцать рублей семьдесят шесть копеек. Эту сумму, по его словам, сразу дала ему какая-то барыня, причем она, барыня-то, была так великодушна и добра, что подарила Яшке не только деньги, а и кошелек и даже носовой платок прибавила. Это, знаете, бывает. Иногда человек в такое состояние от доброты приходит, что становится почти полоумным и прямо изувечить вас готов своей добротой, только бы избыть ее...

Когда Яшка рассказывал мне об истинно христианском поступке этой барыни, он почему-то все оглядывался вокруг себя, — должно быть, хотел еще раз поблагодарить добрую душу за щедрую милостыню... И все торопил меня:

— Айда, айда скорее!..

А мы и без того бежали сломя головы. Я всем существом моим, каждым кусочком иззябшего тела торопился скорее в тепло. Дул ветер, взметывая снег с дороги и сбрасывая его с крыш; холодные и острые колючки летали в воздухе и сыпались мне за шиворот. Рожу точно ножами скоблило, а шея до того иззябла, что, казалось,

стала тоненькой, как палец, и готова была переломиться при неосторожном движении, так что я все прятал ее в плечи, боясь потерять голову. Мы оба были одеты не по сезону, но Яшке было тепло от удачи, а мне, от зависти, еще холодней...

Я, видите ли, неудачник, чорт бы меня взял... Один раз в жизни моей мне подарили самовар, да и то с горячей водой, так что, когда я бежал с ним, вода ошпарила мне ногу, и поэтому я недели полторы лечился в тюремной больнице. А другой раз... Ну, да это к делу не относится...

Так вот — бежим мы это с Яшкой вдоль по улице, а он все мечтает:

— Здорово мы встретим праздник! За квартиру заплатим... Получи, ведьма! Н-да... Водки четверть... Окорок бы? Мм... хорошо бы окорок! У-у! Дорого, поди? Ты не знаешь, как нынче окорока — в цене?

Я не знал. Но я знал внутреннюю цену окорока, и мы решили приобрести его, мы уговорились пойти покупать его в ту лавочку, в которой больше народу. Когда в лавочке тесно от покупателей, значит в ней хорош товар, — ergo *, как, бывало, говорили латинцы, можно выбрать вещь по вкусу.

— Позвольте окорок! — кричал Яшка, втискиваясь в толпу покупателей. — Покажите мне окорок... не из крупных, но хороший... Извините, и вы мне тоже саданули в бок... Я очень хорошо понимаю, кто тут невежа... но знаю и то, что здесь с вежливостью невозможно... Я не виновен, что тут неудобно, тесно... Что-с? Я ваш карман щупал? Извините! Это ваша рука с моей встретилась, когда ко мне за пазуху лезла... Я покупаю на деньги, вы на деньги, стало быть, мы оба в одинаковом праве...

Яшка так вел себя в лавке, точно пришел покупать целую партию окороков, штук в триста. Я же, пользуясь произведенной им суматохой, скромными моими средствами приобрел коробку мармелада, бутылку прованского масла и две больших вареных колбасы...

* Следовательно. *Ред.*

— Ну, вот мы и с праздником! — радовался Яшка. — Попируем!.. — Он подпрыгивал на ходу, громко шмыгал своей «форточкой», как именовался его толстый и широкий нос, а серые глазки его так и сверкали от радости. Я тоже был рад...

Изредка вкусно поест — большое удовольствие для маленьких людей.

И вот, сударь вы мой, двигаемся мы к дому нашему, а вьюга нас подгоняет. Жили мы в ту пору на краю города, в подвальчике у одной благочестивой старушки, торговли на толчке. Места у нас в тех краях глухие были, пустынные, бывало, зимой после шести часов вечера на улицах — ни души! А ежели и появится какая-нибудь фигура, так уж душу свою непременно в пятках несет.

Бежим мы и вдруг видим — человек впереди нас идет. Идет и шатается, очевидно — пьяный. Яшка толкнул меня и шепчет:

— В шубе!..

А встретить человека в шубе тем, видите ли, приятно, что у шубы пуговиц нет и очень уж легко она снимается. Идем мы сзади этого человека и видим — человек широкоплечий, росту немалого... Бормочет что-то. Мы соображаем.

Но вдруг он сразу остановился, так что мы чуть ему носами в спину не воткнулись, — остановился, взмахнул руками да как рывкнет здоровеннейшим басищем:

— Я то-от, кого никто-о не лю-юбит...

Точно из пушки выстрелил! Мы оба так и шарахнулись от него. Но уж он заметил нас. Встал спиной к забору — опытный человек! — и спрашивает:

— Кто такие? Жулики?

— Нищая братия... — скромно ответил ему Яшка.

— Нищие! Это хорошо... Ибо я тоже нищ... духом... Куда идете?

— В конурку нашу... — сказал Яшка.

— И я с вами! Ибо — куда еще пойду? Некуда мне... Нищие! Возьмите меня с собой! Кормлю и пою вас... Приютите меня... приласкайте!

— Зови! — шепнул мне Яшка.

Я слышал в ревушем голосе этого человека ноты пьяные, но слышал в нем и еще нечто — вой и рев в кровь расцарапанного больного сердца. У меня есть хорошее чутье драмы, я в свое время суфлером в театре служил... И я стал усердно звать к себе этого ревушего человека.

— Иду! Иду к вам, нищие! — гудел он во всю силищу своей широкой груди.

Мы пошли рядом с ним, и он говорил нам:

— Знаете ли вы, кто я? Я есть человек, бегущий праздника! Податной инспектор Гончаров, Николай Дмитрич — вот я кто! У меня дома есть жена, там дети у меня... два сына... и я их люблю... Там цветы, картины, книги... Все это — мое... Все — красивое... Уютно и тепло у меня дома... Вот бы все, что есть у меня дома, вам бы, нищие... Вы бы долго пропивали все это... Вы — свиньи, конечно... и пьяницы... Но я — не пьяница, хотя вот — пьян теперь. Я пьян потому, что мне душно... Ибо в праздник — мне всегда тесно и душно... Вы этого не можете понять. Это — глубокая рана... это — болезнь моя...

Я слушал его с большим любопытством. Мне всегда, когда я вижу большого и здорового человека, думается, что вот этот человек — несчастный есть. Потому что жизнь — не для здоровых и больших людей. Жизнь сделана для маленьких, слабеньких, худеньких, дрянненьких. Пустите осетра в болото — он сдохнет в нем, непременно сдохнет. А лягушки, пиявки и всякая другая дрянь не может жить в чистой, проточной воде. Для меня этот ревуший человек был очень любопытен...

И вот мы привели его к себе, в наш подвал, чем очень испугали хозяйку. Она так поняла, что мы завели его к себе, чтоб ограбить, и хотела было сообщить о таком нашем намерении полицейской власти. Мы ее успокоили, попросив старуху обратить внимание на наши чахлые фигуры и на него — огромного, с длинными ручищами, широкорожего, широкогрудого... Он мог удушить и нас и старуху и даже не вспотел бы от этого. Затем успокоенная старушка была откомандирована в кабак, а мы втроем сели за стол.

Сидим мы в миниатюрном логовище нашем и возливаем понемножку на встречу праздника. Наш гость сбросил шубу и остался в одной рубашке, без жилета. Сидел он против нас и ревел нам:

— Вы, очевидно, жулики, я чувствую... Вы врете, что нищие, — для нищих вы молоды... И потом — глаза у вас слишком наглы... Но кто б вы ни были, мне все равно! Я знаю, что вам не стыдно жить, — вот в чем дело! А мне — стыдно! И я бежал из дома от стыда...

Вы знаете, сударь мой, болезнь есть такая нервная, пляской святого Витта называется она. Так вот есть люди, у которых совесть болит этой болезнью. И я видел, что инспектор именно из таких людей...

— У меня в доме — все, все устроено на этакую порядочную ногу. Это ужасно противно — жить на порядочную ногу! Все расставлено и развешано раз навсегда, и все так приросло к месту, что даже землетрясение неспособно сдвинуть всех этих стульев, картин, этажерок... Они пустили корни и в пол и в душу моей жены... Они, деревянные и бездушные, вросли в нашу жизнь, и я сам не могу жить без их участия. Вы понимаете? От привычки ко всей этой деревянной дряни — сам деревенеешь. Привыкаешь к ней, заботаешься о ней, чувствуешь к ней жалость, чорт ее возьми! Она все растет и стесняет вас, она выталкивает воздух вон из комнаты, и вам нечем дышать. Теперь она — эта армия привычек — нарядилась к празднику, вымылась, вытерлась и — блестит. Противно блестит. Она смеется надо мной... Да! Она знает — когда-то у меня было ее всего три: койка, стул и стол. Был еще портрет Герцена... Теперь у меня сотня мебели... Она требует, чтобы на ней сидели люди, достойные ее цены... Ну, и ко мне являются сидеть на ней достаточные люди...

Инспектор тянул стакан водки и продолжал:

— Это всё порядочные люди, это полумертвые люди, это благочестивые коровы, воспитанные пресными травами с лугов российской словесности... Мне с ними — невыразимо скучно, я задыхаюсь от запаха их речей... Я уже все знаю, что могут они сказать, и знаю, что они ничего не могут сделать для того, чтобы стать живее,

интереснее. У-у! Они страшные люди по тупости их душ... Они все тяжелые такие, большущие, и слова у них тяжелые, как камни... Они могут раздавить человека... Когда они приходят ко мне, мне кажется, что вот меня обкладывают кирпичами, хотят замуровать в глухую стену... Я их ненавижу... Но я не могу их выгнать вон, и потому я боюсь их... Их не я привлекаю к себе... Я человек угрюмый, молчаливый... Они приходят просто для того, чтобы сидеть на моей мебели... Я однако и мебель не могу выбросить вон — ее любит жена... У меня жена ради мебели и существует, ей-богу! Она уже и сама стала деревянная...

Инспектор хохотал, прислонясь спиной к стене. А Яшка, которому, должно быть, ужасно скучно было слушать инспекторы вопли, воспользовавшись перерывом в его рассказе, сказал:

— А вы бы, ваше благородие, эту самую мебель изломали об жену...

— Что-о?

— То есть... видите, сразу бы эдак — вон все!

— Дур-рак!

Он тряхнул пьяной головой и, опустив ее на грудь, просто сказал:

— Ужасно тошно! И — как я одинок! Завтра праздник... А я не могу... я не могу быть дома... Решительно не могу!

— У нас погостите! — предложил Яшка.

— У вас? — Инспектор оглянулся вокруг: наша квартиренка была насквозь прокопчена и пропитана грязью.

— У вас тоже гадко... Но слушайте вы, черти!.. Мы переедем в гостиницу — идет? Завтра? И будем пьянствовать! Хотите? И будем думать... Как жить — подумаем! Идет? Ей-богу, — ведь надо перестать жить порядочной жизнью, пора! Да? Вы, впрочем, жулики, и вам это непонятно..

— Я понимаю, в чем дело! — сказал я инспектору.

— Ты? Ты кто? — спросил он меня.

— Я тоже бывший порядочный человек... — сказал я. — Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни ее мелочи... Они вы-

жали, вытеснили из меня и душу и все, что в ней было... я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился... имею честь представиться!

Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые, красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, а нос сморщился совсем нелестно для меня.

— Весь тут? — вдруг спросил он.

— Весь я — *omnia mea pesum porto!* * — подтвердил я.

— Кто же ты такой? — спросил он, все рассматривая меня.

— Человек... Всякая сволочь — есть человек... и наоборот...

Я раньше был великий мастер говорить афоризмами.

— Мм... премудро, — сказал инспектор, не сводя с меня глаз.

— Мы народ тоже образованный, — скромно заговорил Яшка. — Мы можем вам соответствовать вполне... Люди простые, а не без ума... И тоже — мебели разной роскошной не любим... К чему она? Ведь человек не рожей на стул садится... Вы вот подружитесь с нами...

— Я? — спросил инспектор. Он как-то сразу протрезвился.

— Вы! Мы вам завтра такие тайны жизни откроем...

— Подай мне шубу! — вдруг приказал Яшке инспектор, поднимаясь на ноги. И на ногах он стоял совершенно твердо.

— Вы куда же? — спросил я.

— Куда?

Он с испугом посмотрел на меня большими телячьими глазами и вздрогнул, точно озяб.

— Я... домой...

Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и ничего больше не сказал. Каждому скоту уготован судьбою хлеб по природе его, и, сколь бы скот ни лягался, — на месте, уготованном ему, он будет... хе-хе-хе!

* Все свое ношу с собою. *Ред.*

Так и ушел инспектор... Слышали мы, как, выйдя на улицу, он во все горло рявкнул:

— Извозчик!..

Собеседник мой замолчал и начал пить пиво медленными глотками. Выпив стакан, он начал свистать и барабанить пальцами по столу.

— Ну и что же дальше? — спросил я.

— Дальше? Ничего... А вы чего ожидали?

— Да... праздника...

— Ах, вот что! Праздник — был... Я не сказал, что инспектор подарил Яшке свой кошелек... В нем оказалось двадцать шесть рублей с копейками!.. Праздник был...

ПРИМЕЧАНИЯ

В третий том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1896—1899 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Коновалов», «Болесь», «Зазубрина», «Ярмарка в Голтве», «Озорник», «Супруги Орловы», «Бывшие люди», «Мальва», «Скуки ради», «В степи», «Проходимец», «Дружки», «Каин и Артем», «Кирилка», «О чорте», «Еще о чорте». Все эти произведения неоднократно редактировались самим М. Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 гг.

Остальные двенадцать произведений третьего тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями, эти произведения, опубликованные в газетах, журналах, сборниках 90-х годов, М. Горький повторно не редактировал.

КОНОВАЛОВ

Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1897, № 6, март, с подзаголовком «Очерк».

Рассказ написан во второй половине 1896 г. В письме от 7 декабря 1896 г. один из редакторов журнала «Новое слово» А. М. Скабичевский писал М. Горькому: «Не будете ли столь добры уполномочить редакцию сделать кое-какие сокращения в вашей прекрасной повести. Могу вас уверить, сокращения будут иметь один цензурный характер и не будут очень велики». М. Горький ответил согласием. Таким образом, можно полагать, что «кое-какие сокращения» были сделаны редакцией до сдачи рукописи в набор и, следовательно, первоначально напечатанный текст отличается от текста автора.

Рассказ был включен в мартовский номер журнала «Новое слово». Наблюдавший за журналом цензор Елагин в своем докладе цензурному комитету признал рассказ М. Горького «крайне тенденциозным и вредным». Цензурный комитет с этой оценкой согласился и в своем донесении Главному управлению по делам печати подчеркнул, что «особенное внимание цензуры обратил на себя очерк М. Горького «Коновалов» по многим местам социалистического и резко возбуждательного пошиба». Выход в свет мартовской книжки журнала был приостановлен, и редактору журнала было предложено произвести в рассказе цензурные изъятия по указанию комитета. Исключено было семнадцать отдельных мест, и рассказ появился на страницах журнала в весьма изуродованном виде. Так, например, были полностью изъяты сцены чтения книги «Бунт Стеньки Разина», диалог о «наградах сочинителям» (стр. 17—18 настоящего издания от слов: «То есть как» и до слов: «и нужно их поддержать»), реплика автора: «Хоть бы разгореться ярче!» (стр. 54) и другие.

Со всеми цензурными изъятиями рассказ вошел в «Очерки и рассказы», 1898, том II, издание первое. Исключенные цензурой места, кроме двух, были восстановлены во втором издании «Очерков и рассказов», 1899.

Не были восстановлены следующие цензурные изъятия:

Вместо: «...и рассказал ему о наградах сочинителям...» (стр. 18 настоящего издания) *было:* «...и рассказал ему о наградах сочинителям, о сожженных на кострах, гнивших в тюрьмах, погибших от клеветы, доведенных до безумия, опошленных и изменивших себе — о всех разнообразно измученных лучших людях земли, имена и жизнь которых я в ту пору знал».

Вместо: «— Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать!» (стр. 52 настоящего издания) *было:* «Люди? На кой их черт тебе? Ты человек понимающий, грамотный, на что тебе люди? Чего тебе от них надо? Да потом — люди везде есть...»

— Эге! — вставил хохол, извиваясь по земле, как уж. — Людей везде... богато; человеку пройти к своему месту нельзя, чтоб на ноги им не ступать. Вот-то без счету родятся! Как поганки после дождя... да тех хоть господ едят.

Он философски сплюнул и снова стал стучать зубами.

— И люди рождаются для господ, чудака-человек, — усмехнулся Коновалов: — Вот видишь, строят мол и железную дорогу... порт потом будет тут. Кто строит? Люди. А кому польза? Господам. Люди поработают и пойдут еще искать себе работу — больше ничего. Останутся в порте инженеры, купцы и прочие... Вот чудак! Возьмется, возьмется они всю свою жизнь и все только, чтобы денег нажить. И ведь имеют довольно денег — нет! Давай еще! Зачем? Ведь все, что есть на свете, уже могут купить... Не понимают, засосала их эта суета, бегает за рублем всю свою жизнь и все еще плачутся — мало! А чего мало? Достаточно... Катержники они, ежели подумать над их жизнью; куда хуже нашего им живется. Разинули рты, думают всю землю проглотить, да так всю жизнь и рыскают, как волки. — И с видом человека, который не хуже Соломона познал суету сует, Коновалов посмотрел на меня, точно хотел сказать мне: «А что, каково я нынче рассуждаю? То-то же!» — А насчет тебя я опять скажу — в городах не живи. Что там? Одно нездоровье и непорядок. Книги? Ну, будет уж, чай, тебе книги читать!»

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

БОЛЕСЬ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 130, 14 мая, под заглавием «Письма».

В издании «Знания» и в собраниях сочинений рассказ датирован автором 1896 г. К этому же году М. Горький относит рассказ и в письме к Д. Д. Протопопову (март 1900 г.).

Под заглавием «Болесь» рассказ вошел во второе издание тома второго «Очерков и рассказов», 1899, и затем включался во все собрания сочинений М. Горького.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ВАНЬКА МАЗИН

Впервые напечатано в журнале «Жизнь Юга», 1897, № 14, 13 апреля, № 15, 20 апреля, и № 16, 27 апреля, как первый очерк из серии: «Жалостливые люди. Очерки».

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту журнала «Жизнь Юга».

ЗАЗУБРИНА

Впервые напечатано в журнале «Жизнь Юга», 1897, № 18, 11 мая, как второй очерк из серии: «Жалостливые люди. Очерки».

Рассказ включался во все собрания сочинений без серийного надзаголовка.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

КРЫМСКИЕ ЭСКИЗЫ

И. Уми. II. Девочка

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 148, 1 июня.

В собрания сочинений рассказы эти не включались.

Печатаются по тексту газеты «Нижегородский листок».

ЯРМАРКА В ГОЛТВЕ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 196, 20 июля, и № 210, 3 августа, с подзаголовком «Очерк».

Рассказ отражает впечатления М. Горького из жизни его на Украине в 1897 г.

Без подзаголовка рассказ включался во все собрания сочинений. Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ОЗОРНИК

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1897, № 8, август, с подзаголовком «Очерк».

В письме М. Горького к Д. Д. Протопопову (март 1900 г.) рассказ датирован 1897 годом, то есть годом его первой публикации; этот же год обозначен и в прижизненных изданиях.

Рассказ включался во все собрания сочинений; начиная со второго издания тома первого «Очерков и рассказов», 1899, печатался без подзаголовка.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

СУПРУГИ ОРЛОВЫ

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1897, книга X, октябрь, с подзаголовком «Набросок».

Рассказ неоднократно подвергался значительной авторской правке.

Наиболее существенные изменения были сделаны М. Горьким при подготовке текста рассказа к первому изданию тома первого «Очерков и рассказов», 1898. Помимо многочисленных стилистических поправок и сокращений текста, М. Горький совершенно переработал сцену разрыва Григория Орлова с женой и заново написал сцену столкновения Орлова с доктором.

Рассказ без подзаголовка включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

БЫВШИЕ ЛЮДИ

Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1897, книга 1, октябрь, и книга 2, ноябрь, с подзаголовком «Очерк».

Рассказ отражает казанские встречи и впечатления М. Горького 1885—1886 гг.

На упреки Л. Н. Толстого: «Вы — сочинитель. Все эти ваши «Кувалды» — выдуманы», — М. Горький заметил, что «Кувалда — живой человек», и рассказал о встрече своей в камере казанского

мирового судьи Колонтаева с человеком, описанным под именем Кувалды («Лев Толстой»).

В статье «О том, как я учился писать» М. Горький сообщает: «Изображенного мною в «Бывших людях» содержателя ночлежки Кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю и потерпевшему — трактирщику, избитому Кувалдой». Об этом же М. Горький писал И. Груздеву: «Кувалда — прозвище отставного офицера, фамилию коего я не помню, да едва ли и знал ее. Познакомился я с ним в камере мирового судьи Колонтаева, куда зашел, спасаясь от дождя. Судился Кувалда за скандал в общественном месте и удивил меня независимостью поведения пред судьей и замысловатостью своих ответов. Ночлежка его помещалась в конце Задней Мокрой, у городских свалок. В пьяном виде Кувалда любил декламировать Полежаева:

Я — погибал.
Мой злобный гений
Торжествовал.

Это всегда очень волновало меня» (Архив А. М. Горького).

Рассказ включался во все собрания сочинений; начиная со второго издания тома второго «Очерков и рассказов», 1899, печатался без подзаголовка.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

МАЛЬВА

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1897, № 11, ноябрь, и № 12, декабрь, с подзаголовком «Набросок».

Рассказ включался во все собрания сочинений; начиная со второго издания тома второго «Очерков и рассказов», 1899, печатался без подзаголовка.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

СКУКИ РАДИ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1897, № 275, 25 декабря, с подзаголовком «Очерк».

При подготовке текста рассказа к первому изданию тома первого «Очерков и рассказов», 1898, М. Горький сильно сократил конец

рассказа, исключив сцену о том, как нашли Арину, и сцену судебного следствия.

Без подзаголовка рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

В СТЕПИ

Впервые напечатано в книге приложений № 1 к журналу «Жизнь Юга» за 1897 г., с подзаголовком «Рассказ босяка».

Рассказ включался во все собрания сочинений; начиная со второго издания тома второго «Очерков и рассказов», 1899, печатался без подзаголовка.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

[«ПЕРВЫЙ РАЗ Я УВИДЕЛ ЭТУ ЖЕНЩИНУ...»]

Впервые напечатано в «Литературной газете», 1946, № 92, 25 мая. Написано в 1897 г.

В Архиве А. М. Горького имеется два автографа рассказа — черновой и белой; последний не закончен. Печатается по беловому автографу с присоединением конца из чернового.

ПРОХОДИМЕЦ

Половина первой главы до слов: «Когда мы вошли в улицу села...» впервые была напечатана в газете «Нижегородский листок», 1898, № 31, 1 февраля, под заглавием: «Проходимец (Из воспоминаний). I. Встреча с ним». Полностью рассказ впервые напечатан в журнале «Жизнь», 1898, № 15, май, и № 16, июнь, с подзаголовком «Из воспоминаний», с разделением на три главы: «I. Встреча с ним», «II. Его образ действий», «III. История его жизни», и с примечанием: «Начало настоящего рассказа было напечатано в «Нижегородском листке».

О происхождении рассказа М. Горький в письме к И. Е. Репину (23 ноября 1899 г.) говорит: «Проходимец» — живое лицо, ваш петербургский учитель. Это одно из моих бесчисленных приключений. Написан в 97-м году» (Архив А. М. Горького).

Рассказ включался во все собрания сочинений без подзаголовка и с соединением двух первых глав в одну.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ХОРОШИЙ ВАНЬКИН ДЕНЬ

Эскиз

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 128, 12 мая.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

«ВСТРЯСКА»

Страничка из Мишкиной жизни

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 237, 30 августа.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ДРУЖКИ

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1898, № 10, октябрь.

В 1895 г. в газете «Нижегородский листок», №№ 13, 17, 20 и 23 от 14, 18, 21 и 24 января, был напечатан рассказ М. Горького «Друзья», который может рассматриваться как ранний вариант рассказа «Дружки». В нем повествуется о двух «друзьях», носящих те же прозвища, что и «дружки». Они совершают кражу трех коней у целовальника, последний подговаривает местных мужиков, и те избивают и затем вешают одного из «друзей», за что оставшийся в живых «друг» убитого доводит дело до суда, и одни из виновников убийства умирают в тюрьме, другие, в том числе и целовальник, после суда идут на каторгу. Рассказ имеет чисто бытовой характер. Главные герои его — «друзья» — профессиональные конокрады. Помимо «друзей», в рассказе дан ряд бытовых фигур царской России: целовальник, он же и скупщик краденых лошадей; содержатель корчмы, тесно связанный с ворами, и другие.

Рассказ «Дружки» включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ФАРФОРОВАЯ СВИНЬЯ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1898, № 354, 25 декабря.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

КАИН И АРТЕМ

Впервые напечатано в журнале «Мир божий», 1899, № 1, январь.
Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

КИРИЛКА

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, книга первая, январь, с подзаголовком «Из записной книжки».

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

О ЧОРТЕ

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, книга первая, январь.

Включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ЕЩЕ О ЧОРТЕ

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, книга вторая, февраль, с цензурным изъятием первой главы (от слов: «Был у меня товарищ» и до слов: «...выдумана мною»).

С восстановлением изъятых цензурой текста рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

НА БАЗАРЕ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1899, № 10, 10 февраля.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

СВИДАНИЕ

Набросок

Впервые напечатано в газете «Кавказ», 1899, № 45, 17 февраля.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Кавказ».

ФИНОГЕН ИЛЬИЧ

Очерк

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1899, №№ 2 и 3, февраль и март.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Журнала для всех».

ГОЛОДНЫЕ

С натуры

Впервые напечатано в литературно-художественном сборнике «Помощь пострадавшим от неурожая», издание газеты «Курьер», 1899, Москва.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту сборника «Помощь пострадавшим от неурожая».

СИРОТА

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1899, № 209, 4 октября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В СОЧЕЛЬНИК

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1899, № 354, 25 декабря.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Нижний-Новгород. 1898—1899 гг.
2. А. М. Горький. Нижний-Новгород. 1898—1899 гг.
3. Обложка первого сборника произведений
М. Горького.

СОДЕРЖАНИЕ

Коновалов	5
Болесь	55
Ванька Мазин	61
Зазубрина	75
Крымские эскизы:	
I. Уми	83
II. Девочка	85
Ярмарка в Голтве	89
Озорник	102
Супруги Орловы	121
Бывшие люди	177
Мальва	241
Скуки ради	291
В степи	309
[«Первый раз я увидел эту женщину...»]	322
Проходимец	326
Хороший Ванькин день. Эскиз	362
«Встряска». Страничка из Мишкиной жизни	371
Дружки	379
Фарфоровая свинья	395
Кани и Артем	401
Кирилка	434
О чорте	447
Еще о чорте	455
На базаре	468
Свидание. <i>Набросок</i>	475
Финоген Ильич. <i>Очерк</i>	481
Голодные. <i>С натуры</i>	505
Сирота	509
В сочельник	514
Примечания	525
Иллюстрации	534

Подписано к печати 24/I 1950 г.

А-01368

33¹/₂ печ. листа + 3 вклейки

26,35 уч.-авт. листа

Формат бумаги 82 × 108¹/₃₂.

Тираж 300 000

Цена 12 р.

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.